

ISSN 0132-0637

Октябрь

12 1996

12 1996
Октябрь

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

12

1996

ДЕКАБРЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Новые имена

Василий КАЗАРИНОВ. Дымы. Светлана БОГДАНОВА. Побег. Олег ХАФИЗОВ. Несмеяна. Маргарита ШАРАПОВА. Трамвайный разъезд. Слава СЕРГЕЕВ. Прыжок. Рассказы.	3
Стихи уральских поэтов: Нина ЯГОДИНЦЕВА, Андрей САННИКОВ, Юрий КАЗАРИН, Роман ТЯГУНОВ, Владислав ДРОЖАЩИХ, Антон КОЛОБЯНИН, Виталина ТХОРЖЕВСКАЯ, Николай БОЛДЫРЕВ. Вступление Виталия Кальпиди.	56
Александр МЕЛИХОВ. Торжество Правды. Повесть.	62
Владимир ПУЧКОВ. Морозный узор языка. Стихи.	79
Михаил ЛЕВИТИН. Чушь собачья. Повесть.	81
Вера КРУТИЛИНА. Бисерная буква. Стихи.	117
Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ. Быть! Главы из книги.	119

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Г. ПОМЕРАНЦ.

До полной гибели всерьез 151

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Марк АЛДАНОВ.

Вековой заряд духовности. Две неопубликованные статьи о русской литературе. Вступление, подготовка текстов и публикация Андрея Чернышева. 164

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ.

Сон во сне. Толстые романы в «толстых» журналах . . . 176

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.

О классовых интересах 185

ОТКЛИК

на книгу Виталия ПУХАНОВА «Деревянный сад»
(Денис Виноградов) 188

Содержание журнала «Октябрь» за 1996 год 190

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 28.10.96. Подписано к печати 18.11.96. Формат 70x108¹/₁₆.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 15810 экз. Заказ № 1185. Цена 8900 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тыс. экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1996. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Новые имена

РАССКАЗЫ

Василий КАЗАРИНОВ

ДЫМЫ

Сережа возник на точке поздней весной вместе с дымами. Дымы начали появляться у дороги года два или три назад, когда горожанам выделили землю под огороды, нарезав вкривь и вкось участки вдоль худосочной лесополоски. Быстро, в одно лето, воздвиглись на тесных сотках ветхие уже при рождении строения, наподобие курятников, на живую нитку слепленные из обрезков неструганных досок, а то и попросту из распотрошенных тарных ящиков, укрытые где осколками шиферной волны, где заскорузлой мятой жестью. Стоящие по колено в сочной картофельной ботве, они напоминали шайку беспризорников времен гражданской войны, чумазных, вечно голодных, рахитичных, с мутноватой волчьей поволокой в подслеповатых окошках, и пейзаж мало, конечно, облагораживали, засоряли, однако Саня усматривала в таком соседстве скорее благо: все веселей стало жить на точке.

Веселей, веселей, не так уныло, как прежде. Пахнущее чуланом, керосином, старым тряпьем и нехитрой стряпней дыхание человеческого тепла плавно катило со стороны огородов, перестук молотков, топоров, всплески человеческих голосов разбавляли скользкий, свистящий голос трассы, и хорошо было, когда огородники жгли свои весенние и осенние костры. Дымы от них текли плотные, мутно-голубые, настоянные на чем-то сладком, вернее сказать, не столько текли, сколько ползли по-пластунски — густые, круглые, как гусеничка зубной пасты из тюбика.

С этими голосами и запахами, пробуждавшимися весной и затухающими поздней осенью, точка (так здесь все называли маленькую дорожную столовку, прилепившуюся к трассе) заметно оживала, обретала устойчивость; да, все тут получало свою форму и свой вес: и узкий обеденный зал с широким мутноватым стеклом, и раздаточная стойка с грудой истершихся пластмассовых подносов, и мазня в глухой торцовой стене, выполненная грубыми малярными мазками залетным живописцем, лохматым и бородатым, с ухватками шабашника, бельмом на правом глазу и щербатым, гнилым ртом (полотно представляло плакатный простор пшеничных полей, освеженный подковой игрушечной радуги, откуда вываливалась в притененный, обшитый жженым деревом пенал зала молодая женщина с круглым и глупым лицом, которая очень неловко, наподобие полена, баюкала на руках кулек с младенцем), и эти разболтанные столы с пластмассовыми вазочками для салфеток, которые Саня нарезала из шершавой упаковочной бумаги, и даже увядший давным-давно цветок вентилятора под потолком, и вечно заикающийся посреди дребезжащей скороговорки кассовый аппарат, и веник в углу под рукомойником, и пятна протечек на потолке, и даже, кажется, кисловатый запах кухонных котлов — все, все, все становилось на свои места и обретало собственный вес.

Непонятно, кому и когда пришло в голову расположить точку именно здесь, на голом, унылом и пустом месте возле трассы, в получасе езды от города.

Город был невелик, патриархален, и даже само его первозданное имя, которое мало кто помнил (в тридцатые годы городок был торжественно перекре-

щен в Первомайск), отчетливо пахло пылью, сиренью, печным дымом; он вырос из глубин неподвижного, темного и непонятного времени; когда-то крепкий телом, он, всплыв на поверхность новейших времен, как будто бы подхватил кессонную болезнь и потому медленно иссыхал, пылился, ветшал, растрескивался. Саня владела здесь просторным домом в частном, как прежде выражались, секторе, дом ей достался от родителя, быстро, в одну осень, сгоревшего в белой горячке; родитель высох, истлев внутри от ядовитого огня, и желтой остроносой куколкой лежал в казавшемся слишком для него просторным гробу — это Саня хорошо помнила, хотя ей шел тогда четырнадцатый всего год, и, стало быть, шестнадцать лет отец лежит уже на кладбище. Маму она тоже помнила, но смутно, мама работала вольнонаемной поварихой в воинской части на краю города и уехала от них куда-то вместе с прапорщиком, под началом которого служила, родитель с тех пор начал попивать, хотя — говорили — до тридцати лет в рот не брал, он был плотником, говорили, хорошим, с твердой рукой, так что дом он успел поставить не особенно казистый, зато уж вечный. Впрочем, оседлая жизнь в вечных стенах Саню не особенно грела, с грехом пополам дотянув до экзаменов в восьмом классе, она подалась на волю, устроилась работать на цементный завод, после двух лет задыхания в пыли перешла в трест столовых — там еще помнили маму, — продышалась, стянула с себя цементную пудру и вот уже десять лет стоит на придорожном поварском посту.

Когда родителя отнесли на кладбище, она собрала то небольшое, что осталось от его скудного и ветхого гардероба, и зачем-то сожгла во дворе, испепеляя его вещественную память, сохранив только воинскую плащ-накидку: в хозяйстве пригодится, — родительские пожитки лениво тлели и курились каким-то нездоровым, едким, щелочью отдающим дымком. Что именно сподвигло ее на эту расправу, она толком не понимала, но, вбирая в себя костровые миазмы, чувствовала, как в груди разливается тихая, спокойная радость мстителя, ибо он, родитель, был повинен в том, что она выросла такой, какой выросла, он, не мама же, мама, сколько она помнила, была вполне миловидна.

В минуты затишья, когда на точке не было посетителей, она частенько подходила к несвежему от кухонной копоти овальному зеркалу, втиснутому в тяжелую оправу из вычурно извивающейся, с аляповатыми черными подпалинами меди, вбитому в стену над звонким чугунным рукомойником сбоку от раздаточного прилавка. Люди дороги в зеркало не глядели; ритмично сопя в предчувствии трапезы, они внимательно следили за подвижными полушариями ладоней, перекатывающими кусок хозяйственного мыла, — этот кочевой народ не интересовался собственными лицами, он их забывал в долгом пути, потому что скорее всего не видел в них никакой практической пользы; руки же — другое дело, рукам доверено рулевое колесо.

Так что Саня была единственной собеседницей этого зеркала, поле которого было тронута подкожной патиной, походящей на густую стальную водоросль. Она подолгу рассматривала свое худое, вытянутое лицо, вздернутый нос и вслед за носом устремляющуюся верхнюю губу (деталь сообщала лицу заячье выражение), нездоровые, быстро засаливающиеся волосы — со стороны казалось, что прическа ее выполнена из второсортной вермишели, — а также бледную, губкообразную, крупнопористую кожу — его, его, родителя гены. Как и все остальное: болезненная худоба (это при совсем не женском-то росте под метр восемьдесят), невероятно тонкие ноги, деревянная, корявая, с резким скоком на носке походка и обыкновение размашисто двигать в такт шагу рукой, причем шиворот-навыворот: не правая рука к левой ноге, наоборот, левая — к левой, правая — к правой. Ага, вот именно так ходил родитель, на почве походки, говорят, у него были большие проблемы в армии.

Она подумывала исключить зеркало из предметов обстановки и даже как-то попробовала выдрать его, но медный овал был основательно распят на стене четырьмя мощными шурупами, закрученными намертво, и она эту затею оставила.

Автобусы из города к точке не ходили, оставалось надеяться на случайную попутку, да и какая попутка в четыре часа утра, когда звенел для Сани будиль-

ник, так что неделями стоял городской дом пустым — с тех самых пор, когда однажды она заночевала в вагончике-балке, брошенном строительными рабочими неподалеку от столовки и служившем чем-то вроде подсобки. Перемаявшись тогда ночь на двух брошенных на пол ватниках и намяв в дремотном ворочанье с боку на бок тяжесть в груди, она тем не менее справедливо рассудила, что иной раз перекемарить в вагоне все же лучше, чем плутать в ночи до дома, а если хлам вынести, а если прибраться, да стены утеплить, да занавески на окна... Словом, забелели на одетых в решетчатые намордники окнах занавески, перебралось сюда кое-что из домашней мебели, диван-кровать, платяной шкаф, пара стульев, тумбочка, старый обеденный стол, потом и буржуйка высунула наружу ломаный нос — а что, можно жить, вполне, вполне, — и неделями она не выбиралась с точки: куда да и зачем?

Пару раз той осенью к ней ломились подгулявшие дорожные люди — она босиком подходила к железной двери с тяжелым засовом и, проглотив от страха дыхание, слушала ласковые нашептывания ночных гостей, суливших сладкую водочку, душевный разговор и разгон придорожной скуки, и, искушаясь простотой и бесшабашностью их тона, она готова была стронуть засов с места, но, услышав дрожащими пальцами прохладу запорного металла, моментально прихотила в себя и громко, базарным, с надрывом голосом окатывала визитера матом. Но однажды все-таки дверь она открыла и впустила в дом красивого черноглазого дальнбойщика, он угощал приторным винцом «Кагор», рассказывал смешные анекдоты про Абрама с Сарой, Петьку с Анкой, про Брежнева с Никсоном, от него отчетливо пахло чем-то греческим (так пахло растительное масло в больших жестяных банках, которые ей однажды привезли со склада) — словом, это был веселый, сильный и сочный мужчина, неутомимый и даже жестокий в своих ласках, наутро она едва поднялась, все тело ныло. В пять утра он, не проспавши и получаса, вскочил, повел загорелыми плечами, отчего по телу прокатилась плавная и красивая мышечная волна, омывшая бугорки мускулов, выкурил натошак папиросу и сказал, что на обратном пути заглянет.

Все они так.

Ага, заглянет, как же, жди! Все, что от него осталось, — это красивый продолговатый пластиковый брелок, в прозрачное тело которого была вмонтирована невероятной красоты женщина в купальнике — стоило предмет поставить на попа, и купальник плавно стекал с женщины, медленно открывая сочную целлулоидную грудь и все остальное. Он забыл эту игрушку на столе, а может быть, и намеренно оставил под газеткой, Саня упрятила брелок в верхний ящик тумбочки.

Потом была долгая одинокая зима, ввергавшая точку и все, что на ней было, в странное состояние, напоминающее невесомость. Это ощущение зависания между небом и землей, парения в каком-то безначально-бесконечном пространстве скорее всего сообщало Сане не столько безлюдье, сколько притертость к дороге, которая не имела видимых пределов; на западе трасса утончалась и таяла в плоском горизонте, на востоке вползала на пригорок, как будто улетающая в небо. Все долгие зимние дни она бережно носила в себе обиду на своего первого мужчину, но к весне оттаяла, ожила и стала опять пускать в вагончик дорожных людей — только их, проносящихся мимо, смертельно устававших в пути и засыпавших каменным сном после первой и, как правило, единственной близости. Эдакая ее разборчивость сделалась в городе предметом обсуждения и вызывала ворчанье в мужской части оседлого, укорененного за своими прочными заборами населения, женская же часть, побеспокоившись, угомонилась: пускай, на наших глаз не кладет — и на том спасибо: до ненадежной и ветреной шоферни городским жительницам было мало дела.

Саня не задумывалась над тем, отчего рука оттягивала дужку засова в ответ на стук в дверь, никакой радости в грубых, топорных ласках дорожных людей, алчно тискавших ее маленькую грудь, она не чувствовала, да и во всем остальном тоже, находя это остальное чем-то вроде продления за школьным порогом тех мучительных гимнастических упражнений, которыми изводил их преподаватель физкультуры по кличке Циклоп, приземистый квадратный человек с огромным лицом, причудливым челюстным аппаратом — в момент произнесения команд челюсть двигалась почему-то в продольном направлении,

словно перетирали слова, — и невыносимо узко посаженными жесткими глазами. Процесс физического закаливания молодежи он сводил исключительно к отжиманию от пола. Привыкшая понимать жизнь как взаимодействие материальных предметов или разнообразных сыпучих, текучих или гранулированных веществ, она опять-таки не задумывалась, почему ее благорасположением пользуются летучие дорожные люди, впрочем, дорога знала: за короткий постой Саня требует определенную мзду.

— Эй, а на память что-нибудь! — говорила она своему на-одну-ночь-постояльцу, припомнив, как видно, первого, от которого остался брелок.

Второй был водителем крытого грузовика, везшего откуда-то куда-то картошку, неторопливый в движениях мужчина лет сорока с заскорузлым, слегка шелушащимся, словно обмороженным лицом и удивительно теплыми, смеющимися глазами.

Он усмехнулся (глазами), пошарил в бездонном кармане брезентовых брюк и вычерпал оттуда голубую разовую зажигалку, подбросил ее на ладони и виновато пожал плечами.

Она кивнула и протянула руку.

Со временем дорога узнала о характере Саниного оброка. В глянцевой лоснящейся картонной коробке из-под импортных сапог, хранящейся под кроватью, собралось значительное количество предметов мужского обихода (исключительно мужского, подношения в виде дешевых колечек со стеклянными сапфирами и рубинами, того же сорта беспородных брошей и ниток с папуасскими бусами она почему-то отвергала). Тут были брелоки и зажигалки, мундштуки и открывашки для пива, перочинные ножики и шариковые ручки, поясные ремешки и бросовые часы с ослепшими циферблатами, расквашенные кошельки и бритвенные станки, затянутые в чехол окаменевшей мыльной пены, — словом, исключительно те невзрачные, неподарочные предметы, что годами служили дорожным людям и надежно хранили воспоминания о прикосновениях их жестких, изъеденных трещинами и ссадинами ладоней. Иногда после смены она, жарко натопив в вагончике, забиралась под одеяло, доставала коробку, усаживалась поудобней и перебирала вещи, глядя в черное, всплакнувшее от жары окошко, к которому время от времени прикасались кроваво-красные шрамы от пролетевших мимо габаритных огней. Просто сидела и ни о чем не думала.

Однажды по дороге быстро распространилась весть о легком недоразумении на точке. Очевидец событий, преклонных лет шофер старой закваски, рассказывал в открытой забегаловке кавказца по прозвищу Абдулла (исконным именем хозяина этой сытной, с домашними блюдами кафешки дорожные люди не интересовались), что рано утром на развилке, где стоит точка, видел странную картину. Переночевав в кабине, он по утреннему холодку отправился на пустырь, где за огромной деревянной катушкой для кабеля намеревался облегчить себя от большой дозы выпитого на ночь чая, и, облегчаясь, наблюдал, как от вагончика, потягиваясь на ходу, не спеша, направляется к своему ЗИЛу молодой человек с нахальной рожей. Тут дверь балка распахнулась, на улице выскочила голая женщина (общество, внимавшее рассказу, усомнилось: что, совсем голая? — и старик сконфуженно поправился: ну, почти, в розовой, на бретельках комбинации), окликнула молодого человека и швырнула ему вслед комок мелких ассигнаций.

Заведение Абдуллы было устроено по образцу и подобию полевого стана: навес, длинный общий стол из струганых досок, по бокам которого стояли лавки, а время было обеденное, так что истории пожилого шофера поневоле внимали все сотрапезники, а это добрая дюжина дорожных людей. С минуту под навесом стояла глубокомысленная тишина, разбавленная чавканьем и цоканьем ложек, пока наконец грузный и совершенно лысый человек с породистым лицом, напоминавший сознательного разбойника Котовского из старого фильма, не прогудел: «Молодец баба!» — на что общество многозначительно кивнуло: истинно так, разве можно к Сане подкатываться с деньгами?

— А ты, отец, чего не сподобился там пристроиться? А? Под шум волны? — подмигнул рассказчику сидевший напротив чернявый молодой человек, разбойно блеснув черным глазом.

Он был известен на дороге под именем Цыган (произносилось с нагрузкой на первый слог, что подмешивало в имя некий босяцкий, беспризорный смысл) и держал километрах в двадцати ниже по течению трассы ремонтную лавку под названием «Шиномонтаж», а теперь ехал в город «проведать батяньку и махнуть с ним рюмочку по случаю праздника».

Народ медленно расходился, легонько пихая в бок Абдуллу, привалившегося к опорному столбу навеса: бывай, до скорого! В ответ на этот прощальный жест Абдулла, приземистый жилистый азербайджанец, страдавший мучительным плоскостопием, отсидевший по молодости лет в тюрьме, имевший в далеком городе Саратове от русской женщины четверых детей (ах, горе мне, горе — все девочки), которых не мог видеть с мая по октябрь из-за прикованности к своему продуваемому всеми ветрами духану, ничего не отвечал, а только слегка отшатывался. Так он и стоял, подпирая столб, туго скрестив руки на груди, смотрел, как отплеваются голубым выхлопом трогающие с места грузовики и уходят на трассу — кто направо, а кто налево — и пропадают, потом составлял на подножку рядом с кухней, погружал в чан с теплой водой, садился рядом на табуретку и наблюдал, как остывающая поверхность воды медленно покрывается пепельной жировой ряской.

По всей видимости, примерно в это время и возник на точке Сережа. Саня много раньше обычного закрывала заведение ввиду малопонятного отсутствия клиентов — странно, за весь день завернуло всего три грузовика. Причина состояла в том, что этот день в календаре был помечен пурпурной майской единицей, однако Саня за годы безвылазного сидения на точке привыкла к сплошному, без расслабленных перекуров течению времени и разучилась понимать и чувствовать праздники.

Всю вторую половину дня она бездеятельно провела в обеденном зале в компании с нарисованной на стене женщиной. Не зная, куда себя девать, она несколько раз протирала мокрой тряпкой чистые столы, старательно нарезала новую порцию салфеток из коричневой оберточной бумаги, плотностью и жесткостью походившей на тонкую жезь, потом смотрелась в зеркало над раковиной и находила бледное лицо, стоящее в мутноватом овале, чужим, посторонним предметом.

Утреннее происшествие ее уже нисколько не занимало, тем более что от молодого человека с нахальным, скользким взглядом ничего, в сущности, не осталось, ничего предметного, осязаемого, вещественного, стало быть, и не было его вовсе.

Прикрывая глухую, тюремного вида стальную дверь точки, Саня уловила в прохладном воздухе свежую интонацию, вплетавшуюся в привычные запахи солярки, влажной помойной гнильцы, гороховой каши, подгоревшего жира и бледнотелых, покойнического вида рыбных котлет, витавшие в обеденном зале.

Пахло дымом костра.

«Весна, — равнодушно подумала она, — огородники осваивают свои окочевшие за зиму времянки».

Пытаясь провернуть ключ в несговорчивом амбарном замке, обуздание которого требовало значительных усилий, она услышала ноющую боль в запястье — то был отголосок мышечной памяти о прощании с водителем ЗИЛа, — и именно оттуда, из эластичного вещества мышечных тканей, проросло зыбкое воспоминание о прошлой ночи, окутывающей облик молодого человека: кожаная шоферская куртка на мощной зубастой «молнии», детская ямка на щеке, подвижные и скользкие глаза и шипящая присказка — чё почём, — которой он перекладывал едва ли не всякую вторую фразу, рассказывая о том, что папаша у него большая шишка, московский генерал, имеющий штаны с красными лампасами, и что из дома молодой человек сбежал, институт бросил и стал вольной птицей, мятежным странником и королем дорог. Врал скорее всего. А может, и не врал... Замок упирался, рука ныла, Саня растерянно оглянулась, ища помощи, и увидела человека.

Он неподвижно сидел на деревянном тарном ящике из-под тушенки, привалившись спиной к толстому витринному стеклу точки, и смотрел куда-то туда, где трасса плавно вползала на пригорок. Что он там высматривал, оставалось неясным. На нем был тяжелый, грубой вязки свитер с толстым и мягким, как коровья губа, воротом, бурые джинсы и заскорузлые походные башмаки-вибрамы, на вид ему было около сорока. Коротко стриженные, грязновато-серого оттенка волосы стояли плотным ежиком, так что издалека казалось, будто прическа исполнена из толстого войлока.

Человек был явно нездешний, то есть определенно не принадлежал ни к оседлому городскому населению, ни к племени кочевых дорожных людей — ни те, ни другие не имели такого сорта и выделки удлиненных и четко очерченных лиц: почти отвесно падающий лоб, рассеченный двумя настолько рельефными, откровенными морщинами, что казалось, будто лоб разохся и треснул, прямой заостренный нос, напряженная линия скулы — лицо состояло из линий и углов, как будто вышло из-под тонкого грифеля чертежника, оттенком же — кстати вот! — отдаленно напоминало инженерную «синьку».

Откуда он взялся? Стоянка перед мусорной свалкой была пуста — значит, не приехал. Пришел? Тоже сомнительно, пешком по трассе не находишься...

Наконец она совладала с замком. В вагончике затопила печку, прибралась, машинально (зачем это, интересно?) накрыла круглый обеденный стол свежей скатертью, машинально переделалась (с плечиков были сдернуты роскошная полупрозрачная кофточка с кружевным мушкетерским воротником и черная юбка из жатой жеваной материи — все надевалось лишь раз в момент примерки, а с тех пор пылилось в шкафу). Расчесав волосы на прямой пробор и украсив их французской заколкой в виде бабочки, распростершей тропические, переливающиеся всеми цветами радуги крылья, она выглянула на улицу — пришелец был на месте. Она стряхнула домашние тапочки, болезненно морщась, погрузила ноги в новые импортные сапоги на среднем каблуке, прошла туда-сюда, осваиваясь с самой собой, возросшей и сделавшейся вдруг шаткой, неустойчивой, накинула на плечи просторный плащ и вышла.

Человек на ящике совершенно не обратил на нее внимания, она усмехнулась и сказала: «Заходи, что ли, застудишься», — и он вздрогнул, обернулся на голос, некоторое время с оттенком удивления вглядывался в ее лицо, наконец, молча кивнул и поднялся. Встряхнулся, пожегился и — точно ходил этой дорогой от рождения — бодро зашагал к вагончику, а Саня, неловко и осторожно передвигая себя в кошмарно неудобной обуви, послушно двинулась следом.

Посреди ночи она проснулась — с чего бы это? — с минуту полежала с открытыми глазами, вслушиваясь в ровное дыхание лежащего рядом человека. Потом осторожно вытекла из-под одеяла, на цыпочках пересекла комнату и нащупала на подоконнике металлическую крышку из-под овощных консервов «Глобус», служившую ей в качестве подсвечника. Прикрыла ладошкой хрупкий свечной огонек, вернулась к кровати и ощупала кое-как брошенную на стул одежду. Карманы джинсов были пусты, если не считать носового платка да замусоленного автобусного билетика, из которого явствовало, что его владелец пользовался муниципальным транспортом в городе Москве. В существовании этого города Саня иногда сомневалась, слишком он был далек, призрачен и — чисто предметно — ничем не был отмечен в том мире вещей и веществ, которые ее привычно обступали на точке. Дорожные люди, правда, иногда рассказывали о его огромности и безжалостности, но то были слова, слова.

Никогда прежде она не грешила рысканием в карманах постояльцев и даже в первый момент устыдилась своего незаконного и бессмысленного порыва — что, собственно, она искала? Скорее всего какой-нибудь документ — паспорт, воинский билет или же билет профсоюзный — словом, любой клочок бумаги, удостоверяющий его тревожную личность. Ничего похожего в его карманах не нашлось, и это обстоятельство натолкнуло Саню на предположение, что возник пришелец ниоткуда, соткавшись из кострового дыма. Вы пару месяцев хотя бы поживите на оторванной от мира точке, вам и не такое в голову взбредет. Ничего мистического, впрочем, в таком предположении не было — вовсе не потусторонне, а вполне реально он хозяйничал за столом, когда она

наконец доковыляла до вагончика в инквизиторской обуви. Он неторопливо жевал хлеб, отламывая маленькие кусочки от подсохшего батона и тщательно промакивая их в банке с килькой, оставшейся после вчерашней трапезы генеральского сына.

Не испытывая и тени неловкости, он лакомился объедками, приветливо и очень обыденно — как старинному знакомому — кивнул возникшей в дверном проеме Сане, дескать, заходите, чего ж стоять в дверях — примерно такой текст прочитала она в его тусклых глазах и ни с того ни с сего предложила: «Может, ты хочешь немного выпить и поесть?» — на что он без промедления кивнул. Она сбегала на кухню, торопливо собрала, что под руку подвернулось, — миску гороховой каши, пару анемичных рыбных котлет, ломоть отдельной колбасы, расстрелянный жировыми дробинами, бидон приторного чая, а также бутылку домашней вишневой наливки, наполовину разбавленной чистым спиртом, которую берегла на всякий (Бог его знает — какой) случай. Вот и выяснилось — какой. Он с аппетитом поглощал столовскую пищу (готовила Саня, между нами, скверно), съел все, они выпили по паре рюмок наливки, вино стукнуло Сане в голову, да и у него глаза заблестели, он с наслаждением курил забытые генеральским сыном сигареты, затягиваясь медленно и настолько глубоко, что лицо на излете затяжки выглядело совершенно бесщеким, но после второй сигареты он как-то быстро, вдруг, разом сник, стащил с себя свитер, джинсы, рубашку и улегся в кровать.

Он моментально заснул, а Саня еще долго сидела озадаченная странным поведением пришельца — обычно посиделки за столом имели продолжение, — но усталость сморила ее. Она выпила еще рюмку наливки — а ей-то куда себя подевать? — потом торопливо разделась, укрываясь за распахнутой дверкой шкафа. Она почему-то стеснялась этого человека, спавшего на спине, точнее сказать, его совиного взгляда: он спал, полуприкрыв веки, и, казалось, пристально наблюдал за ней откуда-то из глубин своих сновидений.

Не обнаружив в карманах ничего такого, что могло бы пролить свет на происхождение, местожительство или род занятий пришельца, она справедливо рассудила, что это не имеет значения, завтра он исчезнет, как и все прежние дорожные люди. Заснула она не сразу, все о чем-то беспокоилась, пока наконец не уловила природу этого беспокойства.

В вагончике пахло дымом. Наверное, печка пошаливает, как бы не угореть, встревожилась она, но, приняв себя, определила, что на свою буржуйку возводила напраслину: запах имел слегка кисловатый, травяной, совсем не ядовитый привкус, он сочился откуда-то слева, где в темноте лежал человек и причмокивал губами. Она приблизила лицо к его теплоте дыхания — да, запах дыма шел от него, от волос, от лица и, кажется, даже от острой ключицы, и Саня подумала: понятно, он же долго сидел там на ящике, и дым огородных костров впитался в него.

Дымы все десять дней праздничного майского цикла волнами накатывали на точку, после десятого числа они отхлынули — огородники разбрелись по своим работам и службам, — стало тихо и тепло. Саня в первый же будний день наведальась в город. В двухэтажном универмаге на центральной площади (универмаг плюс две вытянутые клумбы, напоминающие огородную грядку, плюс желтокирпичный исполком, наколотое на рапирье жало флаштока, окровавленное вечно вялым и выглядевшим несвежим полотнищем, плюс кинотеатр «Пламя» с покатою крышей), на втором этаже, в «мужском» отделе, она сделала несколько озадачивших персонал покупок, как-то: пара добротных рубашек пятидесятого размера, бритвенный станок с помазком, три пары носков и пару трусов; с последним предметом туалета у Сани вышла некоторая заминка; продавщица, метнув на прилавок разлинованные прямыми неизгладимыми складками образцы товара (собственно, три разновидности одного фасона: трусы антрацитовые, грязно-синие и бежевые в цветочек), украдкой наблюдала за неловкостью покупательницы, нависшей над прилавком и не рискующей прикоснуться к товару. «Было б что под ними прятать», — философским тоном заметила продавщица, и Саня мгновенно почувствовала на лице отвратительный

пятнистый ожог — на лбу, на щеках, на скуле: она всегда так краснела, горячими, походящими на симптом какой-то кожной болезни пятнами.

Он не ушел с утра, устремляясь вслед всем прежним дорожным людям, и через день не ушел, и через неделю — остался на точке, не испросив разрешения у хозяйки и не пробуя объяснить причины своего странного поста; он поразительно легко вписался в мир предметов и веществ, из которых точка строилась, а занят он был дни напролет тем, что ничего не делал. Он набрасывал на плечи старое солдатское одеяло, запахивался, устраивался на своем насиженном ящике и не мигая смотрел в никуда, так он сидел дотемна, покрываясь дорожной пылью. Он ничего не говорил, не просил есть или пить, и на ночь глядя Саня кормила его чуть ли не силком, как капризного ребенка... В еде он был совершенно неразборчив, довольствуясь остатками столовских блюд, к приготовлению которых Саня начала относиться с большим старанием и даже иногда жарила картошку. Ел пришелец много, не обнаруживая предела насыщения.

День на третий за вечерним чаем Саня, растапливая за щекой шершавую конфетку-«подушечку», спросила, как его зовут, в ответ он поднял глаза от дымящейся кружки, морщинные трещины во лбу сделались глубже и рельефней, линии лица стали жестче, а углы заострились. После продолжительного размышления, аранжированного треньканьем чайной ложки, бессознательно завинчивающей крутой кипяток воронкой, он заговорил — впервые за все это время. Саня толком и не разобрала, о чем это он: будто бы своего исконного имени не знает, однако с тех пор, как себя помнит, ему сопутствует, шествуя где-то рядом и тем не менее с ним никогда не сливаясь, простое имя Сережа, так он торопливо представился и опять замолк. Шершавая и безвкусная оболочка конфетки наконец подтаяла за щекой, от приторной начинки у Сани заныл зуб мудрости, массируя щеку, она произнесла: «Сережа, Сережа,— как бы ошупывая имя рукой, и почувствовала — рукой — прикосновение чего-то ласкового, хрупкого — сережки березовые? Вот именно! — и добавила: — Хорошее имя, березовое какое-то». Глаза пришельца потеплели, он ласково провел ладонью по ее волосам, и на матовом лице Сани мгновенно вспухли горячие пятна расплесканного румянца.

Тем вечером он впервые — намеренно, осознанно — дотронулся до нее, их совместное лежание под жаркой периной было не в счет, Сережа засыпал мгновенно, а она отходила за дверку шкафа раздеться: пряталась от его ложного, невсамделишного взгляда из-под полуприкрытых век, ложилась и долго не могла уснуть, все никак не отпускало ощущение, будто спит она с ребенком. Это тем более странно, что внешне он ни малейшего повода к такого рода подозрениям не давал, он выглядел в компании перебивавших в этой кровати дорожных людей мужчиной не из последних... Вот разве что кричал по ночам.

Кричал он горько и беззащитно, с той легкой хрипотцой, какую накапливает в голосе к середине ночи изоравшийся младенец, эти странные звуки напоминали ритмично распаивающуюся воронку: уай-й-й, уай-й-й, уай-й-й.

Но утром он поднимался как ни в чем не бывало, ополаскивался по поясу под мощной и перекрученной канатом струей дворовой колонки, неловко подсовывая спину под крючок водометного ствола, жестоко растирался вафельным полотенцем, выкуривал сигарету натошак, набрасывал на плечи одеяло и отправлялся на свой пост, откуда хорошо просматривалась — что влево, что вправо — вся трасса.

Купленное в универмаге она как-то утром выложила на стул, Сережа недоуменно покосился на Саню, и та, свалив голову к плечу, объяснила исчезновение его вещей: надо бы простирнуть, а то обносишься совсем. Сережа пожал плечами и ничтоже сумняшеся стащил с себя трусы, и, пока новые, бежевые в цветочек, не заняли свое место, Саня успела отметить, что, конечно, Сережа не из последних будет мужчин.

В двадцатых числах пошли дожди, Саня надеялась, что ненастье отвратит его от бессмысленного сидения на ящике; напрасно надеялась — дожди шли короткие и теплые, но плотные. Сережа перенес свой ящик в торец здания, под широкий козырек складского помещения; там не капало, зато уж хорошо задувало сбоку водяную пыль, так что к вечеру приходилось Сане затапливать печ-

ку и подсушивать его волглую одежду. Тут-то она и вспомнила про родительскую плащ-накидку. Вещь добротная, на прохладной и скользкой клеенчатой подкладке, Сереже она оказалась немного коротка.

Скоро дожди сошли на нет, установилось раннее лето с его ровным и долгим теплом, вернувшим к жизни скудную флору, обитающую на точке, и даже ожил мусорный пустырь за стоянкой. Сквозь промасленные тряпки, куски железа, старые шины, обломки деревянной тары и другие отходы дорожного быта проросла упорная крапива, напоминавшая под ветром всплески зеленого огня, так что потребность в дождевике отпала.

Но поездка за ним в городской дом даром не пропала.

Это был все-таки дом, а не вагончик на колесах, и в ближайший понедельник Саня съездила в трест общепита, где деловым, возражений не допускающим тоном заявила, что берет неделю за свой счет (перечить ей было сложно — отпуск она брала первый раз за столько-то лет), договорилась с шофером трестовского «уазика», вернулась на точку, отключила электричество, перекрыла воду, завернула за угол и сказала: пошли, Сережа.

Он не спрашивал — куда? зачем? — послушно следовал в полушаге сзади, ведомый уверенной рукой Сани, и тем же манером, не выпуская Сережину руку, она провела его по дому, давая по ходу пояснения: тут веранда... Или: комната, здесь можно ужинать и смотреть телевизор. Или: спальня, здесь мы будем спать. И так далее: чулан, сарай во дворе, летняя кухня — плита газовая, водопровод, все, как у людей.

Завершив обход, она устало, точно носила тяжести, опустилась на ступеньку крыльца, сказала: ну вот так, Сережа, а он стоял перед ней, покачиваясь с пятки на носок, насупившись, капризно поджав губы, потом во второй раз подал голос: что это? Она поднялась и тихо выдохнула ему в лицо: это наш, Сережа, дом.

Два дня он провел в четырех стенах, сидя за круглым столом под мохнатым колпаком абажура, набрякшего пылью, тупо глядя перед собой на свежую скатерть, испещренную кольцами кружевного узора, точно кто-то кинул в центр стола камешек, пустив по льняной поверхности круги, а на третий день он исчез.

Он исчез точно так же, как и возник, — тихо и безмолвно. Обнаружив с утра пропажу, Саня, как была со сна, в мешковатой ночной рубашке, с измятым и несвежим лицом долго сидела у стола, подмышкой оседлав спинку стула и безвольно развалив длинные, худые ноги. Потом она тщательно и подробно прибирала дом, освежала мокрой тряпкой покрытую пылевыми чехлами мебель, отдавая должное ее прочности и неповоротливости — предметы обстановки стояли на своих местах каменно, нешатаяемо, словно имели под домом продолжение в виде бетонного фундамента, — не то что в вагончике, где все было неустойчиво, временно, все покачивалось, попискивало и поскрипывало. Эти предметы сообщали ей настроение покоя, она решила остаток отпускной недели провести дома, все это время она мало думала о Сереже. Не будучи формально человеком дороги, он тем не менее, по сути, конечно же, принадлежал к племени летучих людей — вот разве что поэтому Саня чувствовала смутное беспокойство, и в субботу, отпаривая на увечной, на две ноги хромающей гладильной доске свой рабочий халат, она спросила у себя: как же так?

Как же так в самом деле, Сережа исчез, отправившись следом за прежними дорожными людьми, но от тех, прежних, что-то обязательно оставалось, а от Сережи не осталось ничего. Она медленно двигала туда-сюда тяжелый, с высоким и тупым, ледокольным носом утюг — как же так? — двигала туда-сюда, словно рубанком с шершавой доски состругивала с рабочей одежды одереветневшие от избытка крахмала морщины и шероховатости — как же это? — и вдруг засобиравшись, через полчаса ее видели на конечной остановке городского автобуса голосующей.

Ее подобрал все тот же общепитовский «уазик», водитель, крошечный человек, ссохшийся от беспрестанного курения, с лицом состарившейся куклы, в упор расстрелянным черной угревой дробью, странным образом оказался в курсе дела и потому деликатно помалкивал. На подъезде к точке он хрипло от-

кашлялся в игрушечный кулак и со скрипом выдавил из себя: что, ушел он? И Саня кивнула: да! — глядя куда-то вбок, налево, откуда вприпрыжку набегал на них поселок огородников.

— Думаешь сыскать его? — спросил шофер, притормаживая перед стальной дверью точки.

— Ага,— уверенно сказала Саня.

Шофер пожевал аккуратно сплюснутый мундштук папиросы.

— А как?

— А так,— ответила Саня, взглядываясь в шаткий дымок, витиевато прорастающий из угомонившейся в углу рта папиросы.— А вот так.

— Это как?

— По запаху.

Он нашелся достаточно быстро, на второй день ее странствий по трассе, приютом ему служил давно отживший свой век придорожный магазин, караулящий поворот на рыжую грунтовку, стягивающую трассу с цементным заводом. Магазин — прежде он был керосиновой лавкой и только в семидесятые годы перестроился в продуктовый — представлял собой скромных размеров квадратную каменную будку с толстыми стенами. При известном старании будку можно было бы привести в божеский вид, но руки, желавшей прикоснуться к этим изъеденным бледно-зеленой плесенью стенам, не находилось. Лет пять назад, когда стало совсем нечем торговать, кроме каменных пряников и хозяйственного мыла, лавочку прикрыли, перекрестив дверь широкими досками. Будка медленно ветшала и превратилась наконец в хмурый памятник каким-то прошлым временам, попахивающим керосином.

Искать Сережу можно было где угодно — мир велик! — но Саня по интуиции двинулась вдоль трассы. Переночевала она у Абдуллы, Абдулла уступил ей свою кровать, а сам улегся на матрасе среди котлов. Возможно, она и не вернула бы на огонек к коллеге, но со стороны полевого стана потянуло дымом. Это был не совсем тот запах, какой Саня искала, в нем доминировал характерный шашлычный акцент, и тем не менее она свернула с трассы: попытка не попытка.

Дым мангала был уже, собственно, третьей приманкой, на которую она клюнула, а первый сигнал прозвучал еще накануне, со стороны железнодорожного откоса. Насыпь едва виднелась за обширным кормовым полем, на котором никогда ничего не росло, кроме травы для скота; Саня знала, что насыпь тащит на горбу узкоколейку, ускользящую в плотный и опрятный лесок, и где-то в глубинах этого леска подныривает под глухие железные ворота, охраняемые сонным солдатом в будке (говорили, там военный завод). Она пересекла поле, добралась до насыпи и только здесь поняла, что сбилась с курса. Серая прошлогодняя трава, нахлынувшая на откос, вся была заляпана черными пятнами гаревых лишаев, проплешины были еще живые, еще дышали теплом и горьковатым запахом. Она повернулась и ушла. Тот же инстинкт привел ее к лавке «Шиномонтаж», хотя здешний запах имел индустриальный какой-то, металлический привкус. Молодой человек, которого на дороге называли Цыган, приваривал железную загогулину к днищу опрокинутой набок легковушки («Батянька сослепу на брюхо сел на проселке и глушак оторвал»). От Цыгана Саня узнала, что Сережа тут появлялся, дней несколько назад — придурковатый какой-то мужик, замотанный в солдатское одеяло, придурок, факт, уселся вон там, под старым тополем, и проторчал весь день, у Цыгана дел было невпроворот, потому он толком не заметил, когда и куда он улетучился. Кстати вот, и Абдулла, угощая Саню жидким на цвет (зеленым) чаем, про Сережу упомянул: был, был, чудака-человек, бродил вокруг да около, глухой он, что ли? Абдулла его звал: эй, человек, кушать хочешь? шурпа хочешь? — но тот не отзывался, а куда он подевался, Абдулла не знал. К Абдулле приехал родственник из родных краев, из маленького глиняного города, прилепившегося к желтой горе, на эту гору веки вечные карабкается, переводя дух на плоских площадках, виноград. Эти площадки, рассказывал Абдулла, выточены в горе рукой человека и обильно политы потом, в том числе и потом отца Абдуллы, которому Аллах даровал покой и вечное блаженство, а мать еще жива, ниспошли ей Ал-

лах долгих и радостных дней. Ну вот, и они сели с родственником праздновать встречу, пили коньяк, и Абдулла не заметил, как человек в одеяле куда-то пропал.

Возможно, Сережа так и растворился бы в этой безначально-бесконечной трассе, не почувстуй Саня, как в открытое окошко КамАЗа, которому она голоснула, покинув гостеприимный полевой стан, залетел на хвосте у плотного сквозняка знакомый запах.

Она попросила притормозить, выбралась из кабины, потопталась на обочине, огляделась и прощально махнула рукой: поезжай. Сережу она нашла сидящим на земле у магазинного крыльца в компании какой-то вольной собаки невразумительной палевой масти, огромной, с остановившимся стеклянным взглядом, очень походившей на волка. Собака застыла в сторожевой позе, ее стоящие по стойке «смирно» уши мелко подрагивали, черный нос шевелился, впитывая и сортируя запахи дороги,— казалось, она охраняет беспомощного, завернутого в солдатское одеяло ребенка.

— Пойдем, Сережа, пора... Пойдем.— И они двинулись вверх по течению трассы.

Собака, вопросительно склонив голову набок, смотрела им в спины, Саня ощущала прикосновение этого волчьего взгляда даже в тот момент, когда они сходили с попутной машины, подбросившей их до точки.

Сережа бродил туда-сюда, шаркал ногами, словно не полагался на зрительную память, а намеревался освоить и узнать рельефы знакомого пространства подошвами, Саня хлопотала на кухне, а когда к вечеру вышла на воздух перевести дух, обратила внимание на белый легковой автомобиль, приткнувшийся к обочине неподалеку от точки.

Автомобиль утробно урчал, как будто вынашивал какую-то тайную мысль, потом сдал назад и остановился как раз напротив жестяного козырька, под которым сидел Сережа. Поразмыслив немного, он тронулся и медленно покатиł вперед, кровотокающие ранки его габаритных огней быстро затянулись в пепельных красках трассы, а Саня подумала, что быть беде.

Так оно и вышло: на излете недели этот белый автомобиль зарулил на стоянку. Плавно отворилась широкая дверь со стороны водителя, показался и сам шофер, солидный мужчина в кожаном пиджаке, с грубоватыми чертами лица, вытарабаивающими из густой, совсем седой бороды; облокотившись на крышу, он медленно обвел взглядом развилку, мусорный пустырь, здание столовки. В бороде его возникло шевеление — он что-то произнес, что именно, Саня не разобрала, но подумала: вот она, беда, а вслед за этим открылась вторая дверь.

Так широкий иностранный автомобиль и стоял, словно плашмя рухнувшая на землю белая птица с нелепо вывернутыми крыльями; из-под правой дверцы показалась маленькая нога в черном чулке и крохотной туфельке на низком каблучке, дотянулась до асфальта, носок замер, как бы проверяя надежность опоры, и какой-то мудрый инстинкт подсказал Сане, кто такая эта женщина.

Потому Саня, привалившись плечом к холодному стальному косяку, безмолвно и обреченно наблюдала за тем, как женщина уверенной походкой направляется в тылы точки, где зябко поеживается после омовения под ледяной струей Сережа. С минуту они стояли друг напротив друга, в лице Сережи медленно прорастало новое, постороннее и совершенно неведомое Сане выражение, он плавно развел руки в стороны, одеяло стекло с его плеч, а женщина протянула ему миниатюрную ладонь:

— Пойдем, Сережа.

Они медленно прошли мимо Сани, бессознательно мнушей в больших руках передник, Сережа — новый, повзрослевший, чужой — обнялся с бородатым, и, прежде чем погрузиться в машину, он оглянулся, обвел взглядом все то же: развилку, пустырь, приземистый вытянутый пенал столовского дома, вагончик на вросших в землю колесах — и пожал плечами.

Они расселись, первым исчез на заднем сиденье Сережа, потом водитель и, наконец, женщина: подобрав длинную юбку, она занесла ногу в салон и уже слегка отклонилась, чтобы бочком, плавно изогнувшись, донести себя до просторного сиденья цвета кофе с молоком, но в этой незаконченной, переходной

позе вдруг замерла и посмотрела на Саню, а минут через пять они уже сидели в пустом обеденном зале за крайним столом, прямо под гигантской женщиной, которая вблизи выглядела состоящей из разноцветных и скользких обрезков промасленной ткани, и пили горький коньяк.

Вот интересно, как мог бы развиваться разговор между Саней и этой маленькой женщиной, напоминающей девочку, в день двенадцатилетия торжественно решившую остановить бег своих лет. Своей немисливо короткой, несколько неряшливой, с влажным пепельным отливом стрижкой она, однако, сильно походила на мальчика, только-только вылезшего из ванны и не успевшего вытереть голову. Да уж, интересно — ведь она раздумала садиться в машину, вернулась на место встречи с Сережей, подобрала одеяло, аккуратно сложила его и протянула Сане: вот, спасибо, а Саня, невесело усмехнувшись, отозвалась: да уж чего там, понятное дело, дорога — не понимая, впрочем, при чем тут дорога.

Женщина кивнула: да-да, именно что дорога, без начала и без конца, примерно так я это себе и представляла, ну, всего вам доброго, и спасибо за хлопоты, а Саня пожал плечами: да какие уж с ним хлопоты, он ведь как ребенок.

Женщина сузила глаза: он вам рассказывал? Саня облизала сухие губы: да нет, и припомнила, что ведь и в самом деле он никогда ничего не рассказывал, да и вообще не говорил почти ничего.

Они долго молчали. Женщина вдруг встрепенулась: подождите, я сейчас, сбегала к машине, вернулась с коньяком: тут, знаете ли, без бутылки, как говорят в народе, не разобраться! — но в чем она намеревалась разобраться, Сане было невдомек, да и пить ей не хотелось.

Остается только предполагать, что миниатюрная женщина, разливая по стаканам золотистый напиток, говорила примерно так: это у него, знаете ли, что-то вроде болезни, весной на него находит, поболает, поболает, а со временем приходит в себя, становится нормальным, вот как сегодня, вы же видели. Нечто наподобие амока, я понятно выражаюсь? Это мания не преследования, а, наоборот, преследователя, он ведь подкидыш, Сережа, да, подкидыш.

— Ах ты, Господи! — сочувственно закивала бы Саня.— Сирота... Вот ведь беда.

Но женщина в ответ скорее всего поморщилась бы: ах, да нет, это хуже, хуже, чем сирота, безнадежней, нет-нет, не сирота, а именно подкидыш, вы чувствуете разницу? Сирота все-таки способен услышать в себе некое начало, он знает: были у него где-то когда-то родители, были, да вот не стало их, умерли, предположим, это, конечно, тяжело, непоправимо, но перетерпеть можно, а подкидыш, он будто бы взялся ниоткуда, он зачат ночью жестким порогом чужого дома и собственным истощным с голодухи криком.

И Сане, наверное, стало бы очень Сережу жаль, потому что в самом деле у всех есть начало — у нее есть, у Абдуллы, у Цыгана и даже у того гаденьша есть где-то папаша-генерал, а у Сережи, стало быть, нет — и, представив себе такое, она скорее всего тихо, без подготовки и вздохов, заплакала бы, слушая вполуха собеседницу, которая скорее всего посвятила бы Саню в детали Сережиного странного недуга: такое с ним каждый год случается, весной, лет уже пять подряд, с тех самых пор, как умер отец... Не родной отец, нет, а приемный, или как там называется тот, кто усыновляет ребенка... Ушел из дома в чем был, без денег, без документов, а отыскался аж в Смоленской области, в глухомани, на каком-то задрипанном районном аэродромчике — ровное поле с низкой травой, одинокая корова бродит, и «кукурузник» стоит, а на краю поля дощатый дом, опутанный антеннами, высоченный шест, на конце его болтается белый матерчатый колпак наподобие сачка для ловли бабочек. Все, больше там ничего не было. Сережа сидел на земле, привалившись спиной к этому древку, с абсолютно счастливым лицом. И стало ясно: он будет и впредь вот так пропадать... Ходить, бродить, отыскивать шестым чувством свое начало, какую-то одному ему понятную точку в пространстве... Наподобие этой развилки. Ни начала, ни конца, невесомость, зависание между небом и землей...

Зачем-то это ему нужно. Слава Богу, тут на днях наш знакомый проезжал, увидел Сережу, вот мы и прибыли. Впрочем, он и сам бы скоро ушел отсюда —

к лету у него это проходит, отпускает его. Он возвращается и почти ничего не помнит — где был, с кем... Ничего не помнит.

Пожалуй, примерно так должна была бы говорить эта женщина с очень усталыми глазами, но, когда вошла в унылый обеденный зал, услышала кислотоватые общепитовские запахи, дотронулась до влажных, подернувшихся мутью граненых стаканов на подносе, она поняла, что объяснить этой бледнолицей поварихе ничего не сможет: все это слишком сложно, сложно, сложно.

И лучше им просто посидеть друг напротив друга, помолчать, выпить, вздыхать да и разойтись в разные стороны.

Они уехали, Саня, разгромленная алкоголем (почти всю бутылку усидели), доковыляла до вагончика, повалилась на кровать, и погрузилась в вязкий, медленно текущий по жилам сон, и пролежала так до самого утра. Проснулась она бодрая, но поднялась не сразу, некоторое время лежала, нежась в перине, которая, наверное, еще хранила воспоминания о спавшем здесь летучем человеке, укатившем с первым светом неизвестно куда и ничего не оставившем после себя, ничего, никакой вещественной памяти.

Хотя отчего же? Так уж он ничего и не оставил?

Да, в вагончике едва слышно пахло дымом. Кто-то с утра пораньше жег на огородах костер.

И, значит, все ничего, надо только дожждаться.

Будет осень, с ней наплывут на точку настоящие дымы, пухлые и тяжелые, потом наступит зима, и ее надо будет пережить в ожидании дымов весенних, а там уж как-нибудь станем жить заново, уж как-нибудь, как-нибудь.

Светлана БОГДАНОВА

ПОБЕГ

Виюне меня не покидало ощущение, что время уходит впустую. Со мною словно бы ничего не происходило, более того, я чувствовала, что со мною больше никогда ничего не произойдет. Друзья меня как будто покинули, просто забыли о моем существовании, от родственников я сама старалась ускользнуть, дабы не отвечать на вопросы, которые считала либо пустыми, либо бестактными, и не перемалывать лишний раз безвкусные слова, казавшиеся мне вялыми подсказками из какого-то популярного разговорника.

Итак, со мною ничего не происходило, и уже после месяца такого затишья все события моей предыдущей жизни стали мне представляться призрачным воспоминанием, причем не моим, а так, выпавшим ко мне из какой-то книги. Этот пыльный гербарий мне не хотелось таскать повсюду с собой, его тончайшие лепестки ломались, я словно была постоянно перепачкана темно-серой пудрой, в которую медленно превращались гордые очертания некогда взлелеянных мною растений. Лишь твердые прожилки — остов моих давних знаний — еще привлекали меня извивами и колким жизнелюбием. Но все же я решила хотя бы сколько-нибудь дней провести несвойственным мне образом, как это мог бы сделать человек, лишенный прошлого. Тогда я думала, что писала некий рассказ, а потом, вдруг оборвав на середине фразы, взяла совершенно чистый лист, может быть, даже из другой пачки, его поверхность скорее всего по фактуре и оттенку отличалась бы от только что исписанного мною, и вот, взяв этот совершенно чистый лист, я другим почерком и с другой интонацией начала бы писать какое-то новое произведение. Возможно, оно бы потом всех удивило своей непохожестью на то, что я делала ранее, однако я бы его закончила, и оно бы стало моим.

Так я и решила провести хотя бы июль: абсолютно не по-моему, поэтому договорилась с одним своим старым другом и переселилась к нему, устройшись в пустовавшей летом комнате его матери. Старушка уезжала на дачу, комната целых три месяца была свободна. Никаких особых планов на ближай-

шее время не намечалось, к тому же он хотел, чтобы кто-нибудь ему готовил ужин.

У него была неплохая библиотека, и я точно знала, что не соскучусь. В те дни мне как-то катастрофически не писалось, и если я брала в руки перо и бумагу, то все, что я могла запечатлеть, носило характер чисто звательный: я писала письма. Я никогда точно не знала, будут ли они получены адресатом, поскольку, как я уже многократно отметила, было лето и, возможно, те, кому предназначались мои эпистолы, уехали на море либо просто куда-нибудь в гости, и я рисковала преподнести им долгожданную, но все же ставшую ненужной и неинтересной с течением времени информацию лишь к осени.

Посему, устроившись наконец среди почти незнакомых мне вещей, источавших чуждые, но никак не могущие повлиять на меня флюиды, я принялась читать. За день я проглатывала двести — триста страниц, а вечером готовила какое-нибудь заливчатское овощное рагу, дабы накормить им X — таково было главное условие моего проживания в этой квартире.

Когда темнело, мы выходили на балкон и молча курили, глядя на сбивчивые нагромождения светящихся зданий и деревьев: квартира находилась на двенадцатом этаже, и из окон ее открывался внушительный урбанистический вид. Я здесь бывала и раньше и знала, что зимой эта панорама выглядит как-то серо, даже грубовато, но теперь, погруженная в толщу теплого ночного воздуха, она словно бы расправлялась, как водоросли в горькой морской воде, становилась мягче и оправданней. Мы смотрели вдаль, благоуханный ветерок поднимался к нам от стоящих внизу на газоне цветущих лип, я дышала этим ароматом, и, как никогда, мне хотелось уехать далеко-далеко, туда, где еще не налилась чернотой прозрачно-голубая полоска неба, изломанная многочисленными силуэтами разомлевших крыш, где меня ждали или не ждали, но где мне было бы лучше и спокойнее.

Я совсем почти не уставала за день, потому, когда приходило время ложиться, я боялась, что не засну, и от этого страха перед бессонницей действительно засыпала с трудом, зато, когда наконец я погружалась в сон, видения мои были бессмысленны и нежны, как скользкие разноцветные рыбки с тупыми кругляшками глаз, чьи прохладные легкие тельца едва колеблются на дне чистого ручейка. Теперь я не жалела, что затеяла невинную игру со временем, поймав его и заключив в изящную клетку мыслей, заставив совершенно по-новому волшебным развлекать меня, показывая мне невиданные трюки с моим собственным сознанием и напевая славные песенки беззаботного детства. Так провела я неделю.

Именно среди чуждых мне предметов, среди непривычной для меня обстановки я вновь почувствовала себя актрисой. Я будто бы опять очутилась на сцене, среди декораций, и прошлое, от которого я так настойчиво еще недавно открецивалась, вновь завладело мною.

Вещи обрели вдруг жизнь, их плоть стала двигаться, пересекая траекторию взгляда. Волны светились и играли в тайных ложбинках их плавных тел. Они внезапно стали мне друзьями и одалисками, я звала их своим именем, и без счета, без меры в мире стало меня, реальность переплеталась с былым, одновременно отождествляясь со мною, и мне теперь в ней не хватало лишь одной-единственной меня.

Жаркая в дневное время и прохладная к ночи квартира подыгрывала мне. Особенно когда я оставалась одна. Легко, сладостно было протягивать расслабленную руку, брать несуществующий стакан с журнального столика (так явно я тогда осязала твердые его грани, что полированная поверхность в древесных разводах отражала незаметный блик) и пить воображаемую воду. Я играла этюд за этюдом, и — видит Бог! — я действительно утоляла жажду.

Вечером, когда X возвращался домой, он удивлялся, что еда в холодильнике оставалась нетронутой, однако я выглядела сытой и веселой, мое поведение он расценивал, видимо, как странное, вдруг стал подолгу говорить со мною, и если раньше вечерами я наслаждалась тишиной и нашим молчанием, полным обоюдного понимания, то теперь не знала, куда деваться от пристальной заботы моего друга. Он почти совсем перестал смотреть телевизор, полюбил пить

чай на кухне в моем присутствии, будучи, вероятно, уверенным, что в этом искусственном, даже насильственном развлечении меня и состоит его хозяйский долг, он забыл, что я так устала от общения и переселилась к нему в поисках спокойствия.

Ссылаясь на поздний час, я отправлялась в свою комнату, ложилась в кровать и пыталась читать, но стоило мне остаться одной, и я снова будто бы всходила на сцену, это чувство становилось настолько реальным, что воздух вокруг меня пропитывался пылью, черной бархатной пылью театра, стена напротив тихо растворялась, обнажая полный зал: а с каким трудом, бывало, я строила точно такую же, бесцветную, пустую стену, некогда находясь на настоящей сцене, стену, отделяющую меня от взглядов и смеха!

О, этот смех я так часто слышала, иногда для того, чтобы сохранить серьезное лицо, мне приходилось совершать непоправимое: я вновь превращалась в саму себя, я вспоминала. Пауза длилась столько, сколько мне хотелось, я заставляла зрителей смеяться во второй раз, не произнеся ни слова, хотя в этот момент внутри у меня все разрывалось от печали, я готова была разрыдаться, думая, например, о тяжелой болезни отца. Я знала, что, расскажи я кому-нибудь секрет успеха подобных фокусов, и этот кто-нибудь содрогнется от моего вероломства, от моего мерзкого рационализма. Увы! Я обращала боль дорогих мне людей в ту же театральную пыль, я дышала этим тяжелым воздухом клятвопреступления — так я тогда полагала, и поэтому мне пришлось оставить театр. Возможно, здесь не было никакого проступка, возможно, так иногда делали все актеры, а возможно, мои действия были неправильны и уродливы. И все же публика смеялась и дарила меня своей любовью.

Однако болезнь отца оказывалась не самым сильным средством, спасающим меня от «раскола» — так мы называли внезапный незапланированный хохот или просто улыбку, а то и жест — ошибочный жест, изблечивший бессилие актера перед реакцией зрителей, его неспособность соткать невидимую пленку, которая отделила бы его от реального мира, сделала бы его слепым и глухим к тем, чьим отражением он был.

В какой-то момент я поняла, что вскоре мне необходимо вернуться домой, потому что эта неожиданная тяга Х говорить со мною по душам обращала меня к тому, от чего я еще две недели назад так страстно бежала, к моим воспоминаниям и тщетным письмам. Я снова была вынуждена играть, оставаясь в одиночестве либо выслушивая долгие, мало интересовавшие меня рассказы о покинувшей моего друга год назад жене. Теперь для меня годились все средства, спасающие от мыслей о прошлом, я готова была надеть на себя любые очки, лишь бы, оглядываясь назад, различать только слабые очертания безучастных ко мне предметов, и сердце мое бы молчало. Но в эти дни даже ранние уходы в комнату уже не помогали мне: подождав минут двадцать, Х робко стучал в мою дверь, объясняя свое появление тем, что у меня еще горит свет, присаживался на мою кровать, пальцы его, как правило, сжимали большую чашку с чаем, — и, прихлебывая уже отчасти остывшую, покрытую серебристой пленочкой темную жидкость, он говорил, говорил.

И тогда мне не стоило никакого труда вытянуть нужную мне карту — из воздуха, совсем по-факирски, — эта карта называлась «засыпание». Глаза у меня начинали болезненно блестеть, потом я их терла — это уже был вторичный, совсем естественный жест, как бы результат того образа действий, который я в данный момент выбрала для себя. В конце концов, не в силах более страдать от напряжения мышц лица, я зевала, демонстрируя собеседнику недра моей актерской глотки, он, пристыженный, удалялся, и мы оба были в итоге вознаграждены за старания аплодисментами...

Жара к середине июля стала спадать, небо над городом теперь почти все время было обмотано какими-то неопрятными клочковатыми тучами, по ночам иногда шел дождь. Его шум, обычный шелест, мне напоминал порою о мистической власти рептилий над теплокровными существами, о стеклянных объ-

ятях, о прозрачно-склизких прикосновениях, о сумрачных зрачках, подавляющих горестную пучину обыденности. Мой уход от X приближался.

X же, напротив, вдруг чрезвычайно проникает моим присутствием, я его очень устраивала в качестве слушателя, хотя — если бы он знал! — я и через секунду не могла бы повторить ни слова его излияний! Я вынуждена была ту самую стену, блеклую, неинтересную, сквозь которую будто бы он смог прорваться в первое время, слегка передвинуть, поместив ее как раз между нами. Вся его откровенность теперь поглощалась пустотой, но он не чувствовал моей отчужденности, он солировал — во всяком случае, так ему казалось, а я в его сценарии играла второстепенную роль. Но он ошибался, полагая, что ведет наш спектакль. Вела его я, ежевечерне экспериментируя с атмосферой, раскладывая свои жестокие нарциссические пасьянсы, выбирая темп и даже музыку для нашего — нет, моего — действия. И тот же шелест дождя был необходим для последних вечеров моего пребывания в доме X, а он так верил в то, что обещали ему месяц назад телевизионные синоптики, он знал наверняка, что во второй половине лета погода должна была испортиться.

Теперь оставалось разыграть последнюю сцену — нужно было оправдать свой уход, и тут случилось нечто для меня неожиданное. Мне вдруг пришла в голову мысль, будто эти три недели были настолько для меня неестественны, что они целиком, включая мое затворничество, и какие-то детали быта, и даже самого X с его кукольными страданиями одинокого мужчины — лишь плод моего воображения, все это было придумано мною, возможно, от усталости или от моего неприятия навязанной мне летом эпистолярной жизни. Я вдруг впитала в себя все, что прочитала и услышала за этот период, и мне показалось, что внутри меня — хлам, бутафория, пыль. Искусственное освещение, способное лишь выхватить разрозненные куски интерьера, но неспособное целиком продемонстрировать картину мира. А снаружи — снаружи оказалось цветное, подвижное действие, какие-то сцены, конечно же, повторялись, но детали их, их исполнение все время менялось, словно талантливый режиссер не ослаблял бдительность своих репетиций, пытаясь каждый раз приблизить происходящее на сцене к идеалу. Идеалу фантазии.

В последний вечер X пришел домой, мы поужинали, я налила нам чай, и он уже было собрался продолжить свои рассказы про несчастную супружескую жизнь, как я вдруг твердым тоном заявила, что завтра утром намереваюсь покинуть его гостеприимный дом. Добавив, что очень ему благодарна за то понимание, с которым он отнесся к моему душевному состоянию, я взглянула на лицо X. Передо мною было не лицо, а маска трагика, все черты его словно устремились куда-то вниз. Мой друг, как маленький ребенок, пытался удержаться от слез, которых внутри у него становилось все больше, он буквально начал распухать на глазах. Это было подлинное горе — королевская скорбь человека, заставлявшего каждую ночь выслушивать себя. Как же мне хотелось расхохотаться, плюнув на все мои сложные построения и теоретические изыскания! Я умирала от комичности ситуации. Казалось, я должна была надоесть ему за это время, но ему так нужна была публика, перед которой он мог бы солировать, что он и не заметил всю обыкновенность и посредственность своих слов и движений, и огромной тени кукловода у себя за спиной.

С какой жалостью теперь я вспоминаю то, что меня тогда так злило и забавляло!

Дабы не разрушить такую нужную мне тогда горькую атмосферу прощания, я решила соврать — самым ужасным образом обмануть такого трогательного X. Я уже не могла смеяться над ним, потому что сложный механизм сцены был запущен, все рычажки путем хитрых зацепок и комбинаций подтолкнули меня, я раскрыла последнюю карту своего фантазийного пасьянса и, еле сдерживая бутафорские слезы, сказала ему о давней смерти брата и о необходимости заняться установкой у него на могиле надгробного камня.

В этот момент я уже не в состоянии была различить, где моя роль, а где правда, они окончательно слились в одно существо, в монстра, грозящего пить и пить, как драгоценный эликсир, человеческую душу, и этим монстром отныне стала я сама.

Олег ХАФИЗОВ

НЕСМЕЯНА

Это произошло в начале июля в оздоровительном лагере «Космос», под Москвой, куда я несколько лет подряд ездил из любопытства.

Палаточный лагерь «Космос», или, как его называют, «слет», представляет собою многолюдный съезд любителей йоги, мистики, сверхъестественных явлений и исцелений, которые собираются со всей России, а иногда и из-за границы, чтобы отдохнуть, исцелиться и встретить себе подобных (с одной стороны), а также проповедовать, пропагандировать, испытывать на благодарной публике методы своего учения-лечения (с другой).

Кого здесь только не перебывало! Один заросший, вяленый, коричневый, клокастый мужчина, весь костюм которого состоял из просторных красных трусов, а все имущество — из суковатой дубины, дневал и ночевал исключительно под открытым небом, несмотря на дождь и холод, который пробирал по ночам даже в палатке, под одеялом. Одна пожилая дебелая поэтесса в цветастом платье и с огромным бантом-бабочкой на пегой голове в сопровождении слашавого паж-гитариста ходила от костра к костру и громко пела за еду свои ужасающие стихи — разумеется, о Боге, Вечной Любви, Космосе и Абсолюте, к которому должна стремиться наша Душа. Наезжали (но быстро уезжали) отлично экипированные сторонники Кришны с блуждающими, расфокусированными взглядами, в особых бледно-желтых балахонах и юбках, складками перехваченных между ног, с бритыми кочками-башками, на которых чудесным образом произрастала одинокая, тонкая и плотная, как канатик, косица, с гитарами, флейтами, бубнами, гулками тамтамами, наполняющими лагерь волнующими ритмами первобытного стойбища, и особым переносным индийским органчиком с ручными мехами, который я поначалу принял за синтезатор.

Народ здесь собирался все больше мирный, беззлобный, но тусклый, безжизненный, некрасивый, одно слово — травоядный. Много было всякого рода хроменьких, кривеньких, глуповатых или, наоборот, заумных, чересчур исхудавших или разжиревших, потерявших надежду на все, кроме чуда, но были и просто тетки с детьми, которые приехали бесплатно отдохнуть на природе и тайком привезли с собой тушенку.

В тот день по лагерю прошел слух, что под центральной сосной будет выступать с сеансом индийский святой из Швеции со странным именем Калька, который на месте, без волокиты исполнит непосредственное желание каждого, если его предварительно записать на бумажке, будь то приобретение машины, квартиры или, так сказать, абсолютной духовной благодати. По пути, правда, выяснилось, что выступать будет не сам святой, а его менеджер, и не из Швеции, а из Германии, и будет он вовсе не раздавать бесплатные квартиры, а жечь коровий навоз и петь санскритские мантры, но это было даже интереснее. Главное — на окраине большого центрального поля вчера остановилась многочисленная группировка натурастов из Москвы, за которыми можно было наблюдать во время лекции, когда они на цыпочках порхали по полю и собирали целебные травы-муравки, волнующе хихикая и щебеча про ауру, карму, энергию и прочую тяготину, не стоящую одного шлепка по заднице.

Я прихватил с собой тетрадку и очки, но меня ждало двойное разочарование. Голые женщины куда-то разбрелись, а может, временно оделись, слившись с другими, а вместо интеллектуала из немецкого университета выступал жуковатый, плюгавый хрен в матерчатой кепчонке с задранным козырьком и «техасах» отечественного производства, которые сохранились только у наиболее экономных из уличных нищих да тех заключенных, которые попали за решетку в разгар советской скудости, а вышли во время базарного изобилия. Треснутые очочки и торгашеский загар скул делали портрет этого проворного машинатора тошнотворно родным. Однако никаких более интересных зрелищ и занятий в ближайший два часа не предвиделось, и я присоединился к кружку.

Солнышко проглядывало сквозь высокие облака и не успевало припечь, как жару сдувал ветерок. Можно было спокойно спать прямо на земле, не опасаясь ни холода, ни жары. Посреди желтеющего бугристого поля, покрытого

зыбью и летучими тенями, водили хоровод женщины в белых балахонах и мужчины в белых рубахах и портках типа кальсон. По команде стоящего в центре бородатого, вороного, жилистого Учителя, они совершали лунатические движения — прыжки, махи руками и ногами, наклоны и изгибы — под аккомпанемент переносного магнитофона.

— Я спал каждый день по девять, десять, двенадцать часов, но тем не менее мгновенно уставал, придя на работу,— рассказывал лектор.— Вся моя жизнь превратилась в неприятную обязанность. Я не мог заставить себя обратиться к незнакомому человеку, не мог отворить дверь начальника, не мог высказать свое мнение. После работы, едва дотащившись до дивана, я валялся и не поднимался до самого утра. И поднимался с большим трудом.

Отчего-то сюжет его рассказа меня заинтересовал, дрема понемногу рассеялась.

— Теперь я, напротив, сплю всего по шесть часов в сутки, отказался от послеобеденной дремы, работаю без выходных по двенадцать—пятнадцать часов, не употребляю мяса, алкоголя и табака, избавился от робости перед людьми и достигаю практически любых поставленных передо мною целей без особого труда. А главное — я научился получать от жизни колоссальное удовольствие.

— Вы, стало быть, выпивали? — спросила женщина в открытом бледно-голубом купальнике, с кривоватыми ногами и массивным животом и тут же занесла что-то в свой блокнот.

— Выпивал я крепко, но дело не в этом.— Лектор оскалился хорошими зубами.— После курса, который провел надо мною Учитель, бросить любую дурную привычку не составляло никакого труда. Безо всяких лекарств.

— И сколько же раз в неделю вы напивались по-хорошему, чтобы вусмерть? — как назло продолжала допытываться женщина, но на нее зашикали.

Лектор без смущения продолжил:

— Методика Учителя не устраняет отдельных недостатков, таких, как вредные привычки или ожирение. Она изменяет жизненную мотивацию, делает ее истинной, после чего все недостатки и болезни как бы отваливаются сами собой.

— Без диеты? — спросила истощенная босая женщина в спортивных штанах и брезентовой куртке, настолько бледная, что ей пошла бы на пользу любая вредная привычка.

— Абсолютно. Я придерживаюсь вегетарианства исключительно из гуманных соображений.

При этих словах стройный мужчина в алых шортах с лимонными лампасами, с седыми стройными ногами марафонца, бородкой Дон-Кихота и длинными седыми волосами, перехваченными кожаным ремешком, огорчительно присвистнул и пошел прочь. Лектор сел под сосной по-турецки, в позе поучающего мудреца, и стал еще больше похож на уличного торговца или нищего.

— Курс полного избавления занимает — сколько бы вы думали? — всего двадцать часов,— сказал он.— Разумеется, он стоит денег, так как Учителю надо поддерживать свое скромное существование, а для нас, его учеников, распространение Учения стало основным, единственным занятием, требующим хотя бы символической компенсации. Но разве сопоставимы ежесекундные страдания человека, существование которого превратилось в сплошную муку, с суммой его среднемесячного заработка, тем более что гонорар можно обсуждать в зависимости от вашего достатка (Учитель обычно идет навстречу малообеспеченным)? Вносить деньги надо всего один раз, а общая сумма, которую вы истратите на лекарства, все равно окажется гораздо больше.

— К примеру, сколько? — спросил кряжистый, угрюмый, головастый мужик, похожий на куркуля, которого вообще неизвестно каким ветром сюда занесло.

— Сумму я сообщу вам в конце лекции, после того, как продемонстрирую эффективность нашего метода на одном желающем. Бесплатно. Так что, есть желающие?

Он углубился в свои записи, видимо, освежая в памяти последовательность операций, а слушатели тем временем сникли. Одно дело — наблюдать, как других подвергают точечному массажу, иглоукалыванию, мануальной хирургии,

как другие лежат на гвоздях, ходят по углям или битому стеклу, и совсем другое дело — пробовать все это на себе. Гораздо удобнее было бы просто загадать желание, чтобы оно исполнилось.

— Так что, будут желающие? — спросил лектор, глядя вниз, как будто больше всего на свете интересовался своими конспектами. — Или вам настолько дороги ваши несчастья, что вы боитесь с ними расстаться? Не хотите избавиться от страданий — бесплатно?

Это напоминало школьный урок, когда учитель для проформы предлагает кому-нибудь вызваться добровольно, каждый надеется на другого и все понимают, что либерализм кончается и сейчас полетят головы.

— Я хочу! — раздался женский голос из гущи слушателей, и все обернулись на него с недоумением и облегчением.

С травы поднялась нестарая женщина, прошла в середину кружка и уселась рядом с лектором. Ее внешность, как и возраст, была неопределенной, я бы сказал, расплывчатой. Лицо круглое, блином, и не лишнее милостивости, если бы не подавленное выражение хронического несчастья, тело нестарое, но рыхловатое, не знакомое с физическими упражнениями, на лице и плечах веснушки, волосы каштановые, богатые, собранные пучком. Общий колорит этой дамы был какой-то тускло-золотистый, а общее настроение тихое и пасмурное. Лектор оживился.

— Главное — не бойтесь,— обратился он не только к подопытной, но и ко всем зрителям.— Ничего страшного, никаких физических воздействий, никакого гипноза не будет. Я буду просто задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. Единственное условие: отвечать надо с полной откровенностью, даже если вопросы будут носить несколько... ммм... интимный характер. Вы не стесняйтесь?

— Нисколько.

Дело принимало все более интересный оборот: бесплатный телесериал на прекрасном, но однообразном лоне природы.

— А теперь — как вас зовут? Елена, постарайтесь-ка вспомнить о каком-нибудь неприятном эпизоде, который оказал сильное влияние на вашу жизнь.

— Мне и вспоминать не надо. Я больше года пытаюсь забыть об этом и не могу. Из-за него я чувствую постоянное отвращение к жизни,— без малейшего раздумья ответила Елена.

— Что это был за случай?

— Меня бросил муж, которого я очень любила... и до сих пор люблю.

— Прекрасно.— Лектор потер руки и осклабился, как садист-хирург перед вивисекцией.— Вы можете вспомнить какой-то один день, одно событие, которое привело к разрыву? Может, последний разговор или последнюю встречу с мужем, после которой стало очевидно, что примирение невозможно?

— Я очень хорошо помню этот разговор. Я хотела бы его забыть, но вспоминаю каждый день с февраля прошлого года, когда это произошло. Дело в том, что до этого у нас не было никаких размолвок и его уход был полной неожиданностью — как будто потолок обвалился. До самой последней минуты я ничего не подозревала.

— Вы помните то, что говорил вам в тот день ваш муж и что вы ему отвечали?

— Все до единого слова.

— И вы могли бы здесь, без стеснения, перед всеми повторить эти слова?

— Все, что угодно, лишь бы избавиться от этого наваждения. Это какой-то кошмар! Если вы сейчас скажете раздеться перед всеми, я разденусь, скажете встать на голову — встану, скажете прыгнуть с обрыва — прыгну.

Сидящая рядом со мною тонкогубая старуха скорбно покосилась на меня и ниже натянула на ноги маечку.

— Метод Учителя заключается в следующем,— продолжал лектор, поднимаясь и разминая ноги, онемевшие в неудобном сидячем положении: — При помощи специальной системы вопросов, разработанной Учителем на основе последних достижений психоанализа и тибетской медицины, мы определяем какое-то событие в жизни человека, которое перевернуло его жизненную мотивацию с позитивной, гармоничной, продуктивной — такой, какая дана каждому

человеку от рождения, — на пессимистическую, апатичную, суицидальную. Такой психологической травмой может быть, например, несправедливое наказание в школе или неудачное первое объяснение в любви. В моей жизни Учитель открыл случай почти сорокалетней давности, когда родители послали меня за молоком, а я проболтался на улице до вечера и потерял деньги. Оказывается, моя жизненная мотивация перевернулась с ног на голову в один миг, когда отец назвал меня вором и ударил по щеке. А остальные неудачи только наслаивались на этот фундамент.

Помните фразу из Библии: «В начале было слово»? Идея Учителя заключается в том, что человек кодируется на несчастье одной-единственной фразой, одним-единственным словом, которое сидит в подсознании, подобно ядовитой колбочке, и отравляет существование. В моем случае это было слово «вор».

Выявив такое ключевое слово, мы начинаем повторять его три, пять, тридцать раз. Это слово кажется нам самым неприятным, самым постыдным, что только можно вообразить, и поначалу нам очень трудно его произнести. Потом возникает какая-то злость, и мы начинаем выкрикивать его со сладострастным удовольствием. Наконец, как это всегда бывает при многократном повторении одного и того же, оно превращается в абсурдный набор звуков. В этот момент человек начинает дико хотеть: то, что казалось ему величайшей трагедией в жизни, становится глупой шуткой, скороговоркой типа «а роза упала на лапу Азора». Вы чувствуете величайшее облегчение. Вы исцелились.

— За один раз? — Елена взглянула на лектора исподлобья.

— Со мной Учитель провозился целых двадцать сеансов, поскольку ему пришлось перевернуть всю мою жизнь вплоть до шестилетнего возраста, — ответил лектор. — Но в принципе возможно исцеление и за десять, и за пять сеансов. В любом случае каждый сеанс приводит к частичной демотивации и приносит облегчение. Очень скоро вы это почувствуете.

— Скорей бы.

Елена сложила руки на коленях, прикрыла глаза и приняла такой покорный вид, о каком только мечтать может каждый гипнотизер, насильник и палач.

— Итак, когда это произошло? — приступил к своему опросу лектор.

— Это произошло двадцатого февраля прошлого года, приблизительно от пяти до шести часов вечера, после окончания рабочего дня. — Елена отвечала слабым, потусторонним голосом, словно доносящимся из прошедшего февраля.

— Где это произошло? — спросил лектор, пряча глаза.

— В моей квартире, на кухне. Я ждала его прихода с работы, готовила ужин и напевала. У меня было замечательное настроение, и я ничего такого не подозревала.

— Прекрасно! — Лектор хлопнул себя по коленям, как игрок, сделавший удачный ход. — Во что вы были одеты?

— Я была в голубом домашнем халате с желтенькими цветочками и темно-синем фартуке с белыми кружевами. На ногах кожаные тапочки с меховой опушкой. Волосы собраны пучком и прихвачены такой пластмассовой бабочкой на резинке. На плечах у меня был пуховый платок, подвязанный вот так, через руки, потому что дом у нас панельный и зимой его продувает насквозь.

— Что находилось справа от вас?

— Справа находились раковина и кран, из которого шла горячая вода. От этого запотело окно.

— Какого цвета?

— Раковина? Раковина была белая.

— А слева?

— Слева находилась газовая плита, тоже белого цвета, на ней жарились овощи, и раскаленный жир стрелял во все стороны и попал мне на щеку.

— Что было потом?

— Потом пришел Виталий, мой муж.

— Как он был одет?

— Сейчас скажу. Он был в сером толстом свитере с рельефным рисунком, который я ему связала, и черных драповых брюках, которые он носит в холодную погоду. И еще... Он был в ботинках! Да, он даже не разулся, войдя в квар-

тиру. Он вел себя как-то странно, необычно, хотя тогда я не понимала, в чем, собственно, странность.

— Вы ясно представляете себе эту картину?

— Я как будто нахожусь там в данный момент. Это какое-то наваждение.

— Тогда продолжайте рассказывать все по порядку, если можно, в настоящем времени.

— Хорошо. Я подхожу и пытаюсь его обнять. Неожиданно он отстраняется. Я спрашиваю: «В чем дело?» Он отвечает, что у него очень важное дело и ему надо со мной серьезно поговорить.

— Вы помните точно его слова?

— Да.

— Тогда произнесите их от его лица.

— Хорошо. «У меня к тебе очень важное дело. Мне надо с тобой серьезно поговорить».

— Что вы ему отвечаете?

— Какое дело?

— Его слова в точности.

— Недавно я встретил женщину, с которой встречался до тебя. Я понял, что люблю ее, любил ее всегда.

— Что вы чувствуете, когда произносите эти слова?

— Горе.

— Хорошо, попробуем повторить их. Повторите их подряд три раза.

— Я люблю ее, любил ее всегда,— сказала Елена, и лицо ее исказилось в улыбке неловкости, переходящей в муку.— Я люблю ее, любил ее всегда.

Зрелище становилось трудным, в то же время никто из зрителей не мог от него оторваться, надеясь на чудесное исцеление или любопытствуя, до какой крайности может дойти эта экзекция.

— Хорошо, пойдём дальше. Опустимся еще глубже, до самой ключевой фразы. Что вы сказали дальше?

— Я сказала: «А как же я?»

— Еще раз.

— А как же я?

— Что отвечает ваш муж? Говорите от его лица.

— При чем здесь ты?

— Ваши слова.

— Но я же люблю тебя.

— Что сказал ваш муж?

— А я не люблю тебя. Не любил никогда.

— Еще раз.

— Я не люблю тебя. Не любил никогда.

— Что вы чувствуете?

— Пустоту.

— Еще раз. Что вы чувствуете?

— Горе.

— Повторяйте, повторяйте! Что вы чувствуете?

— Ненависть.

— Еще раз.

— Ненависть!

— Еще раз.

— Ненависть!

Теперь лектор в своих засаленных коротеньких «техасах», офицерской рубашке навывпуск и кепчонке с задраннным козырьком уже не казался задрипаным плюгавым чудаком из тех, что пытаются из-под полы всучить тебе какую-нибудь дрянь. Теперь он напоминал злого следователя, проводящего допрос с пристрастием. Елена повторяла эти слова: «Я не люблю тебя. Не любил тебя никогда», — снова и снова, пять, десять, двадцать раз. Казалось, что эта попытка продолжается минут сорок, а может, десять или полтора часа. Как на операционном столе, время здесь совершенно утратило значение. И никто из зрителей, этих сердобольных, жалостливых людей, готовых грудью встать на защиту обиженной собачки, кошечки, птички, деревца, даже и не думал возражать.

— Я не люблю тебя. Не любил тебя никогда.— Елена пробовала рассмеяться, чтобы эти ужасные слова, как обещал лектор, поскорее обесценились, лишились своей мучительной силы, но с каждым разом они, наоборот, жалили все сильнее. Елена уже хотела в голос — ха! ха! ха! — и слезы ручьями текли по ее веснушчатым щекам на дряблую шею и грудь.

Наконец раздались гулкие удары поварешкой по алюминиевой миске, призывающие народ обедать, и кошмар закончился, по крайней мере для меня. Уходя к своей палатке, я слышал за своей спиной: «Я не люблю тебя. Не любил никогда». Эти слова не только не лишились смысла, но обрели новый, самостоятельный, который уже не относился ни к Елене, ни к ее неврозу, порожденному изменником-мужем, ни вообще к кому-нибудь в частности. Слова летели по воздуху сами собой, как нечистая сила, и вопили в уши всему живущему, всему томящемуся, всему прозябающему без ответа: «Ты любишь меня? А я тебя не люблю. Плевать я на тебя хотел». И не было из этого злосчастия иного исхода, как опередить жизнь, крикнув ей первым: «Это я тебя не люблю. Я не хочу больше жить и страдать!»

Той же ночью любители голого тела устроили праздник наподобие того, что показан в фильме «Андрей Рублев», — праздник Ивана Купалы. Посреди центральной поляны собралась толпа голых мужчин и женщин, украшенных венками. Они разожгли огромный костер, водили хоровод, а затем устроили игрища: прыжки через костер, поиск «цветка папоротника», то есть заранее спрятанных в траве предметов, и, наконец, особые, «языческие», догонялки, где мужчина в танце выбирает женщину, а затем пытается ее догнать, после чего она становится его возлюбленной, или «суженой», то ли на всю жизнь, то ли на час.

«Язычники» приглашали принять участие в празднике всех желающих, независимо от убеждений, при одном условии: надо не просто наблюдать, а самому (или самой) скинуть трусы и во всем участвовать.

Вечер был прохладный, меня знобило даже в свитере перед костром, а перспектива растелешиться вот так, за здорово живешь, трезвым, вызывала нечто противоположное возбуждению. Особенно противным казалось бегать босиком по сырым колючим кочкам и елозить телесами по голой холодной земле, если кого-нибудь поймаешь в кустах (или будешь пойман).

По-настоящему совокуплялись игроки или совершали какой-то мистический, символический обряд, я так и не понял. Во всяком случае, рано утром вся колония натурастов плюс немногочисленные робкие неопиты высыпали на ручей. А на краю обрыва, под которым плескались, брызгались и хохотали голые белые мужчины и женщины, сидели мужчина с сигаретой и женщина в брезентовой куртке, накинутой на плечи, в которой я узнал вчерашнюю подопытную. То, что спутник Елены на слете решил публично закурить, осквернив благоухание природы ядовитой табачной вонью, было скандалом, равнозначным разве что появлению на службе пьяного священника. Мужчина нервно оглянулся, и мне показалось, что, если бы меня не оказалось за его спиной, он тут же столкнул бы Елену с обрыва. Его ссутуленные плечи, его зевки и озирание, казалось, говорили, кричали: «Зачем? Зачем я вчера поддался легкому соблазну и пригласил эту некрасивую зануду к себе в палатку? Зачем я провел с нею эту убогую ночь? Теперь остаток моего отдыха будет испорчен ее попреками, объяснениями, преследованиями. И все за какое-то жалкое удовольствие».

Вид Елены был олицетворенным упреком, олицетворенной жалобой на несправедливость мира, который надругался над нею, а вместо исцеления приносит все новые страдания. А зубчатый темный лес на китовом горбе голуватого холма, и кочковатое желтеющее поле, и кроткое небо, мреющее в прозрачных воздушных струях, — все отвечало ей с улыбкой святого равнодушия: «Мы не любим тебя. Не полюбим никогда».

— Вчера вы говорили... — Зябкий речной ветерок донес до меня голос Елены, которому, несмотря на напряжение, она попыталась придать женственную негу.

— Что я вчера говорил? Что? — Мужчина подскокил как ужаленный и с придыханием отплюнул сигарету, которая полетела под откос подбитым светлячком. — Ты тоже вчера много чего говорила, — поправился он со сдавленным

шипением под удивленными взглядами гуманистов.— Ты говорила, что можешь прыгнуть с обрыва...

— Если понадобится...

— Так прыгни.

— Я боюсь.

— Так ОСТАВЬ МЕНЯ,— он опомнился и сбавил тон,— в покое.

Затем они отвернулись друг от друга и замолчали. Они молчали так долго, так глубоко, так скорбно, что — я уверен,— если бы мне удалось вернуться на этот берег через месяц, через год, через десятки лет, через несколько жизней, эти человекоподобные камни сидели бы здесь же, под немым небом, и им нечего было бы друг другу сказать.

Первое слово их было «люблю», второе — «ненавижу».

Маргарита ШАРАПОВА

ТРАМВАЙНЫЙ РАЗЪЕЗД

ДИЛОГИЯ

1. Захоронению не подлежит

Когда она на меня не смотрит, то есть когда записывает мои так называемые показания, именно тогда я-то на нее и смотрю. Нет, я и без этого на нее могу смотреть. Но, когда она на меня не смотрит, это другое мое на нее зрение. Тогда я про себя все отмечаю. Например, пронзительную золотинку в ее хной окрашенных волосах — это от тщедушного солнечного лучика, просачивающегося сквозь невымытое второе стекло — то, что с улицы. Плюс и решетка препятствует свету. Вернее, металлическая сетка, может быть, даже рабица. Ну да, есть такая сетка, которая называется «рабица». Однажды я наблюдала процесс ее плетения на одном крохотном заводике в селе Сухо-Безводное. Кстати, о названии — стоит село на берегу Волги. Еще там изготовляли гвозди. Куски проволоки плывут щетиной по конвейеру, а сверху по ним фиговина: херак-херак,— и получают шляпки у этих гвоздей — слегка в решеточку тоже шляпки. Грохот стоит над селом. День и ночь. До неба. А ночью там в небе очень хорошо видны спутники. Их много, и они чрезвычайно юркие. Светящиеся точки. Как поздние трамваи. Только шустрее. И грохот, грохот. Хоть на секунду зажать уши, но он пропитывается сквозь кости черепа в мозг, и... Я когда вижу теперь валяющийся гвоздик или гвоздище — не важно,— то подбираю его и внимательно рассматриваю шляпку. В решеточку она или иначе? Может быть, он оттуда, этот гвоздь... Смотрю, и грохот начинает проникать в мозг. Удручающее местечко — этот заводик. Почему? Да уж не дай Бог...

— Все-таки я не понимаю,— перебивает она тут мои в общем-то мысли. Тихо и устало. Я ей надоела, наверное. Интересно, она замужем ли? Мне ее глаза нравятся — фиалковые. Хотя как это — фиалковые?

— Чего не понимаете? — спохватываюсь. Даже учтиво, хотя непонятливость ее удивляет меня с самого первого дня. А здесь, кстати говоря, холодно. В этом кабинете. У меня руки между коленок запахнуты. Еще и не весна, а тут у них уже не топят. Или временная авария? Хотя, может, там, снаружи, уже и тепло. А здесь — стены толстые, старые, непрогрываемые. Здесь зимой теплее от батарей. Я потому и пальцы в колени втиснула, что руки зябнут.

Она внимательно всматривается в меня неизвестно почему кажущимися мне фиалковыми глазами. Изучает. Как бы. А я отворачиваюсь в эту рабицу. Первое-то стекло чистое, не то чтобы очень, но по сравнению с тем, что с уличной стороны, очень чистое. Кристальной чистоты, как совесть. Ну, вот опять! Кристальная чистота! Что за этим стоит? Какова она, эта чистота? Вечно я не те слова использую. То фиалковые, видишь ли, то, пожалуйста, кристальная... еще и совесть здесь откуда-то взялась. Пошлость!

— У вас,— говорит опять же тихо и устало,— лицо хорошее ведь... детское даже. Господи, как же вы так жить можете?

Не люблю я, когда вот это все про лицо, про детство начинается, а особенно про жизнь. И еще с ядовитым ударением на слове «так». Не люблю, терпеть не могу просто.

— У вас и глаза хорошие,— продолжает она и вдруг улыбается. Я это чувствую, что улыбается, хотя и в рабицу смотрю. По голосу ее. И чувствую, что не насмешливо, а по-доброму. Это очень ощутимо всегда. Лучик солнечный, между прочим, исчез. Любопытно: осталась ли та золотинка в ее волосах? Осторожно гляжу. Нет. И снова в рабицу отворачиваюсь.

— Вы мне тоже нравитесь,— бурчу ей и тут же, врасплох, смотрю, чтобы успеть застать на ее лице то первое выражение, еще не успевшее переоблачиться. И расплываюсь от удовольствия. Она смущена. Да, смутилась. Чисто женщина! А то корчит из себя Пуаро. Покраснела даже, но чуть-чуть. Этого достаточно, впрочем. Для чего достаточно? Так просто, ни для чего. Смутилась и тут же уперлась глазами в бумаги на столе, губу куснула нижней и вздохнула почему-то горько. С болью посмотрела на меня. Не поднимая головы, а так прямо, из-под бровей. Я растерялась. Не могла понять, что чувствует она. А сама все улыбаюсь ей, забыв снять улыбку.

— Вы что, издеваетесь? — произносит она. По-прежнему тихо и устало.

— Чего? Почему? Правда. Вы красивая женщина... в принципе,— почесываю я коленку и тут же обратно ладошки между ног. Зябко.

Она качнула досадливо головой.

— Да я не об этом...

И опять нижнюю губку покусывает. Чего-то терзает ее душу, видимо. За сигаретой потянулась. Выколупнула. Потом спичку зажечь не могла. Я сделала движение помочь. Но она гневно, нет, даже зло расширила на меня глаза и тут же сузила. Я пожалала плечами — и опять ладони в коленки. Прикурила она. Затянулась глубоко. Выдохнула резко вверх — и локтями на стол, ко мне придвинулась.

— Давайте по порядку. Еще раз все уточним. Я запуталась. Начинайте с начала.

— Это с чего?

— Я не знаю. Где у вас начало? Вам виднее.

— Да? А, ну да... То есть это, значит, со Склифосовского? Или с того, который на ВДНХ?

Она оторопела. Тычет, не глядя, сигаретой в пепельницу. И за ручку хватается, писать изготвилась.

— Как? Еще и на ВДНХ? Это что еще за... там-то что?

— Нет, ну, я не знаю. Может, вам это и не надо. Может, вас это и не заинтересует. Я не знаю. Может...

— Говорите.

— Ну, там какой-то учебный институт. Биологический, что ли. Я в восьмом классе когда была, нас учительница по биологии туда водила как-то раз. Я в кружке занималась, ну, факультатив у нас был после уроков. Любила я биологию. Правда-правда. Куклам операции делала, смертных случаев не было. Как же ее звали, учительницу-то?

— Мне это не надо. Конкретнее.

— Ну и вот. Она нас туда привезла. Где-то возле ВДНХ этот институт. Младенцы заспиртованы всякие в банках. Потом еще руки, ноги, но уже от взрослых... без кожи уже, без кожи то есть. Вот. Отдельно руки от ног, причем правые отдельно от левых. Ноги в ваннах отмокают в растворе каком-то, руки тоже в ваннах. Одну руку нам студент крючком выловил, говорит, женская, наверное, потому что пальчики тонкие, изящные. Вот. А мозги в кастрюлях — обыкновенных, эмалированных. Несколько кастрюль с мозгами. Я спросила, откуда эти, ну... люди здесь. Сказали, что некоторые из моргов, не востребованные долго, из морозильников которые, а другие сами себя загодя продали, еще до смерти, не будь дураками, подсуетились. Вот, значит. А потом мы лягушку препарировали. Рефлекс проверяли какой-то. Подтверждали. Он всем известен, этот рефлекс, но его всякий раз новичкам подтверждали. Мне плохо стало, когда выпотрошенная лягушка задергала лапками. Я сознание потеряла. Свалилась, как стояла. Стук своей головы помню до сих пор, ну, об пол... За-

чем ее только зарезали, эту лягушку, а? Зачем подтверждать то, что?.. Их там и до сих пор небось режут ежедневно. Может быть, даже в эту самую секунду режут!

— М-да...

— Извините, пожалуйста.

— Пожалуйста, продолжайте.

— А сколько времени?

— Вы спешите? — усмехается она и косится на часики: на запястье у нее браслетик позолоченный с малюсеньким циферблатиком. — Три часа пополудни.

— Спасибо. — Я ничуть не задета ее тоном, и это неожиданно бесит ее. Чересчур грубо бросает отрывистые фразы:

— Ладно, продолжим. Это в восьмом классе? Вам сколько лет было?

Мне все-таки обидно, и я бычусь:

— Ну, не знаю. Как положено. Вы можете установить. Если вам интересно.

Она смягчается.

— Ладно. Понятно. Дальше.

— Дальше? Про что?

— Про то же. Там ведь вы не могли еще себя продать? Нет? Несовершеннолетняя же.

— В этом институте? Тогда, конечно, нет. Естественно, позже и там.

— О Господи... Значит, и там отметилась.

Я отворачиваюсь в рабицу. Тыкнула! Хотя, с другой стороны, приятно. Нечто вроде близости.

— Ну, что вы все время отворачиваетесь? Не молчите, продолжайте!

Опять на «вы». И кричит. Истеричка. Как бы ее успокоить?

— Можно мне тоже покурить?

Подталкивает пачку. Беру сигарету. Спичку она сама чиркает. Бзик у нее на спичках. Прикуриваю.

— Хотя вам нельзя курить, — говорит вдруг заботливо. — У вас же гипоксия.

— А?

— Жалуются, что вы спать не можете в камере.

— А! Задыхаюсь, да. Но это по ночам только. Когда лежу долго. Не знаю почему. Затекают, что ль, бронхи. Меня в коридор на лавку выводят, к трубе батарейной цепляют за наручник. За правую руку. Неудобно. Я когда во сне на левый бок перекалдываюсь, рука, она, во-первых, как бы выворачивается в плече и цепенеет. В-четвертых, еще и лавка такая жесткая, синяки от нее. Хотите покажу? Не надо? Зато воздуха больше, чем в камере, но — не одно, так восемьдесят восьмое — продувает, сквозняком протягивает. Поясница хрустеть стала на поворотах. Вот я сейчас наклонюсь, а вы прислушайтесь.

— Прекратите паясничать! Ну как так это, а?! Я не понимаю! Взрослый, серьезный человек — и такие глупости!

Я молчу. Теперь надо молчать. И выслушивать смиренно. Пусть отнегодует. Если скажу чего... Чего я ни скажи сейчас — все мимо кассы будет! Утихла. Спокойно произносит:

— Адвокат-то у вас хоть есть?

— Зачем?

— Ясно. Назначим Петрова.

— Петрова? Зачем? Кто это?

— Не важно. Должен же кто-то вести вас.

— Куда? Зачем?

Она нажимает кнопку под столом. Входит милиционер. Идти, значит, надо.

— До свидания, — встаю я.

Она не глядя на меня, молчит и пишет что-то. Ну и ладно! А мы уходим.

В камере пятнадцать женщин. У меня лежак возле раковины. Кран капает беспрерывно, хотя я еще три дня назад в письменном виде жаловалась. И как-то издевательски капает. То: кап-кап-кап... а потом тишина. И ждешь уже:

ну! А он — молчок. И вдруг этак кокетливо: кап. И молчок. Опять. Конечно, напряжение уже внутреннее. Вот сейчас... сейчас... ага: кап-кап-кап! Надо туда, я думаю, к сидушке, шнурок привязать или хлястик какой, чтобы вода бесшумно стекла. Но ведь их же отняли: и шнурки, и чего бы то ни было! «Это звенья одной цепи... одной цепи! Чтобы тут капало, и там капает на допросах. Звенья одной цепи, сговор», — думаю я, лежа на спине и глядя в доски верхних нар. Хохлушка ко мне подсаживается. Яблоко грызет. Мне сует:

— Откусишь?

Я откусываю. Жую. Вкусное. Семиренко, наверное. Зеленое такое, сочное, с кислотой. Я сладкие не люблю. Ем, конечно, но такие вот лучше. Семиренко.

— Семиренко?

— Да, — кивает хохлушка. Торговка она. Тут у нее на рынке чего-то произошло. Драка, что ли, со смертельным исходом. Не знаю. Она рассказывала много раз, но я всегда засыпала еще в первой половине рассказа. И меня все достает: расскажи да расскажи про трупы. И вот сейчас заканючила: расскажи.

— Пусть тебе Клавдия Петровна расскажет, я ей рассказывала раньше.

Клавдия Петровна — наголо обскубанная бомжиха — всякий раз обмирает, когда я называю ее по имени-отчеству. Лицо у нее как застарелый синяк: одутловато-желтое. Голос шершавый — будто старую иголку заело на заигранной пластинке. А ведь врет она! И я ее перебиваю:

— Не так, не так, неправда. Вы, Клавдия Петровна, отсебятничаете. За убийство — это вы. А я за продажу трупов. Не мертвых, а других. Вернее, другого. Одного. Причем своего личного. Трупа.

— А, — шершавит она, — значит, я перепуталась. — И кашлять начинает. Долго и отвратительно. Отплевывает мокроту в слипшуюся тряпицу. Хохлушка выжидательно смотрит на меня, но понимает, что тщетно, тщетно. Вздыхает и привстает с лежка. Отходит. А я отворачиваюсь в стенку. Который день надпись непонятную глазами ощупываю: «Ночь. Тишина. Лишь Гаолян не спит. Спите, герои, память о вас Родина-мать хранит. Трам-пам-пам». Кто такой Гаолян? И почему трам-пам-пам?

Да. Непонятно. Непонятно, зачем мне надо было, елкин-палкин, по второму разу в Склиф соваться! Нет, но ведь я и забыла за столько лет, где и была уже. Записывать надо было изначально. Со Склифака, собственно, все и развернулось. С него, да. Оттуда. Увы, я бы сказала теперь. Теперь, когда явилась туда пару недель назад: так, мол, и так, хочу свое тело науке завещать. Или завести? Посвятить, короче. Стали оформлять. И уже деньги отсчитали. Сто тысяч. Мало, конечно, если глубоко вдуматься. Но если мыслить философски, то, по сути дела, ни за что. Даром. А посторонним деньгам в зубы не смотрят.

— Какой, кстати, сегодня курс доллара? — не оборачиваясь, произношу вяло. И терзаюсь: «Почему же этому Гаоляну не спится? Или это женщина? Трам-пам-пам...»

Общий разговор на миг прерывается, а потом опять возобновляется. Никто, конечно, не отвечает. Да и не нужен мне никакой курс доллара. Так это вдруг возникло в голове чего-то человеческого и сорвалось с языка невзначай. Нелепо и случайно. А тетка эта в Склифе, однако, дотошная попалась. В очках таких крупнокалиберных, с сильным увеличением линз, буравящих. Уже ведь и руку со штемпелем занесла, чтобы шлепнуть в паспорт на последнюю страничку обычное: «Захоронению не подлежит», — как вдруг ойкнула, и тут же охнула, и отпрынула, ко рту штемпелек притиснув, а потом заголосила визгливо чернильными губами:

— Да я тебя помню! Ты у нас была! Была!

И я приуныла. Черт... Конечно, была. То есть я сама в эту только секунду сообразила, что была, а до этого мне лишь немного все как бы знакомым казалось, брезжилось как бы. Но в то же время ведь так бывает, что что-то вдруг кажется уже знакомым, уже происходившим будто, а на самом деле это все очень просто медицинской объясняется, но я не помню, как именно. Вот и тут вроде что-то такое знакомое: этот грязноватый белый кафель стен, белый табурет вот этот вот, тоже грязноватый... да и шкафчики белые эти, железенькие со стеклянными сторонами и... Но, извиняюсь, а где не так? Где? В Ботки-

на не так или в институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева? Где? То-то же! Попробуй-ка не ошибись! Надо было, конечно, записывать, фиксировать. Надо. Да, но в ту пору я имела-то всего восемнадцать лет. Да-да. Восемнадцать. Разве в эти годы до фиксации? Там лишь бы побыстрее и... Вот.

А эта тетка паспорт мой цапает и визжит вглубь, там у них вторая дверь: — Иван Иваныч! Иван Иваныч! Посмотрите в архиве!

И фамилию мою зачитывает, и имя кричит, и отчество, и дату рождения... дату эту, день тот счастливый, наверное, для моих родителей, когда вылутился у них комочек живой, слегка перепачканный в крови утробы материнской, эту дату она и выкрикивает безжалостно. Курва. В ботах! Нет, тетка-то в тапочках была. Это я так, нервничаю. Ну и, разумеется, нашли. Я села на табурет, ногу на ногу закинула. Они как раз с Иван Иванычем в милицию звонили. Ну что ж, ждать, значит, надо. Я уже отдала себя в тот миг им. Начальникам. Отреклась от себя. Так легче. Просто надо было уже сидеть и ждать. Они придут и все решат за тебя. Они и пришли и увезли меня с собой. Плохо, что мне в «газике» дурно стало: развезло. В институте-то я настроилась и держалась отчетливо. А в «газике» развезло! И я пошла молотить, что, мол, и в Вишневого себя продала, и в Первую градскую, и... короче, очень веселилась, что вот, мол, хохма будет, когда наконец помру! Передерутся, наверное, эти заведения из-за моего шестидесятипятикилограммового тельца, при жизни никому особо не требуемого, разве что так, эпизодически. А ведь я себя еще и по мелочи торганула: куда почки, куда печенку, скелет тоже в пару-тройку институтов удалось сбавить. Следовательницу от этой мелочевки слегка подташнивало даже. Именно почему-то от мелочевки, когда дело коснулось почек вот этих всех, печени. Но она крепилась и мужественно выпрашивала, что и почем. Почем почки? Почем печень? Я ей примерно отвечала, потому что везде цены разные, в разных городах то есть. Я в свое время потому что много по стране ездила, вот. Труп, однако, везде по червонцу шел. Старыми. Ленинками. Десять рублей имеются в виду. Очень долго так было. Кстати, столько же платить приходилось за восстановление будто бы утерянного паспорта. Поэтому деньги у государства как бы займы брались. Но это все в советскую эпоху. Затем перестройка, демократия, и цены заплясали, заплясали. Даже, бывало, поторговаться было можно. И штамп иногда не ставили. Но тревожнее сделалось. Да. Гораздо тревожнее. Я следовательнонице рассказывала, как у меня даже психоз начался, мания преследования. Какой-то западной фирме, как ее, «Рапан», что ли, почки за валюту всучила, вышла от них, из их полуподвала на улице Вторая Раменки, и буквально через десяток шагов кирпич летит с крыши. Я случайно под него не попала, ибо передвигаюсь непредсказуемо. Иду-иду, а потом вдруг мысль: «А чего я туда иду? Чего мне там? Лучше, что ль, будет?» И так сразу грустно делается, что тут же и повернешь в противоположную совершенно сторону. Так и здесь — оба и развернулась. Резко. Ибо! Вот. А позади: стук! Оглядываюсь: силикатный кирпич. И даже не раскололся. Я в кирпичах тоже неплохо разбираюсь. Дока, можно сказать. Было дело. А дом, между прочим, из красного кирпича, старого, когда еще по-честному на глиняной основе пекли. Глина дышит. А эти вот керамические кирпичи сейчасные — одна только внешность, что красные, а по сути своей внутренней — говно собачье. А силикатный — он белый, на кремнеземной основе. Вот этот вот, что на асфальте валяется. Ба! Да я опять не о том! Кирпич-то здесь лишь функционально. Короче, далее. Я еще и не испугалась, а только слегка подумала: мол, странно. Дом из красного кирпича, а вывалился из него силикатный. Может, думаю, где сверху подновили кладку или мало ли... И вдруг снова — бац! Но не кирпич. Едва под машину не угодила! Да! Едва! Она, вернее, сама на меня поперла. Я по тротуару шла. А она-то! Она! Поперла! Со своей просторной проезжей части на мой убогий тротуарчик. Я как-то так с перепугу резво подскочила, что у нее, у машины, на капоте оказалась. И прямо за «дворники» схватилась. И водителю в его вытаращенные глазищи смотрю. Затормозил он, вылетел и заорал: «Дворники» сломала! Капот помяла!» Ну, я бежать. Мужик здоровый, злой. Это потом я уже доперла, что надо было мне шуметь-то, а не ему. Мне. И погромче. Ну да это пустое. Опять же и время тратить. Иду я дальше, уже по другой улице, и размышляю: «Странно». И тут вдруг впервые озаряюсь: «А не покушение ли это,

а?» И — бац!! Вернее, не бац, а выстрелы. Из автомата очередь. О!!! Это сейчас само собой, когда палат. После августа-91 и после октября-94, Чечни после... А тогда выстрелов не было еще особо, ну, в быту чтобы. Еще только в зачатке реформы были. Вот. Но я не растерялась. Шлеп плашмя сразу и затылок руками накрыла. Как учили в школе на уроке по гражданской обороне при защите от ядерной атаки. Сердце колотится об асфальт, и, чувствую, щеку саднит, ободрала. Но не шевелюсь. Долго. Потом вроде уже и сирены послышались. Голову приподняла. Мигалки и менты. Встала, отряхнулась и ушла. Никто на меня и внимания не обратил. И вот я иду, а мне уже страшно, по сторонам уже пристально смотрю. И как назло: прыск! Кошка откуда-то с воплем вышвырнулась и, едва с ног меня не сшибив, путь мне перечертила. Не то чтобы черная кошка, но черноватая все же. Она быстро так исчезла, что я и не разглядела колер толком. Конечно, я не свернула, но, когда в метро спустилась, как раз по динамикам разнеслось: «Граждане пассажиры, не подходите к краю платформы, это опасно для жизни». И я не подошла. Стою у стены, но все равно косяка вокруг даю. Хотя голову не поворачиваю. И воротник подняла, и шапку на глаза натянула, чтобы убийцы не узнали в лицо. Какая-то бабуля возле стояла, да вдруг поежилась и отошла подальше. И издалека с подозрением ко мне присматривается. Я ей кончик языка показала. Тут как раз состав примчался, толпа рванула в раздвинувшиеся на ходу двери и бабулю с собой засосала. А я схитрила. Вид сделала, что не собираюсь садиться, а потом — шась! Чтобы оторваться от преследователей. И парень какой-то как раз из-за колонны метнулся, но двери перед его носом хлопысть. И у меня отлегло. Но тут, как всегда, они, эти двери, чуть-чуть опять приоткрылись, и парень их заграбастал, развел и проник, втиснулся в вагон. И прямо ко мне, конечно, впритык. Вагон битком — отступать некуда. А он в черном плаще и черной шляпе. И глаза черные. И глядит в упор на меня. С одной стороны, потому что больше некуда, у него выбора нет, но, с другой стороны... Я аж вспотела. Лоб и то взмок. И вдруг чувствую, он в меня чем-то твердым тычет, в бок. Нож!!! Что же еще? И у меня ноги слабеть стали, подвертываться потихоньку. А тетка, рядом стоящая, зашипела: «Что вы на меня наваливаетесь, де-вуш-ш-ка!» А я даже ответить не могу. В глаза киллеру, как кролик удаву, паралитично смотрю и мысленно зываю: «Товарищи! Караул! На помощь! Господа!» Господи, Боже мой... Ну, тут, слава Аллаху, станция нагрянула. И нас толпа выкупила на платформу. Я гляжу на убийцу, а у него книга в твердом переплете под мышкой — она и давила в бок. Сволочь! А ведь как смотрел! Чего смотрел тогда так, спрашивается? С тех пор у меня мания и началась. Хожу, а сама думаю: вот сейчас хватить щипцами и печень вырвут! А что? Запросто. Руки вибрировать стали. Пальчики. Берешь сигарету, и если от притычки, то никак не прикуришь. А потом это все как-то само собой прошло. То ли страх исчах, то ли преследовать перестали. Даже вот ночью, допустим, в два часа идешь в общем-то пьяная — убивай, казалось бы, не хочу. Нет, ни в какую. Даже встретишь кого-то в темной арке или где еще, между гаражами, например... и этот кто-то еще тебя и остерегается, торопится куда-то поскорее. Иной раз ему кричишь: «Стой, стой, постой, мужик! Где это я?» — а его и след простыл. Народ у нас какой-то неотзывчивый стал, равнодушный. Ну, это все — да. А следовательница мне, значит, после этого внушать стала. Начала. Сперва я опять же не разобралась, что внушает, а только после, на другой день. А в тот раз она мне вдруг рассказывать взялась про какое-то убийство, и так подробно-подробно. Нет, сперва про мать спросила. Говорит:

— Мне трудно все это осознать. Не укладывается, признаюсь, в голове. А как же мать ваша? Вам не жалко матери?

Я:

— А чего я плохого делаю? Маме очень даже удобно. Ни забот, ни хлопот с похоронами. У нее средств нету. Пенсионерка. Отец — пьяница, не работает нигде, попрошайничает. Нет, маме это даже облегчение...

Тут она меня перебила и начала о преступлении. Про убийство. Жуткое совершенно. Я даже несколько раз произносила: «Ну надо же!» От души. Потому что очень зверское злодейство. Только мне неприятно и непонятно, зачем она это мне втюхивает. Спрашиваю:

— А адрес вы мне зачем этот называете? Этот Светлый проезд, зачем?
— У преступников есть обыкновение на место преступления возвращаться.

Я покраснела.

— Это не я. И Влада Листьева не я, честное слово.

— А при чем здесь Листьев?!
— Ничего я вам не подпишу, у меня писчий спазм... Мне однажды к ладо-

ни ручку пластырем клеили, и то не получилось... в сто восьмом отделении.

— Пластырем? — И вдруг: — У вас же детей нет?

— А что? Фактически нет. Разве что Алеша Куприянов, но это если он согласится.

— Пластырем... Это какой еще Алеша Куприянов?

— Третий.

— Третий? В каком смысле?

— Сынок.

— Позвольте! Да нет у вас сына!

— Это у вас в документах нет. Хотя я с вами согласна. Нет.

— Вы мне опять представление устраиваете?

— Понимаете, я его не помню, Алешу Куприянова. Не помню, как я его родила. Абсолютно. Разве это можно забыть? В том-то и дело. Первых же двух помню. Они настоящие были. Особенно первый. Хотя и прожил только две недели. Второй сразу мертвым родился. То есть уже там, внутри, умер. А третий... не помню. Но я лишена родительских прав каким-то образом. Значит, он существует, этот Алеша Куприянов.

— Чертовщина какая-то! Почему же он Куприянов? Когда ваша фамилия иная.

Короче, мы в тот день так и расстались, не договорив. А на следующее утро она явилась бледная и с огромными глазами. Очень печальными.

— Вы что, плакали? — спросила я.

Она указала кивком на стул. И:

— У вас сын в колонии.

— Проверили? — обрадовалась я.— Ну вот, а вы думали, я всегда вру! Алеша Куприянов, как же. А фамилия у него другая, по отцу.

— Вы не человек словно.

— Почему?

Молчит. Курить стала. Курит и смотрит на меня. Неуютно от взгляда ее. Вдруг плюет на сигарету и в пепельницу кидает.

— Вот что!

— Да! — подтягиваюсь я мигом.

— Вы про этот, вчерашний, разговор забудьте.

— Про который?

— Прекрасно.

— Это про Светлый проезд?

Она зубами скрипнула и вдруг ладонью по столу как шлепнет. Я аж вздрогнула. Цедит:

— Забудьте! И про проезд, и про пластырь.

— Есть. Обязательно. Вы не беспокойтесь. Я с удовольствием. Так точно.

— Молчать! — И тут же тихо и устало: — Вы с ним встречаетесь?

Я даже и не знаю, о чем она. Боюсь невпопад сказать. Но, думаю, наверное, про Алешу Куприянова, и осторожно так:

— Он под Можайском... в детской колонии... Ему тринадцать лет... нет, постарше, или... тринадцать. Это можно подсчитать. Вот. Мне не дают с ним встречаться. Только на Новый год разрешили передачу. А я и не знаю, чего им надо, детям... Посоветовали эти тетки, из колонии,— по телефону все переговоры-то шли,— что лучше всего носки шерстяные, потому что они там, пацаны, в резиновых сапогах ходят зимой. Побежала я к метро — и, как назло, ни одной старушки с носками, а так ведь стоят всегда... На рынок поехала — и там нет! Бегаю, слезы текут... чего-то так паскудно на душе... Нашла наконец! Но... опять же не знаю, какая у него ножка, у Алеши-то Куприянова, какой размер брать. Купила какие-то, побольше решила взять... думаю, ничего, пятку на ик-

ру подтянет — все лучше, чем малы когда... Правда ведь? Привезла туда еще книгу Майн Рида «Всадник без головы» и жвачек. Передала. К нему самому не пустили. Сказали, что возраст ранимый и лучше не травмировать... а то у них там один мальчик повесился. Вот так вот.

— Вы не прикидывайтесь только. Я все знаю. И правильно вас материнства лишили. Вы же пили беспробудно. Он ведь у вас некормленный, невымытый сутками лежал. Младенец! Да вас!..

— Неправда. То есть... я не помню. Но я же лечилась. Я же вылечилась. Я же...

— Ладно. А отец что же?

— Отец? Чей? Его? Он цирковой. У него другая семья. Да он теперь уж в Америке давно живет. Мы не расписаны были, собственно.

Молчит. И через силу так:

— Завтра домой. Будете по повестке приходите. Естественно, до решения суда не выезжать никуда. Слава Богу, хоть не вы еще и на Светлом проезде отметились. Слава Богу, что вообще вы никого физически не уничтожили, впрочем...

«Впрочем!» — ожгло меня, и я возьми да и ляпни мстительно:

— Почему же никого?

Она застыла. А меня понесло:

— Пилкой для ногтей! Она, подруга моя, на боку спала... Она меня разлюбила! А я лежала, ей в эту сонную спину смотрела, смотрела, смотрела... Спит. Спит! А мне плохо! Это последняя наша ночь вместе! А завтра утром она бросит меня! Навсегда! И тут пилку схватила для ногтей и всаживать начала... как в грядку... часто-часто! Она меня обманула! Говорила, что любит! Любит!!! И вдруг — замуж!

Стоп. Замолчала я. Дышу загнанно. Следовательница — за кнопку и, как входит этот, говорит сипло:

— Уведите.

И вот я в тот раз дома не оказалась. А ведь врала! Не знаю зачем. Вдохновение какое-то нашло обратное. К психиатру меня повели. Фамилия у него Обезьянов. Клянусь. Я очень люблю выдумывать чудовищные фамилии, но здесь — факт. Обезьянов. И, несмотря на то, что он Обезьянов, Обезьянов признал меня нормальной. Только порекомендовал еще раз попробовать от алкоголизма пролечиться. И даже адрес дал какого-то своего знакомого врача Иванова.

Разумеется, история с пилкой не подтвердилась. И следовательница мне за фантазии потом очень сурово выговаривала. А сама-то, сама-то! Этот Светлый проезд первоначально пришить ведь хотела мне, а потом внезапно передумала. Из-за Алешы Куприянова, я думаю, пожалела. Да, из-за него. Алеша... За что же он-то, интересно, сидит?

Короче, однажды утром мне выдали шнурки от кроссовок, медяки всякие и так далее, что в карманах лежало. И пилку для ногтей, между прочим. Хотела я сразу к наркологу Иванову двинуть, но тут такой день — солнце сияет, снег уже немного скукожился, и воробьи у булочной, что напротив тюремного изолятора, так по-весеннему азартно дерутся, что я бутылочку пива взяла и так это от нее сразу здоровски опьянела. И в институт на радостях поперлась, где учусь. Да, я учусь. А что особенного? Учусь. Есть много необъяснимых вещей на свете. И вдруг на перекрестке, уже недалеко от института — бац! Юрка Чижов! Чиж! Чижуля! Чижик! Я его лет десять не видела. И на тебе! А мы ведь даже и расписаны были одно время. Недолго, но зато паспорт дважды законно поменяла. Окликнула его, поговорили. В театре он, оказывается, Пушкинском теперь. А был в цирке клоуном. Мои все возлюбленные были в основном клоунами. Натуральными. На спектакль меня пригласил. «Сон в летнюю ночь». И говорит, что на Светлом проезде живет. Это уже потом он сказал, по телефону. А я воскликнула: «Не может быть!» Чижик удивляется: «Я что, разве Париж упомянул?» «Нет,— говорю,— просто это такое совпадение... У меня тут суд как раз на днях: трупное дело». «А Светлый проезд-то тут при чем?» — не понимает. «Ни при чем»,— вздыхаю я. «Короче,— говорит он,— приезжай и все

расскажешь!» Я и поехала, стало быть. Поведала: так, мол, и так. А он: «Как это тебе все в голову-то взбрело?!» Да-а...

Невинно все в общем-то началось. Помню, меня как раз из циркового училища выгнали, а подружку мою — из Шуки. А у нее незадолго до этого мать умерла, и я с подружкой жила, потому что она одна боялась. Вот. Денег нет, есть нечего. И пошли мы в Склиф как-то. После всяких других перипетий. И это не моя идея была, нет! Хотя я в курсе, конечно, продажности мертвечины еще с восьмого класса. Сходили в Склиф. Удачно. И — о, как радовались тем деньгам! Которых на другой день уже и не было. А паспорта испоганены. И мы взялись вывести штампы. По неопытности лишь размазали их донельзя. В милиции же плакались, будто бутылочка минеральной воды в сумочке пролилась. Теперь вот судилище. Наверное, мне вынесут приговор, что я все-таки кому-то одному должна буду отдаться. В виде трупа. Допустим. А если я передумаю в последнюю предсмертную секунду? Мне и уже неохота. Как же быть? Может, надо зыывающие письма друзьям и каким-нибудь даже посторонним людям написать, чтобы не допустили в случае чего? Эта идея-то мне уже в больнице пришла в голову. Я после Светлого проезда в больницу попала. Нет, никто меня не бил. Переутомилась просто. Значит, так: «...не допусти, друг, пожалуйста. На тебя одного надежда. Кроме тебя, у меня никого никогда не было и не будет». И не будет... Уф! Так. Хорошо. И Алеше Куприянову написать нужно. Нет. Кто я ему? Господи, а вдруг я еще долго-долго буду жить и, не дай Бог, всех друзей переживу? И посторонних тоже? И некому меня будет спасти. А может, повезет, и опять чего великое случится, и уже другое государство здесь будет, очередное, которому я ничегошеньки не буду должна? А вдруг не случится? А может, взять да и вовсе уехать? Куда подальше! Например, в Канаду или Австралию. Неужели оттуда затребует институт Склифосовского мое окоченевшее тело? Или из ЮАР разве затребует? Интересно, а в Канаде покупают трупы? По идее, должны. А как же! И наверняка в валюте платят. Наверняка! А в чем же? Но сколько? Вдруг и на обратный билет не хватит? Но зачем же обратный билет, если здесь... так ведь и там! Куда же деваться?! Нет, но там-то я еще ничего такого, и не была даже. Даже и в Польше какой-нибудь не была или даже... Я чокнусь! А если мне сейчас, в смысле, на днях, срок дадут? Вдруг посадят? А там убьют? В метро, тыфу... не в метро, в зоне! Уже заговариваюсь. Вдруг я там сама по себе не выживу? У меня же гипоксия! Я задохнусь в душном бараке! Или на какой-нибудь заводикше гвоздильный поставят трудиться или кирпичный... Задохнусь! И меня точно отправят в этот приставучий институт Склифосовского, а там выпотрошат... мозги в кастрюлю эмалированную кинут... кожу сдерут... руки отрежут... отчленят ноги... распределят их в ванны, зальют дрянью какой-то, чтоб не протухли... А душа моя в это время будет незримо сверху находиться и переживать. Переживать! Да разве этому есть название? Смотреть на то, как тебя режут, кишки в таз вываливают, и прочее... А кровищи, кровищи-то сколько! Тут уже не переживания, а... Какой тут, к черту, спектакль! Какой тут «Сон в летнюю ночь»! Это он мне сейчас опять звонит, Чижик-то. Зовет в театр. Я только что из больницы вернулась... Тихо в комнате. Время будто остановилось здесь навсегда. Мебель та, что была еще в детстве и даже до моего рождения. Стоит себе и стоит. Вечная будто. Будто и смерти нет. А ведь Алеша Куприянов, наверное, выкинет ее. Не сразу, но выкинет. Она ему — ничто. Пустота. А может, запечатлелась в подсознании? Ведь он был здесь в первые дни жизни. Может, ему будет приятно здесь, хотя он и не будет понимать отчего? Да. Хорошо, что я приватизировала комнату и завещала ему. Пусть коммуналка, но зато жилплощадь. А то носки шерстяные! Только вот... Как же так, не помню я тебя, Алеша Куприянов?

Трамваи кружат за окном. Далеко внизу. Мой дом на острове трамваев. В больнице тоже были трамваи. Разъезд. Прямо под стеклами. И тут же будка стрелочниц... или кто они, эти тетушки в оранжевых безрукавках поверх телогреек? Крючьями прочищают желобки на рельсах, и, кажется, больше ничего. Стрелку переставляют сами вагоновожатые. Сутками я смотрела на этот трамвайный разъезд. Неотвязная мысль мучила. То ли — напишу ли я когда-нибудь поэму о трамваях? То ли — зачем я хочу писать поэму о трамваях? А действи-

тельно, зачем? И это вот — зачем? Вот это вот самое зачем пишу? Далась мне эти трамваи! Я сама — человек-трамвай. Так же появилась из утренней неясности, по каким-то рельсам кое-как проследовала... то несаясь и громыхая, то отанавливаясь и принимая в себя кого-то, то выпуская... то пошатываясь, то плавно, то едва-едва, то вскачь... И так будет до тех пор, пока не скроюсь опять в сумеречной неясности. Вот и вся жизнь. Жизнь, выходит, есть трамвай? Это смешно? Я не знаю.

Вот тут-то и раздался звонок. Телефонный. И тут же в дверь. Я сняла трубку. Чижик с ходу заверещал: «Куда ты подевалась?! Куда ты исчезла?!» И так далее.

— Погоди, Чижик,— я ему.— В дверь тут звонят.

Открываю. Пацан. Тощий. Отвратительно хмурый. Лобик и так узкий, а он его еще и морщит.

— Кого тебе, мальчик?

— Я... нет, извините.— И забухал по лестнице вниз через две-три ступеньки.

А лифта на этаже нет. Пешком, что ли, поднимался на восьмой этаж? Или лифт успели вызвать? Вернулась к телефону.

— Чижик, ты знаешь... кажется, ко мне сейчас Алеша Куприянов приходил.

— Кто это?

— ...

— Чего молчишь? Кто это?

— Знакомый. А ты-то чего звонишь? — А сама думаю, что, может, показалось мне. Просто какой-то мальчишка ошибся дверью, а я уже... Фантазии это все! И трамваи, и трупы, и Алеша Куприянов, и даже Гаолян.

— Чижик, кто такой Гаолян?

— Чего ты мне то про Алешу, то про армянина какого-то?

— Ночь. Тишина. Лишь Гаолян не спит. Спите, герои, память о вас Родина-мать хранит. Трам-пам-пам...

— А, ну так это песня такая! Гаолян — это город.

— В Армении?

— В Японии, нет, в Китае. Погибли там солдаты наши... во время войны, вероятно, второй мировой. Или первой.

— Чижик, я боюсь смерти.

— Как будто бы я не сдохну!

— Но я боюсь иначе.

— Приезжай, я тебе массаж сделаю, и все как рукой снимет!

— Я ваш Светлый проезд ненавижу!

— В театр! У нас сегодня «Сон в летнюю ночь».

— Знаю.— И трубку положила. Нет, я не пойду. Впрочем, почему? Трам-пам-пам...

И пошла. А после спектакля уже было к метро подступила, как вдруг обратно повернула. К служебному входу подхожу. Жду. А его нет и нет. Чижика. И Капрала тоже. С Капралом я в этот раз на Светлом проезде познакомилась. Не выдержала — на вахту обращаюсь. Бабка-вахтерша звонит им по местному и мне язвительно так:

— Пьяные. Сейчас Чижов спустится. Вы ему кто? Сестра?

— Посторонняя.

Чижик появился. Честь бабке отдает, а мне призывно рукой машет. С приставом. Бабка подскочила.

— В двенадцать чтобы никого не было! И гости, и тебя, Чижов, и Капралова!

— Да там допить осталось-то всего ничего,— Чижик ей.

Попетляли по коридорам. В комнатку полутемную вошли. Только одна лампа горит над гримировальным трюмо, да и та в стол уткнута. Капрал лежит калачиком на кушетке и курит. Глаза остекленелые. На меня не посмотрел даже. Чижик наливает водки в заляпанный гримом стакан. Больше половины. Подмигивает.

— Много,— морщусь я.

Отпил тут же.

— Нормально?

Беру. К губам подношу, но Чижик сбивает:

— У нас скоро премьера «Ревизора».

— Опять как «Сон в летнюю ночь»?

— Что значит опять?

— Шоу.

— С ума сошла? Это Шекспир был!

— В смысле не Бернард, а шоу — как зрелище.

— Не понравилось?

— Не Шекспир.

— Ты меня убила.

— Извини.— Выпиваю.

— Ты меня что, не любишь, что ли?

— Нет.

— Дура-то.

— Клоун.

— Согласен.— Наливает и выпивает. Снова наливает и пододвигает мне. Выпиваю. И еще выпиваем. И еще.

— Чижик, а давай ты убьешь меня, а? Помнишь, ты однажды стрелял мне в висок из стартового пистолета? Помнишь?

— Помню, помню.

— Давай, ты убьешь меня!

— Давай,— бурчит Капрал,— я тебя убью.— Сплевывает, но неудачно. Подбородок свой обслюнявил. Вздыхает протяжно и закрывает веки.

— Чижик, пожалуйста. Только труп никому не отдавай. Зарой меня тайно в землю. Где-нибудь, не важно! Лишь бы в землю. Целиком. Пожалуйста, похорони меня. Прошу, пожалуйста. Я не хочу мозги в кастрюлю, а сердце в банку... руки с ногами в ванны, левые отдельно от правых. Я не хочу, как лягушка с отрезанной головой, трепыхать лапками! Я не лягушка! Я... Я трамвай!

Дверь распахивается. Вахтерша:

— Допились! Трамвай она уже! По домам, по домам! Хватит! Пора! Капралов, вставай!

— Уходим, уходим.— Капрал садится, сапоги начинает напяливать.— Кинь-ка пальто, Чиж.— Мне вдруг улыбается.— Ну, как я играл-то, а? Ты узнала меня? Я Осла играл.

— Узнала. Потрясающе.

Чижик заматывает шею длиннющим драным шарфом. Кидает Капралу пальто прямо в лицо. И мне куртку швыряет.

— Одевайся, критикесса!

Выбрели на улицу. Большую Бронную. Холодина. Черное, ухающее ввысь небо. Звезды. И вдруг... да! Юркает, петляя между ними, светящаяся точка...

— О-о-о!!! — воплю я что есть мочи в верхотуру.— О-о-о!!!

— Ты чего? — изумляется Капрал. Трезвеет. В небо уставился.

— Чего там? — Чижик тоже глядит вверх.

— Ничего.— Я капюшон нахлобучиваю.

— О-о-о!!! — орут вдруг они. И изо всех пустынных подворотен несется эхом: «О-о-о...»

— Ничего,— повторяю я.— Ни-че-го.

2. Светлые сны

«Айм Джокер»,— бормочу я себе обычно под нос. Немного даже и подыкивая при этом. Когда по пьяни бестолковым щенком наталкиваюсь на прохожих. Куда-то не менее бессмысленно устремленных, ибо... да, а подразумеваю я при этой фразе, конечно, иное, то есть: «Айм сорри!» — что значит по-английски... Я-то в принципе овладеваю другим зарубежным языком, но об этом позже, вернее, если будет повод. Что значит, повторяю я ту, предыдущую как бы мысль,— «извините». Это по-английски. Удивительный язык. Казалось бы,

чушь какая-то это «айм сорри». Что это? Однако не тут-то было — что-то да означает. Конкретно это будет «извиняюсь». Или «простите меня» — вот так даже точнее гораздо. Но это все не важно. Весь предыдущий текст абсолютно не важен. Просто к слову он. То есть не к слову. К какому слову? Если и речи практически ни о чем и не было. Не к слову, а... надо же как-то начать! К тому же... А, да! Вспомнила. Про Джокера-то. Это я клоню к тому, что он клоун. Чижик-то. Имя у него, разумеется, совершенно другое, но его всегда звали Чижиком. Всегда, с тех пор, как я с ним познакомилась в волгоградском госцирке, где мы вместе были на гастролях. Вот. Далее. Нет! Предвидя, как некоторые дошнотные типы... Я знаю таких с десяток. И знаю, где они обычно собираются. И по каким дням, знаю. И даже точно в котором часу, знаю. Вот. А толку-то? Эти придиричivé личности и начнут насчет начала. И даже по поводу этой состыковки скажут ехидно: «Начнут насчет начала», — и осудят это невинное «начнут». Я их знаю. Да. Насчет начала начнут, мол, надо с ним по-чеховски, то бишь классически: выкинуть на фиг! А я... Я!

Я его сплету со вторым эпизодом. Итак, тогда. Короче, иду я, бормочу неразборчиво, мол: «Айм Джокер», — то есть извиняюсь, а некоторых даже и пытаюсь поцеловать при этом, особенно приглянувшихся внезапно. А те почему-то пугаются, немного ладонями так отпихиваются неинтеллигентно, гаденыши. Ну да ладно. Действительно. «Самое главное — любить Иисуса Христа», — сказал кто-то. Или я где-то это прочитала? Сейчас, сейчас... сейчас вспомню. В какой-то книжке. Про хиппи! Но об этом тоже, или также, или к тому же, в другой раз или в следующий. По ситуации. Ага!

Ага! Это надо с абзаца. Ага, значит. Ага! Вот она... Это я про рюмку. Где-то тут меня рюмка ждет. Вот она. Вот. Вот ты, моя девочка... Минуточку. Пару глотков. И еще один. Окончательный. Нет, это я, пожалуй, вычеркну — этот абзац. Или оставлю? Пусть будет. Мало ли. Или вычеркнуть? Потом решится само собой.

Значит, да. Ну, «Айм Джокер», все такое. И вдруг — бац! Он. Он? Он... Он, он! Точно, он! Стопроцентно. Чижик. Через десять лет незнакомства. Да, чудовищно. И ведь он был не просто очередным клоуном в моей жизни, которых... Вот. А этот являлся даже моим мужем, первым официальным. Ну, супругом. Загс то есть имеется в виду. Чего тут непонятного, идиот? Ты такой дурак, Саня, что я тебе впредь...

Я тебе впредь ничего не буду рассказывать, Александр. Запомни, впредь! Вот так. Да... И это произошло все, конечно, нелепо и случайно.

Хотя, может, так и должно быть. Почему надо именно лепо? Почему? И слова-то такого нет. Было, говорят языковеды, но за абсурдностью самоустранилось. И я ему говорю, Чижик. Встретив через десять лет. Нелепо и случайно. Мол, после послезавтра, то есть где-то через неделю, у меня суд. По одному пустяковому делу насчет несуществующих трупов. Моих. Личных. Не единственно возможного, а черт знает скольких! То есть очень большого количества. Это, наверное, смешно. Или нет. Я не разбираюсь, откровенно говоря. Э-э, нет, разбираюсь, конечно, разбираюсь. Но... Я не хочу сейчас об этом. Потому что почему-то мне страшно. А почему мне страшно? Ладно... Да! А встретились мы у коммерческих ларьков на дурацком этом перекрестке: Сытинского и Большой Бронной... или Малой? Я их постоянно путаю. Та, которая короче, она Большая почему-то, а длиннющая — соответственно Малая. Там, где дом восемнадцать — пробирный надзор пресловутый... вечно его ищут во дворе Литинститута... это Малая Бронная. Значит, где Сытинский — это Большая. Тут мы и встретились. Проще говоря, напротив Некрасовской библиотеки, публичной.

— Это ты?! — своим лилипутским голоском прокричал он, задиристым скворчонком снизу вверх на меня прищурившись: полукарлик-полумальчик со рока пяти лет. — Ты это?! Что ли?!

А я улыбаюсь и думаю: «Занять у него на пиво бы». Это после десятка годов разлуки. Но не заняла. Зря, конечно. Он, между прочим, бутылку водки купил как раз. С перепоем ибо. Перегаром очень несло от него. А я вид делаю, что трезва. Поэтому и не заняла на пиво. Психологи сказали бы: ложный стыд. Наплевать! Поздно уже поскольку раскаиваться.

— А я теперь тут, в театре Пушкинском,— он мне.

— А я впритык, в Литературном институте,— хвастаюсь. Потому что он никогда не верил, что поступлю, а может, верил. Впрочем, мы на эту тему ни разу не разговаривали. С чего бы, собственно?

—...— Это он матом восторги — и по поводу того, что в Литинституте и что впритык.

—...— Это уже моя реплика, но тоже не стоит дословно-то.

—...— Он.

—...— Я.

—...— Он.

—...— Я.

Короче, поговорили. Телефон мой взял. Новый. Я оттуда-то переехала, где раньше жила. Мне свой дал. Номер. Живет у Фанни какой-то. Где-то в районе метро «Сокол». Говорит, что Фанни из иллюзии Леопарди, из кордебалета — в прошлом. Ты, говорит, ее знаешь. Знаешь! Я и саму Леопардиху смутно помню, не то что кордебалет. Девочки-девочки-девочки — красотки, но я их не запоминаю. То ли дело лошади! О, лошади! Бега, конюшни и так далее. Вот коняшек помню всех до единой. Так то индивидуальности! А кордебалетные девочки... Короче, Фанни так Фанни. «Конечно, помню!» — сказала. На спектакль позвал. «Сон в летнюю ночь». И число назвал. Я тут опомнилась.

— А чего это ты из цирка-то ушел? Я ладно, чмо, а ты-то — гений!

Засмутился. Приятно, что неожиданно похвалила, но тут же заголосил:

— Да пошли они все! Главк сраный. Я в него, этого долдона, из отдела этого, ну, как его, ну... а! В общем, пепельницей засветил! Надо усложнять трюки, говорит! Куда их усложнять-то?!

— Да. Да. Конечно,— стараюсь я казаться трезвой. Осмысленной чтобы. Вменяемо так брови суплю.— И что? Уволили?

Отмахнулся резко.

— А! Сам ушел. У меня здесь три спектакля в месяц, а там каждый вечер до полусмерти. И еще надо усложнять трюки!!! Падла, увернулся... аквариум из-за него расхерачил... в кабинете у него аквариум был...

— Да, да,— серьезно киваю я. Нет, но, ясное дело, чего бы он ни плел, а цирка-то жаль ему. Я-то уж знаю... Цирк-то — это ведь... Это ведь, эх! Эх! Цирк — это...

А он меня за рукав трясет.

— Ты чего? Не врубаешься, что ли? Я же говорю — это судьба, что мы тут встретились! Не зря! Не просто так!

А я думаю: «Опять начнется...» Он же шизанутый и из пистолета в меня стрелял. Правда, стартового. И из-за любви.

— А можно я еще кого-нибудь с собой возьму на спектакль?

— Да хоть пятнадцать человек! — Но обиделся.

После этого у меня небольшой провал, то есть не помню, как расстались. Но, видимо, распив его бутылку водки у фонтана, я пошла в институт, а он в театр. Видимо, так и было все, мирно. А потом... потом кануло куда-то еще несколько дней. И вот теперь ужасное состояние. Тяжко и физически, и нравственно. Не знаю, что тяжелее. В общем, как обычно после запоя. И людям до колошматенья бешеного сердца дико в глаза заглянуть: ведь неизвестно, что там происходило в те-то дни, до этого, светлого... Ведь даже и каждого прохожего боишься и кажется, все на тебя как-то так пристально и укоризненно очень смотрят. А уж те, кого знаешь! Пожар в мыслях: «Что?! Что там было?!» Иной раз обходится, но редко, а обычно столько узнаешь, что дивно... дивно! Не веришь. Но, с другой стороны, неужели этот седой, слегка грузноватый и всегда застенчиво улыбающийся предпенсионного возраста человек с потертой кожаной папкой под мышкой может так волшебным образом лгать? Наш то есть участковый-уполномоченный. Шапиро. Нет. Не Уолт же он Дисней. Я ему верю. А тем более обязана верить любимому, единственному и неповторимому ректору того учебного заведения, где я в общем-то... да. Хотя у ректора порой такой плутоватый взгляд, будто он сам только что потихоньку нашкодил или как минимум сей секунд собирается это сделать. Но приходится быть неперечливой, ибо... Ибо! А как иначе? Если он за семнадцать минут опоздания на лекции гро-

зится выпороть... Шутит, но боязно. И еще. Взять, например, дневник мой писательский, открыть на любой странице. Вот, допустим: «22 апреля». А там вибрирующим почерком запись: «Перед позавчера отмечали день рождения Гарольда Ллойда. Начали на Чёртовом колесе, потом Нескучный сад, скамейка. Потом ничего не помню. Сегодня весь день блюю. Надсадно. Уже нечем. Холодный, липкий пот. Трясет. Денег нет. Не на что отметить день рождения Чарли Чаплина». Или вот от 27 января: «Начали 15 — день рождения Грибоедова, 16 — провал. 17 — родился Чехов. Трехдневный провал. 21 — пили за Билли Оушена. И Рича Хэвинса. 22 — Сэм Кук родился. 23 — джазист Гарри Бартон. 24 — рок-музыкант Мейл Даймонд. 25 — Высоцкий! Плюс Татьянин день. 26 — провал. Сегодня 27. Весь день блюю. Надсадно. Уже нечем. Холодный, липкий пот. Трясет. Денег нет. Не на что отметить дни рождения Моцарта, Салтыкова-Щедрина и пинк-флойдовца Мейсона». Или вот. Впрочем, достаточно. Вообще к чему все это? К тому, что после этой встречи с Чижиком чернота навалилась. Накатило до одурения: быть беде, быть беде, быть! Еще и все прелести выздоровления после алкогольной интоксикации. Жить, естественно, постыло. Терзают все эти «лепо-нелепо». А тут театр какой-то! Шекспир. В принципе я могу и не ходить. Я еще могу взять и не пойти вовсе. «Сон в летнюю ночь». Мало ли, что согласилась, ну и что? Не ходить и все. Вот. А сама знаю, что пойду. Наверняка, хотя и так тут эти трупы чертовы! Суд-то. Я под судом за трупы. Да не за убийство! Мой труп. Как в классике — живой. Ходячий. Ну, это такое запутанное дело. Многолетнее. Такая усталость от него теперь. И тоска. Опустошенность. Почему я? Почему это со мной все?

...Может быть, сейчас я проснусь и окажусь в цветущем яблоневом саду, заросшем изумрудной и удивительно сияющей после недавнего дождя травой? Вдруг!

Нет. За окнами морось... серенькая, подленькая... и все черное, набрякшее, больное. Нет, ну почему больное? Нет, это просто я больна. Гнию потихоньку...

И тут звонок. Телефон. Я у подоконника в комнате и спиной к двери. Телефон в коридоре. У нас коммуналка. Не выхожу. Слышу: соседка, девяностолетняя кореянка, взяла трубку. И сразу же каркаяще окликнула меня. Не шевелюсь. Стучит в дверь — распахивает, ругается. Иду, беру трубку: «Ну, але». Чижик. Канючит заплетающееся, пьянь: «Приезжай, мне так плохо без тебя. Все эти годы. Приезжай...» Долго говорит, нудно. Перебиваю: «А выпить у тебя есть?» Вот зачем спросила?! Хотела же остановиться хотя бы на... не знаю! «Найдем!» — заливовал, что почти согласна встретиться. И опять канючит. Госкливо так... Выпить еще больше захотелось. «Куда?» — спрашиваю. Кричит истошно: «Светлый проезд!» И смеется вдруг. «Светлый?!» — пугаюсь я, потому что неприятную историю услышала, недавно приключившуюся там. Нельзя ехать! А сама как приговоренная записываю подробности адреса. Трубку кладу. Одеваюсь. Зомби, зомби... Программа! Меня кто-то, может, когда запрограммировал? Кто-то управляет мной? Почему я делаю не то, что хочу?

Ведь я не хочу сейчас туда ехать, а уже и куртку надела, и «молнию» застегиваю... не хочу, но захлопнула входную дверь и запираю на ключ. Щелк-щелк. Лифт вызываю. Не хочу! Сомнительно это — Светлый проезд! Это предупреждение. И такое лобовое. Очевидное. Господи. Светлый. Это ловушка.

Мама! Мама!

Я знаю, что делать. Надо пересесть на «Павелецкой» и поехать к маме. Нет, до нее далеко. И я не доеду. Восемь остановок метрополитеном. Мне очень плохо. Я не могу стоять. Упираюсь внавалку в стекло «не прислоняться», глаза закрываю. Сосет, сосет сердце. Душно. В метро и всегда-то плохо. Это мир мертвых. Живым здесь нельзя. А тем более жутко, когда немощ. Трупью. Сую под язык нитроглицерин. Я не доеду к маме. Я умру по дороге. Упаду на этот шатающийся вагонный пол. Вынесут на станции в дежурку. Опознают. А потом, да, а потом, нет, не похоронят. «Захоронению не подлежит», — так отмечено в документах. Нет! Не хочу. Я хочу, как все... Да, надо сменить имя, паспорт, страну... Я не поеду к маме. Светлый проезд ближе. Туда мне хватит сил.

Наконец метро «Сокол». И, уф, славно, свежий воздух и остановка трамвая. О, как я люблю трамвай! Я буду жить. Трамвай — это хорошо. Это обнадеживает.

Ехать всего пару остановок. Или три. Я когда-то здесь была, в этом районе. Однажды в детстве. С соседскими ребятами. Их мама лежала где-то здесь в больнице, мы ехали к ней тоже на трамвае. Трамвай был забавный для 70-х годов — послевоенный, как в кино. Радостно было ехать в нем, потому что у него такое оконное устройство, позволяющее поднимать рамы вверх и высовываться хоть по пояс наружу, что мы, естественно, и делали. И кривлялись еще при этом. Солнце. Блестели витрины. И в больнице было празднично. Мы, собственно, посетили лишь дворик. Там вовсю цвели яблони. Мама моих друзей, огромная, с распухшими ногами и руками, сидела на лавочке, и на нее осыпались бледно-розовые лепестки. Это мы трясли ветки. Вот. Лет двадцать назад это было. Уже двадцать раз цвели те яблони в том больничном саду... ну и что? А может, и не цвели. Может, их вырубил к чертовой матери давным-давно, и залили пространство бетоном, и открыли на нем платную автостоянку. Всякое могло быть за двадцать-то лет.

— Светлый проезд, — скучно объявляет вагоновожатая. Я вскакиваю и успеваю выпрыгнуть из вагона. Стою, осматриваюсь. Трамвай, погромохивая, скользит прочь. Грациозно, между прочим. Несмотря на свою неуклюжесть, трамвай очень грациозны. А местечко-то прискорбное. Поодаль от остановки железнодорожное полотно, а за ним редкие линялые хрущобы. Голые черные сучья деревьев на фоне стен, как трещины. Подтаявший снег кажется грязным. Кое-где обнажился после зимы слежавшийся пестрый мусор.

Я так себе все это и представляла. Бреду, а навстречу Чижик. Встречает! Руки растопырил и приплясывает посреди проезжей части. Машин-то нет и, видимо, особо не бывает.

— Ну, пойдём. — Обнимаю его как пацаненка, и мордашка его оказывается у меня под мышкой. Говорю осторожно: — У вас тут убийство, что ли, было?

— Когда?

— Не знаю. А ты не знаешь?

— Нет. А что?

— Сама не знаю.

Подъезд, разумеется, воняет кошачьей мочой. Крепко. Пешком на последний пятый этаж. Стены исписанные, исцарапанные. Горелые спички, впившиеся в побелку потолков. На лестничной клетке последнего этажа компания теток курит возле подоконника: пропитые до бульдожести ряшки, неопрятные байковые халаты. Екнуло: «Наши, что ли?!» Но Чижик молча проходит мимо, и ликование: «Не наши!» Но наши оказываются не лучше. Как только вступаем в прихожую, замечаю в комнате мельком несколько физиономий. В кресле, на краешке, какая-то послеоперационная женщина: бескровное, осунувшееся лицо, еще и без косметики. Покосилась на меня страдальчески, когда я раздевалась возле вешалки. Другая что-то делает у стола, что-то с мелкими предметами. Сама рослая, большерукая, большоголовая, на медведицу смахивающая. Еще и в овчинной безрукавке коричневого меха, вывернутого наружу, и здоровенных валенках. Как потом оказалось — это и была Фанни. А на тахте — три одинаковых парня. Не братья и вряд ли вообще родственники, но — по сути своей. Эти вовсе на меня не взглянули. И ни улыбки, ни реплики приветствия в мой адрес ни от кого. Чтобы оттянуть общение, сразу же в туалет направляюсь. Оттуда слышу, как накнулись на Чижика, что привел кого-то. Вдруг улавливаю словечко и сразу понимаю, что наркоманы они и колотятся как раз настроились. Конечно, зачем тут свидетели? Чижик, слышу, оправдывается: «Да она своя, цирковая, у Ольховикова работала, в «Русской тройке». Она и сама колется». Руки мыть иду в ванную, и Чижик является. Ластится. Отталкиваю.

— На фига позвал! Тут у вас наркота. Я завязала давно, сто лет.

— И пожалуйста. Кто неволит-то? Иди с Фанни поздоровайся.

— Оно ей надо? — Но иду.

В комнате человек десять, и все с напряженно-ожидательными лицами, как на вокзале. Только здесь в глазах блеск особый. И все взгляды устремлены на юнца, устанавливающего утюг между двух кирпичей. Втыкает вилку в розетку. Седой старик растворяет окно. Ясно, «винт» будут делать. От него вонь омерзительная. Дрожу внутренне. Передается общий предвкушающий настрой.

Нет, но я-то не буду. Ни за что не буду. Киваю Фанни. Она брезгливо осматривает меня, а может, у нее всегда такое выражение лица. Чижик влечет меня прочь: «Поздоровалась, и хватит. Покурим в кухне. Я хочу тебя». Запихивает в кухню. Лапает.

— Ну тебя! — Отстраняю его. — Выпивон-то где? Обещал!

— Нет пока. Кто-нибудь принесет скоро.

— Я колоться не буду.

— И не надо. Заладила.

— А ты будешь?

— Мне похмелье надо снять. Винт — лучшее средство.

— А я не буду.

— Идем в ванную. Я тебя хочу.

— А я выпить хочу.

Обиделся. Уходит в комнату. Я посидела угрюмо одна — и следом за ним. А там всю процесс вкалывания. Чижик распростерся уже уколотый с полотенцем на глазах. Послеоперационная женщина бросает мне нетерпеливо:

— Лампу не загораживай.

У них среди бела дня свет включен, чтобы виднее было, куда иглой тыкать. Послеоперационная как раз «мазала» седого. А тот крысится:

— Не попадешь опять... Не попала!

— Да заткнись ты, под руку, — беззлобно осаживает его она. И тут же седой лыбится блаженно: игла проткнула вену.

Я в уголке притулилась. Сажу в печали, наблюдаю. Вот и послеоперационной вводит юнец дозу. Она откидывается на спину, прикрыв шарфом лицо, и лежит некоторое время. Потом встает оживленная, бодро закуривает, шуткует. И сразу же в прихожую. «У Максимки коклюш, побегу. Ты, Фань, шубу-то эту норковую, которую Стас вчера принес, у метро не продавай. Чиж пусть в театре у себя кому покажет». Фанни безразлично кивает. Меня касается за плечо и произносит по-матерински тепло:

— Давай.

И я тут же, будто и не зарекалась, резво пересаживаюсь на диван и, задрвав рукав, ложусь. Жмурюсь, потому что с детства панически боюсь уколов, но подсматриваю. Только Фанни прорывает кожу иглой, дергаюсь, и прозрачность содержимого шприца кровавится. Кровь туда втянулась. Фанни невозмутимо тычет еще раз. Я уже терплю. Она по-доброму завидует:

— У тебя вены хорошие.

— Ага. — И я кидаю на лицо какую-то тряпицу. Погружаюсь во мрак. Мир исчезает. Красноватое что-то брезжит, и нежно стучит сердце. А поднявшись, по-хозяйски закуриваю, развалившись в кресле.

— Так ты, Фанни, у Анжелики Леопарди была в аттракционе?

Она рассеянно снимает со шкафа фотоальбом в малиновом бархате.

— Гляди.

Открываю: черно-белая карточка. Кордебалет. Ну да, леопардовый. Потому что пол ромбиками. Всякая иллюзия свой пол на манеж стелет, приспособленный под собственные трюки. У Леопарди был ромбиками с подсветкой внутренней. Припомнилось вдруг это, и фотография будто ожила. Как на мини-телеэкране, зашевелилось изображение. И не в черно-белом варианте, а в цветном. Будто я в дырочку занавеса смотрю на реально происходящее именно в эту минуту. Но события были из прошлого. Девочки-балеринки — тонкие тростинки... ха-ха, стишки! Девочки задирают ноги, Леопарди голубей из рукавов пускает, а Мишка — верный клоун... Да! Мишка! Я его и не вспоминала с восемьдесят третьего года, когда все это происходило в передвижном цирке на берегу ласкового моря. Программа у нас была, посвященная 70-летию СССР. Ни Мишеля, ни СССР.

— А Мишку-то вашего давно не видела? — интересуюсь. — Саяныча.

— Саяныча? — Фанни присаживается на подлокотник моего кресла. — А где тут Мишка?

— Тут? — Я гляжу на фото: серенькая карточка, и Мишки на ней нет. — Я просто вспомнила.

Фанни вздыхает.

— Восемь лет уж назад ушла я из системы-то цирковой. С тех пор ни разу ни на одной программе не была.

— А я в месяц по несколько раз хожу.— И тоже вздыхаю. Ходить — это не то же, чем быть там, внутри.

— Ты у Ольхи работала? — всматривается в меня Фанни.— Чего-то я тебя не помню.

— Не знаю. Я тебя тоже не помню.

Она перелистывает альбом и показывает портрет девушки.

— О! — одобряю я.— Кто это? — И с ужасом догадываюсь: — Ты?

— Я.

Молчу. Ужас-то от того, что на фотографии — ну, как сказать... Да пусть банально, но — фея! Прекрасная фея. А возле меня сидит рыхлая медведица.

— И вот я,— переворачивает медленно Фанни картонные страницы.— И вот. А это мы в сочинском цирке, а это в Грозном... Недавно по телевизору показывали развалины тамошнего цирка после бомбежки...

И я не выдерживаю, всхлипывать начинаю. Развалины... Все мы развалины. Цирк и война несовместимы, а мы-то почему?

— Чего ты плачешь? — произносит равнодушно Фанни, а Чижик подлетает: — У нее это бывает. Хорош! Вон водку Димон принес.

Публика поменялась. И сего нет, и троих одинаковых парней, и других всяких личностей. Вульгарно-изящный тип разливает по рюмкам водку. Бабочка на шее, а воротничок у рубашки застарело грязный, да и сама шея давно не мытая. Мизинчик отклячивает с длинным ногтем, а под ним черная каемка. Это Димон и есть. Я его знаю. Давно. Настройщик роялей. На Чижиковой крестной женат. Спрашиваю про нее, и выясняется, что она умерла, причем всего неделю назад. Долго говорим о ней с Димоном. Он рыдает. Потом оба рыдаем. И друг его нет. И уже опять другие люди. Но снова водка. И вновь приготoвление «винта». «Почему на утюге, а не на плите в кухне?» — интересуется меня. Оказывается, коммуналка. Я внимательно слежу за процессом, думая: «Пригодится для писательства», — но вскоре ловлю себя на мысли, что ничего не помню из увиденного. Чуть не села на кого-то. Это Чижик спит на кушетке. Плечусь и плюхаюсь на коленки какому-то ковбою. Да, у него роскошная ковбойская шляпа. Улыбается мне: «Ку-ку!» А я вдохновенно целую его в легкую небритость скул.

— Ты актер?

— Да! — И хохочет.

— А какой?

Заливается пуще прежнего.

— Пупкин!

Я молитвенно прижимаю ладони к груди.

— О, Пупкин!

Совершенно не соображая в тот миг, что он дурачится.

Вдруг ленивый голос Фанни:

— Государство в Азии.

Она на тахте лежит, и я кидаюсь к ней, брякаюсь рядом на живот.

— Кроссворд?

— Не ори.— Она дотрагивается карандашом до моего носа.

— Сколько букв? — шепчу я.

— Пять.

Чижик просыпается на своей кушетке, приподнимает голову; один глаз у него залипший. Зеваает.

— Эй, ты здесь еще?.. Идем в ванную. Я тебя хочу...— Встает, потягивается, ломаясь телом.— Ну идем, идем, идем...

— Сходи ты с ним,— говорит Фанни.

И я с неожиданной прытью вскакиваю и волоку не прочухавшегося еще со сна Чижика в ванную. Там кто-то стирает. Мы выдворяем этого человека и, наспех раздевшись, плюхаемся в полную замоченным бельем купель. «Государство в Азии,— свербит в голове.— Из пяти букв». Кто-то входит и начинает чистить зубы над умывальником. Смутно различаю — Фанни. Воплю:

— Ирак!

Выходя, она бурчит:

— Нет, Иран...

А потом пьем чай с тортом. Юнец, его Толиком зовут, успел уже куда-то смогаться и вернулся с шампанским, тортом и товарищем. Про торт они похвастались, что украли его прямо с витрины вместе с ценником. На коробке действительно прикреплен ценник. Мне товарищ этот Толиков кусок торта протягивает, а у самого все пальцы в наколках: воровские перстни. А на вид ему от силы лет двадцать. И от торта сразу тюремной пайкой хлеба запахло, чернушкой.

— Пойдем подышим,— говорю Чижику. Потому что вдруг чувствую, что мне плохо. Невмоготу. У меня всегда так: хорошо, хорошо — и вдруг сразу плохо.

Накурено в комнате, гвалт... А может, это в голове шум и гам? Нет, вон Толик бьется в истерике. Двое его держат за руки. Пытаются удержать. А он вырывается, кидается с кулаками на товарища своего: «Где мои для плавания очки?! Где? Я вчера взял в бассейне у американца! Сука ты, Стас, падла гнутая! Убью, отдай!» Стас же одной рукой прикрывается, а другой протягивает плавательные очки: «На, на, подавись, пожалел!» Но Толику уже не до очков. Разошелся. Руки ему заворачивают за спину, наручники надевают. И откуда у них браслетки? Впрочем, ничего удивительного. Толик падает и катается по полу. Разъяренный и беспомощный. Колотится всем телом, ногами размахивает, на губах кровавые слюни. Извернувшись, ловко протаскивает ноги между сцепленных рук. Подпрыгивает и прямо наручниками шарахает товарища своего по башке. Тот сгибается, продолжая уворачиваться всячески. Даже, кажется, плачет. Толика хватают, волокут в ванную. Оттуда крики. Чижик принимал участие в усмирении и возвращается всклокоченный, тяжело дыша.

— Идем на улицу,— говорю я.

— Козел.— Чижик прикуривает.— Как обычно, крыша поехала. Идем!

А на улице внезапно — ночь. Подморозило. Небо черное и высоко-высоко. Звезды дрожат глянцево, будто замороженные в студень. «Желе»,— думаю я, а губы сводит внутренним холодом. Руки коченеют, и в ноги цепенелость передается. Сажусь на корточки. «Все. Сейчас умру. Немного погодя». Бешеный перепляс сердца. Сейчас лопнет, если не утихнет. Утихни, утихни, хоть немного угомонись! Не надо... а то я не успею написать поэму о трамваях, и будет очень обидно. Нет, о трамваях-то поэму я задумала гораздо позже. Но это не важно. Утихни, утихни, умоляю! Чижик, стоящий надо мной, кажется необыкновенно огромным. Лилипутский Чижик. И от этого еще больший страх. А он:

— Чего, Алясочка, чего ты? Тебе плохо?

Аляска... Надо же. Вспомнил стародавнее прозвище мое. Давно забытая жизнь и Аляска — это оттуда. Как странно — Аляска. Я ли это — Аляска? Что еще за Аляска? Нет, нет, Аляска — это холодный полуостров где-то на противоположном континенте.

— Я умираю, Чижик.

— Чего ты... Как это?... А «Сон в летнюю ночь» у меня... Ты обещала прийти!

— Зимняя ночь, Чижик, явь.

— Ну, не пугай ты меня!

— «Скорую» надо.

— О! Хату засветим. Давай успокаивайся!

— А ты вызови, скажи, на улице нашли человека, постороннего.

— Ну сейчас! — Бросается в подъезд.

Я остаюсь одна посреди пустынной морозной улицы в золотистом круге света от фонарного столба. Лечь на асфальт. Нет. Тогда сдамся. Ладонями лишь упираюсь в шершавость асфальта. Ледяную. Глаза закрываются. Кто-то вздергивает за шкуру. Толик! Светлые слегка раскосые глаза. Злые.

— Стоять! — Больно туркает меня в плечо.— А ну идем выпьем!

Сам в одних джинсах, оголен по пояс. Тощий, все ребра наружу и вздымаются. Дышит от ярости с силой.

Хватает за руку и волочит рывком в подъезд. Размашисто несется вверх по лестнице. Я захлебываюсь, падаю. Волочит. Коленками бьюсь о ступеньки. Вбрасывает, как куль, в прихожую. Я на четвереньках. Хватаю воздух со свистом. Толик и Чижик втаскивают меня под мышки в комнату, на кушетку укладывают. Уже рукав завернут и чувствую металл в вене — игла.

— Сейчас будет хорошо.— Толик целует меня в губы.— Была бы ты по-младше, я бы тебя полюбил.

И вдруг вскакивает, начинает одеваться. Рубашку сперва, и заправляет ее в джинсы. Свитер. Куртку. Уходит, что ли, собрался?

— Ты куда? — Тоска расставания во мне.

Не откликается, как будто и не слышал вопроса. В прихожую метнулся.

— Я с тобой! — Вскокиваю.

Кулак высовывает.

— Нет! У меня дела!

— Ночью? Я без тебя боюсь... Опять плохо станет.

Усмехается в дверном проеме.

— Винт — это же психотроп. Как будешь думать, так и будет. Думай, что будет о'кей,— только так!

Дверь входную открывает. Рвусь за ним.

— Я с тобой!

Чижик удерживает за рукав.

— Не ходи.

— Отстань! — Стряхиваю его ладошку. Толик вдруг кидается на Чижика, грудью налетает, а потом меня за руку берет.

— Хочет — пусть идет. Что хочет, пусть то и делает!

Я совершенно счастлива. Сухая и крепкая ладонь Толика передает мне жизненную энергию.

— Я тоже с вами.— Чижик смурнеет.

И опять мы оказываемся на улице. Опять эти звезды, небо это студенистое, но ужаса гибели нет. Хорошо! Здоровски втягивать полные легкие стылого воздуха. Чистота, свежесть.

Толик нараспашку. Идет, словно пританцовывает в стиле рэп. Я едва поспеваю за ним. Одышка. Чижик, невнятно матюгаясь, бредет будто сам по себе чуть в сторонке.

Толик неожиданно размашистыми скачками устремляется в черноту. Слышу его бандитский голос:

— А ну стой!

Иду посмотреть, чего там такое. Кто-то жметесь от Толика к стене арки. Девушка. Дрожит вся. Дико смотрит на Толика. На меня. И взгляд ее дикий мне удивителен.

— Не убивайте, пожалуйста,— едва лепечет.

— Давай по-честному! — весело говорит Толик.— Я ухо проколоть хочу. У тебя серьги золотые, что ли? Одну снимай-ка! Другая твоя. Согласна? По-честному же!

Девушка непослушными пальцами вынимает серьгу из мочки, протягивает трепещуще. Толик берет ее, запикивает небрежно в карман, чмокает девушку.

— Ну, иди.

И сразу деловито шагает прочь. Я за ним. Позади, усиленные эхом арки, цокают каблучки улепетывающей барышни. А Толик уже успевает остановить автомобиль. О чем-то договаривается с водителем. Садится, оглянувшись на секунду.

— Домой идите! Надоели...

Дверцей хлопает, и машина уезжает. Мы с Чижиком как-то глупо стоим и смотрим, как скрывается она за поворотом.

— Ну что ж,— вздыхает Чижик,— идем обратно? Или еще погуляем?

Возвращаемся, конечно.

А в квартире дымно. Новые лица. Похожие на старые. Пьянка. Потеснив сидящих на кушетке, засыпаю впритык к стенке. И во сне даже пьянка. Какой-то потный стакан мне суют. С водкой. А я сама будто бы вся вспотела, и кажется, что, если выпью этот взопревший стакан, умру немедленно. А мне его к губам прижимают, заставляют насильно пить. Задыхаюсь. И просыпаюсь от страха смерти. Рот прижат к стене. От этого и сон такой. Переворачиваюсь. Мышцы все одеревенелые, и суставы ломит. Озноб начинается. Сажусь потихоньку. Блеклый рассвет за окном. Все спят — на удивление. На столе бутыл-

ка водки, ополовиненная. Наливаю, пью. Зашевелился парень, спящий в кресле. Приоткрывает глаза.

— Налей, подруга.

Подаю ему стакан. Выпивает как-то нехотя и прямо со стаканом в руке сыпает опять. Посапивает. Вынимаю из расслабленных пальцев стакан. Себе еще наливаю. Но тут Фанни поднимает с сальной подушки припухшее и почему-то с синяком под глазом лицо. Когда же ей фингала-то влудили и кто?

— И мне,— пересохше выдавливаю. Услужливо подаю. Пьет без эмоций, как воду. И вновь укладывается спать.

Скука. Метро работает ли уже, интересно? Трамвай-то, конечно, давно ходят. А где Чижик? Не видно. Где-нибудь здесь прикорнул. Лень, да и незачем мне его искать.

— Я ухожу,— произношу грустно. Тихо. Усмехаюсь. Вдруг кто-то отзывается: «А!» — или просто во сне произносит. И все. Тишина. Наливаю еще водки и залпом выпиваю. Обидно. А что обидно? За неприкаянность свою, что ли? Бессмысленность здесь и вообще? Уйдешь, и никто не заметит. Тут. Уйдешь, и мир не содрогнется. Там. Да? Да. Не содрогнется. Никто не заметит. Нет, заметят, но не более чем на неопределенный звук «А!», раздавшийся, может быть, и случайно во сне.

Водка кончилась. Надо уходить, а то опять кто-нибудь явится и эта мутань никогда не прекратится. И я иду. Шатаюсь до остановки трамвая. Неужели вырвалась? Еду до метро. А там кишмя кишит народ. Что за необыкновенное скопление людей такое? Слышу из разговоров, что воскресенье и какой-то религиозный праздник. Все устремлены в церковь. Лица-то, лица до чего неприлично светлые. Надо мне, может, тоже заглянуть в церковь? Конечно. Она возле метро прямо. Поток несет меня уже к воротам.

Знаю я церковку эту. В детстве с ребятами заскакивали. Вошли, притихли. Гнетуще показалось внутри. Давящая роскошь. Мрачная таинственность. Недоброе все. Переглянулись и тихонечко вышли. Рысью бросились прочь. С облегчением рассмеялись у метро. И теперь детский кошмар зашевелился. Стою, а жилки на висках пульсируют: «Бежать!» Священник бубнит молитву, и прихожане время от времени подхватывают. А я вижу вдруг: у молодой женщины кошелек из кармана пальто торчит. И рука моя правая, что в собственном пустом кармане, непроизвольно сжимается. Нет! Прячусь. А потом, развернувшись, расшибаю стоящих плотно. К выходу! Укоризненные взгляды... Вон! Вон! К метро бегу. У палаток коммерческих дух перевозжу.

А ведь я воровать хотела. Я?! Хотела. Что это я? Почему это мне в голову пришло? Еще и в церкви! Нет, этого не было. И тут же руку в окошко ларька сую и бутылку пива прихватываю. Ударом о подоконник срываю пробку и крупными глотками пью. Пустую бутылку вынимаю из рук елейно улыбающаяся старушка. Неподалеку мстительно косится на нее другая, соперничающая. Все, баста. В метро. Эскалатор. Душно. И жирафы, жирафы! Стаи жирафов, поднимающихся по противоположному эскалатору. Изумительно! А ног совсем не чувствую. Только до коленей, а дальше пустота. Но жирафы! Вот это да!

На постели лежу чистой. Белый потолок. Лимонные стены. Давление мне меряют. Понятно. Это больница. Значит, меня забрали каким-то образом в больницу. Я не помню абсолютно, где и когда. Но радуюсь, что существую.

— Ну как? — Ласковый взгляд юной докторши в кипельном халате.

— Меня когда выпишут?

Смеется.

— А кто вчера умирал и просил поскорее труп купить, а деньги какому-то мальчику в колонию перечислить?

— Я,— хмурюсь, но не помню этого.

Просто по почерку узнаю. Пугаюсь:

— И вы купили?

— Нет, мы не покупаем. А вот в институте Склифосовского, например...

— Это! А как у меня давление-то?

— Пониженное чуть-чуть. Денек-другой еще полежишь. Спи.

И, как по команде, я засыпаю. Тут же, кажется, пробуждаюсь. Но уже ночь. Капельница в вену пристроена. Осторожно извлекаю иглу. Привстаю. Голова кружится. В палате три койки. Две другие свободны. Окна без решеток!

Ура, это не больница имени Алексеева! Кащенко которая раньше была имени И, следовательно, у меня не белая горячка! Не белая, не белая, ля-ля-ля!

К окну подхожу. Трамвай ползет. Трамвай! Это хорошо. Трамвай — это обнадеживает. Что хоть за район? А может, я и не в Москве? Чего за номер-то у трамвая? Не могу различить. Оконное стекло мокрое. И каждая из брызг золотисто отражает светящийся во мраке трамвай. Время неизвестно. И не надо. Абсолютно пустой, но празднично освещенный изнутри трамвай плывет куда-то в крошечной мгле. Для чего он? Для кого? Просто, может, чтобы кто-то проснулся ночью, посмотрел в окно и понял, что жив еще. Кто-то такой же одинокий и пустой, хотя и озаренный внутренне. Для чего он? Этот не спящий в ночи?

Подоконник широкий, и я сажусь на него с ногами. Больше нет ни одного трамвая. Долго. Бесконечно долго. И сна нет. Но, кажется, заснула. Потому что первый грохот издалека застывает врасплох. Это первый трамвай! Улицы еще по-прежнему темны, и людей не существует, а он уже плавно заносит на поворот свое негибкое светящееся тело. Я хочу быть трамваем! И плыть, мерно и мирно покачиваясь, спокойно и очень нравственно... Что значит нравственно? Не знаю. Но почему-то очень хочется быть трамваем.

Где моя одежда? Я ищу ее и не нахожу. Значит, не могу теперь же уйти. Ложусь в чистую, пахнущую хлоркой постель. И вдруг входит моя следовательноница. По трупному делу.

— Здравствуйте,— немного удивлена я ее приходу вообще, а тем более такому раннему.

— Зачем вы вынули катетер? — говорит она. Тихо и устало. Берет меня заботливо за руку и хочет ввести обратно иглу от капельницы.— Не вынимайте ее больше, а то эвтаназия болезненно пройдет.

— Чего вы сказали — болезненно?

— Умерщвление. В институт Склифосовского срочно сердце донорское нужно. Для пересадки. Вы ведь продали себя туда посмертно дважды.

— Нет,— пытаюсь я выдернуть из ее пальцев свою руку, но мышцы свело уже и едва приоткрываются губы.— У меня же порок сердца, врожденный... стеноз легочной артерии. Я задыхаюсь... Мое сердце нельзя, оно бесполезное...

— Тише, тише,— успокаивает меня другой голос. Ласковый. Глаза открываю. Моя чистенькая докторша. Опять измеряет давление. Тревожно повожу зрачками: никакой следовательноницы. Ушла или приснилась?

— Меня сегодня выпишут?

— Полечилась бы,— искренне расстраивается докторша.— Мы могли бы провести комплексное обследование: и щитовидочку проверить, и печеночку, и почки, и сердечко...

— Не нужно сердечко... Да и печень с почками не нужно. Ничего не надо.

— Странная ты. К нам так трудно попасть. Тебе, можно сказать, повезло случайно. Всего-то три денька полежала.

— Три? Значит, сегодня вечером «Сон в летнюю ночь». Хотите на спектакль? Мой друг актер. Сегодня, а?

— О! Но я дежурю сутки, к сожалению.

— Можете в другой раз. Вы мне позвоните только.

— А можно?

— Запросто.— Я диктую ей какие-то семь цифр.— Только отпустите меня сегодня, пожалуйста.

Освободили.

Выйдя из здания, пристально оглядываю фасад. Вдруг замечаю табличку на углу дома: «Площадь Борьбы»,— и ухмыляюсь. Светлый проезд, площадь Борьбы... «Сон в летнюю ночь».

Нет, «Сон в летнюю ночь» — это с абзаца. Вечером-таки действительно иду в театр. Чижик не забыл оставить пропуск. Забираюсь на балкон. Не хочется, чтобы он увидел меня со сцены. Вдруг жаром обдаёт: в первом ряду все светлопроездовцы. И Фанни, и Толик с золотинкой в мочке уха, и седой, и послеоперационная, и Димон, и другие-другие-другие, только вот что-то Капрала не видно... Ба! Да он на сцене. В роли Осла. Ломаясь в притворных актерских судорогах, выпрастывает из-за пазухи атласные алые ленты — ерническая имитация крови. Мои почему-то разочарованные мысли: «Значит, он и в самом деле актер... а придурялся — Пупкин!» И еще мне кажется, что у меня темпе-

ратура. Лучше бы я осталась в больнице на площади Борьбы и смотрела по ночам на мерцающие в ночи безлюдные трамваи. Вдруг аплодисменты и дисгармоничное движение зрительского зала. Кто-то стоя хлопает, кто-то уже бежит в гардероб. Первый ряд торжественно скандирует ладонями, а Фанни подает Чижику букетик желтых чайных роз. «Стащили у цветочника небось в метро», — брезгливо думаю я. Чижик передает цветы Капралу, а тот, размахнувшись, кидает их просторным жестом вперед и высоко. В меня! Он видит меня. Букет ударяется о борт балкона и обрушивается в партер, а я отшатываюсь назад, потому что с броском этим оборачиваются и все светлопоездовцы. Пячусь. Сливаюсь с водоворотом зрительской толпы. Уже вырываюсь на улицу и глотаю морозный воздух, как соображаю, что куртка сдана в гардероб, и возвращаюсь. Никак не могу найти именно ту вешалку, где раздевалась, и бессмысленно шарахаюсь по вестибюлю. Наконец пристраиваюсь в нужную очередь и, кажется, бесконечно долго топчусь в ней до заветного барьера. Хватаю наконец свою одежду и, радуясь, что не встретила никого из светлопоездовцев, выскрываю из дверей. Вдруг кто-то хватает меня за рукав. Частое дыхание над ухом. Капрал! Еще в костюме, грим размазан по щекам.

— Боялся, что упущу тебя. Дождись меня, не убегай.

— Ага.

— У меня день рождения.

— Да? Поздравляю... Сколько? Сто, триста, миллиард стукнуло?

— Мне всегда восемнадцать. А вон и Фанни как раз. К ней поедем. Покурите пока.— И удирает. А Фанни уже рядом. И Толик. Приоткрытую пачку «Бонда» протягивает. Беру машинально, но не закуриваю. Почему-то вдруг фильм вспомнился на сюжет бродвейского мюзикла «Человек-слон». Как прекрасен был этот урод, как чисты и светлы были мгновения его беспросветной жизни, а что я? Нормальная внешне, с руками и ногами, но живу ли я? Так, передвигаюсь, а все, что делаю, направлено лишь на уничтожение плоти, души и разума. Закодированность на самоистребление. Господи, ну почему так? Почему? Ведь я еще помню себя белобрысой девочкой в куцем платьице, качающейся на качелях-цепях в детском городке Нескучного сада, радующейся тому, что могу сесть на все более высокие качели — расту. Скорее бы вырасти большой-пребольшой — то-то будет интересно! Мир огромен, интересен, и я все-все увижу, когда стану взрослой. Что ждет меня там, в невидимой дали? Кем я буду? Что я буду делать? Ясно одно — жизнь моя будет прекрасной! Светлой будет вся моя жизнь. Светлой, как эти теплые, солнечные деньки на качелях в детском городке Нескучного сада.

Отбрасываю сигарету, так и не зажженную. Поднимаю лицо к небу. Фонари слишком ярко светят, но все-таки за ними призрачно брежат звезды. Как в желе замороженные. Нет! Не поеду я праздновать день рождения. Не поеду. Иначе никогда не напишу поэму о трамваях. Ничего не напишу.

— Я сейчас, — натянуто улыбаюсь Фанни и иду прочь. Натыкаюсь на прохожих. Публику, спешащую из театра. И бормочу себе под нос: — Извините... извините...

Слава СЕРГЕЕВ

ПРЫЖОК

РАССКАЗ О НЕПОСТИЖИМЫХ СВОЙСТВАХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАТУРЫ. ЗАПИСЬ 1991 г.

С ижу я как-то дома, смотрю в окно. Настроение — не очень. Зима на дворе, скучно. Вдруг смотрю: идет девушка. Хорошенькая такая, полненькая (я люблю полненьких), в рыжей шубке. Прошла через двор и скрылась. «Охо-хо, — думаю. — Охохонюшки...» Включил радио «Свобода», послушал новости. Стало еще грустнее. Подумал: «Позвонил бы кто, что ли...» Но в такие дни разве кто позвонит?.. Вот когда вам весело, когда вам хорошо — тут звонят все кому не лень. А в минуты печали и одиночества — никто и никогда.

«Надо,— думаю,— в магазин выйти, все какое-то общество...» Собрался, пошел. Иду по двору, и вдруг она — в шубке которая. Ну, тут уж я отогнал меланхолию, подошел, познакомился. Здравствуйте, мол, наблюдал вас из окна. Произвели большое впечатление.

И, знаете, удивительно, она не прогнала меня. Наоборот, мы долго стояли и разговаривали, она даже, как мне показалось, обрадовалась тому, что я подошел. Все-таки сколько одиноких людей в декабре да еще в такую погоду.

Она оказалась техником из нашего ДЭЗа, и я был приятно удивлен доступностью человека столь таинственной для меня профессии... ДЭЗ — это ведь что-то заоблачное, это *начальство*, туда звонят, когда сломается замок или течет кран, и обещают деньги, и просят, просят... Чтобы удостовериться в своей так неожиданно возникшей причастности к этим высоким сферам, я даже пошел с ней проверять лифты в доме пять, что напротив нашей булочной, и даже посветил ей фонариком на каком-то захлавленном чердаке, где по поступившей в ДЭЗ информации поселились бомжи. И в который раз я подивился тогда, как сдала, как обетшала власть,— где же грозный всего несколько лет назад участковый, на бомжей ходит двадцатипятилетняя девушка в шубке...

Но я отвлекся.

Итак, мы познакомились, и я почти сразу понял: зеленый свет, потому что недавно, сказала она, ее оставил муж — ради подруги, представляете, какая сука, она сама же их и познакомила — ну, вы представляете?! — и теперь они с маленьким сыном живут у мамы в Кузьминках, а мама, как назло, тоже недавно вышла замуж (то есть, что она говорит, это хорошо, конечно), и вот они, значит, вчетвером, друг у друга на головах, она, сын, мама и мамин муж, который, как бывший моряк, ходит дома исключительно в тельняшках, живут в небольшой маминой квартире в Кузьминках...

— Далеко,— сказал я, не подозревая, как это *действительно далеко*...

И вот, продолжала она, почти не слушая меня, мама устроила ее к знакомой, в этот ДЭЗ на Кутузовском, в расчете на служебную жилплощадь и бесплатный детский сад-пятидневку для сына (мама-то тоже работает), и каждый день она ездит сюда из Кузьминок к девяти утра, и надо будет ездить еще неизвестно сколько, чтобы получить эту проклятую служебную жилплощадь.

А я, видите ли, пока не женат. И живу в настоящее время один...

В общем, встретились два одиночества.

На следующий день она зашла ко мне.

Ну что, посидели мы, выпили чаю. И, вы знаете, почему-то я не полез к ней. Не знаю даже почему. Воздержался. Погода, что ли, была такая — тяжелая. Декабрь все же... Или испугался ее жилищных проблем? Не знаю.

На следующий день она пришла опять. Видимо, думает: «Что такое?!» А я опять то же самое — сидим, пьем чай. На третий день она сама сказала, что я не привлекаю ее сексуально и что мы будем друзьями. И стала приходить почти каждый день. У них в ДЭЗе в час был обед, а я в это время как раз вставал — я же человек свободной профессии. И она приходила, мы пили утренний чай, разговаривали, потом она уходила. Пару раз я дружески приобнял ее. И все. Так прошло, кажется, дней десять.

Я даже привык. Дневная красавица...

Но через десять дней я подумал, что ежедневные свидания — это слишком. Стало как-то, знаете, не о чем говорить. О муже она мне рассказала раз пятнадцать, о проблемах с квартирой тоже, в постель мы не ложимся — что с ней делать? У меня же, хоть немного, еще и какая-то личная жизнь есть, творческие планы... Но как скажешь об этом травмированной супругом женщине?

Тяжело. Трудно. Даже жестоко в каком-то смысле. И я решил оставить как есть. Ну что я, Жан Поль Сартр, что ли, чтобы меня и побеспокоить уже было нельзя?..

Все продолжалось в том же духе еще неделю, но вот однажды утром мне позвонила моя тогдашняя любовь. Говорит: у нас заболел преподаватель, последней пары не будет, если хочешь, мы к тебе с подругой зайдем.

Конечно, хочу! Да еще с подругой!..

А сам еще сплю по своему обыкновению...

Договорились, что зайдут часа в два—полтретьего. Они в «Книжный мир» на бывшем Калининском собрались. Умные девочки...

Настроение у меня, несмотря на серость за окном, сразу улучшилось. И тут я вспоминаю: мама родная, а «красавица»-то моя, «друг»-то, как же, ведь сейчас зайдет!.. Ну ладно, думаю, она обычно все же звонит из своего ДЭЗа перед визитом, что там беспокоиться, скажу: не могу сегодня...

Пошел умыться, душ принимать. Телефон с собой взял: вдруг звонка не услышу...

А звонка все нет. Принял душ, кипячу чай, время полвторого. «Ну,— думаю,— как удачно, сегодня не зайдет. Аврал, наверное, в ДЭЗе... Трубу какую-нибудь прорвало». И только я это подумал, звонок в дверь. «Друг», весь запыхавшийся, радостный. «О,— говорит,— привет, я боялась тебя не застать. У нас собрание было, поэтому задержали... А ты что, собирался куда-то?»

И — непостижимость первая. Я сказал:

— Да нет...— И, стоя у двери, можно сказать, в пальто, говорю: — Да ты заходи. Я так, в магазин собрался. Потом схожу.

Почему и, главное, *зачем* я это сказал — не знаю. Само как-то высказалось... Это, вероятно, находится по ту сторону принципа добра, удовольствия и человеческого разумения...

Ладно, сидим, значит, пьем чай.

Я временами смотрю на часы — получается вроде бы ничего, расходятся. Только в магазин не успеваю сходить. «Ну,— думаю,— ничего, девочки придут, схожу». Даже разговариваем. Более того, на нервной почве я толкаю речь о... медитации.

— Надо оставить свое «я»,— вещаю я перед ошеломленным «другом»,— свои мысли, чувства и даже представления. Главное — представления,— делаю я упор (чем-то они мне особенно не полюбились),— и обратиться к глубинной сути, прислушаться к себе...

«Друг» очень удивлен.

— Что это с тобой? — говорит.— Ты какой-то разговорчивый сегодня. Еще расскажи про это.

— Ладно,— говорю,— собирайся, мне пора. Продолжение завтра.

«Друг» с усилием вернулся к суровой действительности. Начал собираться. Невыносимо медленно одевался. Потом застрял в ванной, перед зеркалом (у меня там единственное в квартире) шляпу примерял. Я привалился к стене, видимо, предощущая то, что должно было произойти.

И в этот момент в дверь позвонили...

Несмотря на предощущение, я аж подпрыгнул.

Раньше времени!..

«Друг» говорит: «Кто это?»

Если бы дело происходило на сцене, в этом месте можно было бы дать занавес. «В жизни» ничего не оставалось, кроме как лечь на пол, закрыть глаза и сделать вид, что я *не я*.

Но я избрал свой, третий путь.

— Это, — говорю, — студентки пришли, курсовые доделывать. Подрабатываю вот...

Опять непостижимость: зачем я так сказал?..

— Ну так и открой,— говорит «друг».

Тут я плету что-то невразумительное, и, пока плету, время идет. Как раз нужное для того, чтобы одеться. Как раз нужное для того, чтобы *окончательно* не поверить открывшему дверь, что он с румяной девушкой в небрежно накинутой на плечи шубке пил чай. Она, например, техник из ДЭЗа и зашла проверить краны...

Второй звонок.

Спектакль начался. Билетеры встали у входа. Дверь открывать нельзя.

Стоим в ванной. И тут «друг» начинает улыбаться. Понимающе... Или призывно-понимающе. И, что удивительно, я чувствую, как на дне моей души тоже начинает что-то шевелиться.

И я сказал «другу»:

— Ничего смешного!

Она говорит:

— И долго я буду так стоять? У меня перерыв кончается.

А должен вам сказать, что дом наш строили в начале 50-х пленные немцы. И они, видимо, чтоб отомстить (а может, так заказывали — первоначально дом планировался для каких-то советских чиновников чуть ли не из комендатуры Кремля), использовали строительный материал с поразительной звукопроницаемостью. То есть такой, что абсолютно все (или очень многое) слышно. При довольно толстых стенах. И я, стоя в ванной, слышу все, что происходит в подъезде. В том числе и звонкий голосок своей возлюбленной:

— Он, наверное, в магазин вышел. Сейчас придет, подождем.

Возникает вопрос: где подождем?

Совещаются.

Подруга предлагает: подождем на лестнице в подъезде, здесь теплее. Моя любовь не соглашается: пошли посмотрим его в магазине, может, поможем материально. (Умница моя, правильно...) Подруга же говорит: «Да ну. Ты же не знаешь, в каком он магазине...» (Вот ленивая тварь!..) После короткого совещания усаживаются на подоконнике на лестничной площадке. Закуривают. Тень моего спасения тает в воздухе.

А в тылу у меня тем временем нарастает тихий бунт. «Друг» говорит:

— Открой дверь, дурак, скажи, звонка не слышал. У нас же с тобой ничего нет — это видно сразу.

Я говорю:

— Это видно сразу, извини за рифму, опытному глазу... А тут чистые существа, студентки. Что они подумают? — И плету дальше: — Где будет мой авторитет? Потом я не подготовился к занятию... они же это... курсовой принесли.

Вот опять непостижимость: зачем я фантазировал перед «другом», ей-то зачем заливал?

Туман, сплошной туман... А «друг» реагирует адекватно — смотрит с сомнением и частично с надеждой: если я не открываю, значит?..

И вы знаете, это чудовищно, но именно тогда на дне моей души снова шевельнулась похоть. Вместе с ужасом. Во всяком случае, я отчетливо ее ощущаю... Как бурундучок или кто там — кузнечик?.. И, обессиленный этим многоцветием ощущений и желаний, я оседаю на край ванны. И на моем лице появляется слабая и странная улыбка.

Я бы назвал ее буддийской...

«Друг», наблюдая эту картину распада, как заголосит во весь голос:

— Ты как хочешь, а мне через пятнадцать минут максимум надо быть в ДЭЗе! Меня слесаря ждать будут!

А? Все-таки среди женщин никогда не ищите себе друзей. Это противоестественно, по определению... Вас обязательно предадут — и в самый не подходящий для этого момент.

Я говорю:

— Тише ты, не ори. Пошли чаю еще поьем. Только свет включать не будем... — На улице тем временем начинает темнеть — в декабре же самый короткий день. — Ты позвони на работу, скажи, что задерживаешься.

«Друг» говорит:

— Где я задерживаюсь, девки знают, что я к тебе пошла. Скажут — совсем обнаглела.

— Так... — говорю я. — Мы же...

— Да они не верят, — отвечает «друг».

— Ну ладно, — говорю, — сейчас студентки уйдут. Увидят, что меня нет, и уйдут.

— Они весь вечер будут тут сидеть, — с отчаянием сказал «друг». — Они молодые, сил, наверное, много, спешить им некуда.

И, странно, высказавшись так, «друг» вдруг стих. Видимо, смирился. Я даже удивился — мне показалось слишком быстро... А сам прислушиваюсь. Слов с лестничной площадки уже не слышно, но голоса доносятся. Думаю: «Что теперь скажет моя любовь? Что за штуки я вытворяю? Почему не открыл дверь? И что теперь прикажете делать?»

«Друг» тем временем говорит:

— Ладно, давай я позвоню на работу. Меня же там слесаря ждут, жильцы, наверное, телефон оборвали. Ты что, не знаешь, какие сейчас люди? Волки. У них утром лифт встал, так они в обед уже горло готовы перегрызть. Там есть одна бабуля на шестом этаже, так она каждые десять минут звонит. Ей в магазин выйти надо — сахару купить.

Бабушкой она меня, конечно, сразила. Это был точно рассчитанный ход. Я же интеллигентный человек, при упоминании бабушек и детушек испытываю экзистенциальное чувство вины.

И тут тоже забормотал:

— Сейчас, сейчас...

«Друг» говорит:

— Ладно, пошли, я позвоню на работу. — И пытается выйти из ванной.

А я, уже ничего не соображая, как заяц, шарахаюсь от каждого куста: у меня же телефон спаренный, если на кухне набирать, в комнате будет звякать. Вдруг на лестнице именно в этот момент будут проходить мимо двери и услышат?..

— Стой! — говорю и преграждаю ей выход. — Нельзя звонить... У меня телефон громко звякает.

Тут у «друга» начинается приступ смеха. На этот раз иронического. Или сардонического. Или истерического. Если это не одно и то же.

— Слушай, — говорит она. — Это потрясающий случай в моей практике. Первый раз такое. Чтобы мужчина до меня пальцем не дотронулся, и вот так сидеть, как мышь, в ванной... Это какая-то болезнь.

Я говорю:

— Ты поступаешь, как настоящий товарищ.

И наконец-то меня тоже начинает разбирать смех. Отлегло немного...

Стоим смеемся. Позвонить нельзя, в ДЭЗе слесаря в экстазе, как птицы пойманные, бьются (эх, хотел бы я хоть одним глазком посмотреть на бьющихся в экстазе слесарей!), голоса на лестнице не умолкают, «друг» говорит:

— Слушай, ну, хорошо, с работы меня, считай, уже выгнали, восьмой подъезд в доме два полдня стоит на ушах, бабушка из сто шестьдесят пятой квартиры уже, наверное, в реанимации, но ты понимаешь, что мне до семи часов надо ребенка из садика забрать или мать предупредить, чтобы сходила? Дети-то из-за твоего слабоумия за что должны страдать?

Этим она меня добила. Дети, особенно чужие, я уже говорил, — это же вообще для меня святыня. Как Валаамский монастырь... «Все, — думаю, — прощай, личное счастье, иду сдаваться». И так грустно мне стало...

А на улице уже темно. Люди идут с работы, разговоры слышны... Течет так называемая нормальная жизнь. И тут меня вдруг осеняет: я же на первом этаже живу! Высоко, правда, метра три, бельэтаж называется, при обмене за первый этаж не считают, но главное — три метра, а не двенадцать.

Я говорю:

— Алла, есть выход. — И киваю на окно.

«Друг» говорит (после небольшой паузы, но, в общем, довольно будничным голосом, без излишней патетики):

— Ты что, с ума сошел? — Видимо, она была уже достаточно подготовлена всем предыдущим. — Я последний раз спортом занималась в школе.

Я (пытаясь сохранить бесстрашие). Здесь низко. Это единственный выход. Я тебе расскажу, как надо.

Она. Сам прыгай.

Я (обрадованно). Я уже прыгал.

Она. Заметно.

Долго я ее уговаривал и все же уговорил.

А у меня на окне книги стоят, я же старый книголюб, книги собираю. И скопил на окне (дом сталинский, подоконники большие) за несколько перестроечных лет довольно приличную библиотеку, которая в те неспокойные времена выполняла у меня, личности с наклонностями, мягко говоря, параноидальными, еще и роль баррикад, мешков с песком. И теперь все это надо снимать... Много... Думаю: если по закону подлости девочки именно в этот момент пойдут обратно мимо окон — все, выпрыгну сам. С изданным в Финляндии томиком Лермонтова в руках. Со стихами на бледных устах. И с внутренним стоном: ..!

(О, как я одинок!..)

И так живо я представил себе все это, что, честное слово, прямо слезы навернулись. Все от книг, наверное, — там много хороших книг лежало. Снимаю и думаю: неправильно я живу, эх, неправильно! Книги вот почти совсем не читаю. С девочками какая-то ерунда. Какая грусть, конец аллеи с утра опять исчез в пыли... И, оборачиваясь к «другу», говорю:

— Послушай, душенька, что я тебе сейчас прочитаю, мой любимый поэт, это тебя развлечет...

Ответ я пропущу. В несколько ускоренном темпе продолжаю разгружать подоконник. Пошли собрания сочинений. Академический Тургенев. Пришвин. Домотканые переплясы. Чаадаев. Запад и Восток. Аксеновский «Ожог». Воспоминания крестьян-толстовцев. Целая жизнь разворачивалась предо мной. Интересно, что от общения с книгой, кроме общей меланхолии, во мне развился какой-то гуманизм по системе Махатмы Ганди, какая-то любовь и жалость ко всем живым существам. То есть сомнения меня стали мучить: как-то она спрыгнет? Высоковато все же, а дама, как говорится, в теле. Но делать нечего.

Стал открывать окно, а оно все замерзло, заело — в обычных, неэкстремальных условиях ни за что бы не открыл. А тут напрягся, и рама с грохотом поддалась... Меня обдало холодом. Я глубоко вздохнул, обернулся к «другу»: давай... Слегка подтолкнул ее в спину и стал подсаживать. А она тяжелая. И боится... Говорит: «Я не спрыгну». Я говорю: «Спрыгнешь, и еще как, тут невысоко, все же прыгали, и я прыгал, и ничего». Она говорит: «Что ты несешь, я не верю, что кто-то еще прыгал, ты, может быть, и прыгал, а других таких дур, как я, еще поискать надо».

А внизу народ ходит, время 17 часов по Москве. Время с работы уходить, время вечернего часа пик. И тут — вы только представьте себе — открывается окно на первом этаже, и в нем, стоя на подоконнике во весь рост, возникает баба в распахнутом пальто. А за ней суетится какой-то мужичонка. То есть вдруг какой-то экзистенциальный взрыв и открывающиеся бездны. Какой-то Кафка и роман «Процесс». Будь это не первый этаж и(или) будь это какая-нибудь благоустроенная Австрия, а не Россия — началась бы наверняка паника, крики «Не надо!..» и звонки в полицию.

А тут, слава Богу, смеются и проходят мимо. То есть не собираются вокруг, как я боялся. Кажется, понимают некоторую комическую интимность происходящего. То есть космизм, всеохватность, эмпатичность русской души налицо. Русский народ полетами не удивишь! Мне и самому становится смешно. «Друг» тоже нервно хихикает.

Я говорю:

— Что ты встала, садись на подоконник, не смейся людей, ты что, в бассейне на вышке, с положения стоя прыгать собралась? Садись на подоконник, ноги спускай, тут должна быть такая приступочка между плитами — немцы специально для тебя оставили, обопришь на нее ногами — все на полметра ниже с нее лететь.

«Друг» сел на подоконник, нашел приступочку ногой, я говорю: «Ну, давай!..» — подтолкнул ее в спину немного (я читал, что так делается у десантников)...

И она прыгнула... Как львица!

...Она летела, мне показалось, минут пять и шлепнулась на землю, как куль с песком, да еще к тому же на задницу. Зад-то у нее о-го-го, размера, наверное, 52—54, вот он и перевесил.

И сидит, на меня смотрит. Покачивается со смеху. Мимо еще какие-то две бабенки шли, довольно смазливые, кстати, так одна другой говорит: «Вот, Марин, смотри, как народ поступает, набирайся опыта». И обе: ха-ха-ха... И «друг» вместе с ними с новой силой залился.

Я говорю:

— Здесь не цирк, вставай, иди к своим слесарям, или ты так и будешь под окнами валяться?

Тут «друг» заявляет:

— А я не могу идти!

Я говорю:

— Ты что, надо мной издеваешься? Что значит «не можешь»?

— Я, кажется, ногу вывихнула, и все из-за тебя, дурака. Не могу встать.

Я говорю:

— Ничего-ничего, это все ощущения, ушиблась просто при падении, это бывает. Ты пока отползай, отползай потихоньку, не здесь же лежать, вон лавка стоит, через дорогу, видишь, ты на нее пока ориентируйся, а от нее до твоего ДЭЗа уже рукой подать. Народ же вокруг, вдруг кто из твоих пойдет — протиснись с надеждой выйти замуж в этом районе, что ты...

Сказал так и захлопнул окно, сволочь.

Захлопнул, нос к стеклу прилепил, посмотрел во все стороны: никто не видел? — вроде нет.

Задернул шторы.

Потом думаю: «Нет, неправильно, так ведь раньше не было». Отдернул назад. Стал книги на окно обратно водружать, потом плюнул, не заметят, думаю. Побегал по комнате немного, из угла в угол, и все же доложил, не надо лишних вопросов. Одного Фета оставил: решил перечитать. Глянул в окно: «друга» вроде нет — уполз... Как серебряные змеи. Ну, думаю, перекрестись, пронесло вроде бы... Пожалел Бог тебя, дурака... И, знаете, наступило у меня какое-то расслабление, релаксация, медитативное состояние. Судите сами: в квартире темно, я один, на улице вечер, в доме напротив зажигаются окна, какая ерунда могла приключиться — и вроде обошлось, а? Я подумал и поставил чайник... Посижу в темноте, думаю, попью чайку. Радио послушаю.

Благолепие...

Подкрадываюсь к двери и понимаю, что «друг» поторопился со своей аннигиляцией. Потому что душенька с подругой совещаются, уходить им или нет. Назвали меня сволочью. Казалось бы, вот и хорошо. Сволочь и сволочь, пусть уходят. Но тут — необъяснимо — стало меня подмывать им дверь открыть. Зачем? Не знаю. Не оправдался бы вовек, это ясно, но рука тянется к замку, и все тут. Борюсь с собой. Девочки тем временем начинают спускаться. Приостановились у двери, и моя любовь позвонила. Как я понимаю, просто проходя мимо, на всякий случай. И тут, внимание, читатель, вот вам Достоевский и Владимир Соловьев в одном лице: я потер глаза (типа спросонья) и... открыл дверь.

Каково?..

Сказать, что за этим последовала немая сцена, — значит, ничего не сказать. Моя любовь смотрела на меня с каким-то неизъяснимым выражением лица. Подруга отвела глаза. Я широко улыбнулся.

— Ой, — сказал я, — я что-то здесь вздремнул, сейчас сколько времени-то?..

Мы вошли. Подруги прошлись по комнатам. Мне показалось, что они с трудом удерживаются от того, чтобы не заглянуть под кровать. В комнате моя любовь сказала: «Холодно у тебя что-то...» Я пробормотал об открытой с утра форточке. Пробормотал и замер: на пыльном окне, между рамами, отчетливо, как палеонтологический отпечаток босой ноги на полу пещеры с динозаврами, виднелись грязные следы женских сапог. Но их вроде не заметили за книгами. Надо было знать, где смотреть.

А может быть, они все-таки все поняли? Во всяком случае, душенька? Иначе как интерпретировать ее замечание насчет микроклимата? Сели пить чай. Я максимально предупредителен. Как официант, только не спрашиваю,

«чего изволите». Даже бутылку достал. Что-то рассказываю. Смотрим книжки, попутно я узнаю, что какая-то девица в рыжей шубке заглядывала к ним на площадку. «Мы уже боялись, что нас погонят», — сказала подруга.

(Ногу она вывихнула! Хотя вообще женщина из любопытства и на одной ноге может проскакать, например, от метро «Сокол» до аэропорта «Шереметьево». А потом сесть в самолет и улететь куда-нибудь подальше...)

И только я это подумал, раздается телефонный звонок.

«Друг».

Главное — не хотел же подходить...

Я говорю: «Алло?»

«Друг». Это ты? Я уже на работе.

Я. Хорошо.

«Друг». Ты что делаешь?

Я (индифферентно). Пью чай.

За столом возникает пауза. Я стараюсь сделать свой голос более естественным, но у меня плохо получается. «Друг» орет в трубку (а мне кажется, что на всю комнату): «Короче, не знаю, что теперь будет, я вывихнула ногу».

Я. Мда...

«Друг». Что ты там мычишь? Ушли твои дуры?

Я. Да... нет...

«Друг». Да или нет?!

Я. Ну я же говорю, гмм...

«Друг». Тогда вези меня домой.

Я. Я не могу.

«Друг». Что значит не можешь? А выкидывать женщину из окна ты можешь? Я что, теперь из-за тебя в ДЭЗе должна ночевать? Хочешь, я тебе начальницу дам, она тебе подтвердит, что я ходить не могу?

Я. Нет.

Пауза за столом усиливается, я делаю титаническое усилие разнообразить меню нашей беседы и спрашиваю у «друга» непринужденно:

— Ну, как дела?

«Друг» как заверещит на всю комнату:

— Ты что, издеваешься? Как дела?! Ногу я вывихнула! Из-за тебя! Я не девочка из окон сигать... Немедленно вези меня домой! — И бросила трубку.

Через минуту позвонила еще раз и сказала, что, если я не появлюсь через 15 минут, она придет сама.

— Теперь придется твоим студенткам из окна прыгать! — радостно пообещал «друг».

Надо было что-то делать. Растерянно улыбаясь девочкам, я пошел считать деньги. Прикинув расстояние от Кутузовского до Кузьминок, я понял, что поездка обойдется мне рублей в двадцать. По тем временам это были большие деньги. Я расстроился. Я не считаю, что я жмот, но отдавать 15 рублей ни за что ни про что было жалко. Главное, я плохо понимал, что происходит. Я чувствовал только, что этот безумный день далеко не закончен.

Я не помню уже, что наврал девочкам. Не помню также, как довез «друга» до Таганской. По-видимому, я решил сэкономить и то ли проехал часть пути на метро, то ли повез ее на такси на перекладных. В общем, следующий кадр — я и привалившийся к парапету «друг» ловим машину в устье Волгоградского проспекта. Наконец кто-то соглашается везти за семь рублей. Мы садимся. «Друг» путано объясняет адрес. Машина трогается. Минут через пять выясняется, что мы должны сначала заехать в травмпункт. «Друг» решил извлечь хоть какую-то пользу из сложившейся ситуации и намеревается сесть на пару дней на больничный. Глядя в окно, я понимаю, что вернусь домой не раньше девяти вечера. Обещание девочкам вернуться через час с Волгоградского проспекта, в виду завода АЗЛК, выглядит ничем не оправданным блефом. В виду завода АЗЛК вообще все обещания кажутся блефом.

К поликлинике, немного поплутав среди пятиэтажек, мы подъехали в начале восьмого. Поиски стоили мне еще полтора рубля. «Друг», посмотрев на мое измученное лицо, обещал принять участие.

— Да ладно... — сказал я.

В вестибюле было пусто. Моющая пол нянечка показала нам, как пройти в травмпункт.

Кафельные стены и запах внушали ужас. Через минуту молодой врач пригласил меня войти. «Муж, зайдите», — сказал он. Я вздрогнул. Оказалось, ничего страшного. Простое растяжение, объяснили мне. Осторожнее надо ходить. Сейчас скользко. Я кивнул. Плотную повязку, два дня покоя. Хорошо бы народное средство — на ночь компресс из мочи. Если не побрезгуете. Но надо преодолевать себя, свои стереотипы. Она у вас не работает? Тут я, вздрогнув, собрался было сбросить наконец приставшую маску, но «друг» меня опередил. «Работает», — с ласковой укоризной сказал он. «Значит, больничный нужен», — подытожил врач.

После получения больничного листа «друг» несколько ожил. Был настроен игриво. Спросил про компресс из мочи, готов ли я его ставить. Согласился ехать домой на троллейбусе. Пригласил меня на чай. Я отказался.

— Подумай, в какое положение ты меня ставишь, — сказал «друг». — Я уже позвонила маме и сказала, что мы зайдем.

— Мы?... — сказал я.

— Ну да, мы, а что в этом такого? Что ж ты так боишься, Господи?.. Ты что, думаешь, тебя прямо в квартире женим? Не бойся, прямо там не женим. Я сказала маме, что мы просто друзья.

Ну что тут прикажете делать? Я опять подумал, что человек мне помог, из окна для меня прыгал, ногу вывихнул, а я теперь скажу: нет? По-человечески ли это?

Перед дверью ее девятиэтажки я, собрав в кулак всю волю, остановился.

— Отпусти меня, Алка! — взмолился я. — Меня дома студентки ждут. Я же должен провести занятие...

— Ты что же, их там оставил? — подозрительно спросил «друг». — Студенток? Ты же сказал, что они ушли. Что ты мне-то врешь? Какие студентки?..

Я остановился на мгновение, но потом, не в силах удержаться и свернуть со странной стези этого дня, сказал:

— Я не вру, это студентки. У меня занятие. Я подрабатываю. Я оставил им ключ. У них курсовой. Я должен вернуться.

— Тогда, — сказал «друг», — ты позвонишь от меня и скажешь, что задерживаешься или вообще перенесешь семинар. Это будет лучше, чем просто исчезнуть и приехать в десять вечера, согласишься. Извинишься и перенесешь. Так даже солиднее — изредка динамить. А девочки простят. Даже обрадуются, уроки отменили.

Дверь нам открыла мама. Не знаю, как меня представил «друг», но то, что меня приняли за кого-то другого, — это точно. Вообще не дай вам Бог иметь взрослую дочь. Кто это говорил? Чехов? Короленко? Не важно. Все было обставлено достаточно торжественно.

Для начала меня познакомили с «капитаном». Он оказался, как и описывала Алка, в тельняшке. Был похож на какого-то характерного артиста. Обменялся со мной крепким рукопожатием. Видимо, сочувствуя, похлопал по плечу. Потом меня провели к телефону, и я, чтобы не выбиваться из сценария, был вынужден набрать телефон конторы, в которой подрабатываю иногда, и, удивившись, что там никого нет, строгим голосом поговорить с длинными гудками. Мое телефонирование произвело должное впечатление (интеллигент, преподаватель...), и торжественная атмосфера в доме сгустилась. В воздухе стали отчетливо слышны звуки марша Мендельсона. Самое интересное, что и я включился в эту игру.

Ухаживал за «другом», разговаривал с маман, сделал козу ребенку. «Кэп» все подливал. Говорили о тяжелой нынешней жизни, о молодежи, о том, как трудно сейчас устроиться. Станным образом (или мне показалось с испуга) речь зашла о строительстве молодой семьи. Всплыл и пропал в тумане дачный участок под Вязьмой, на который некому ездить. Своя картошка. Огурцы... «Капитан» вспоминал послевоенное детство, сказал, что тоже — ?! — рос с неродным отцом. Маман поинтересовалась, чем занимаются мои родители. Малыш спросил, нет ли у меня случайно с собой солдатиков. Это было уже слышком. Принеси мне их в следующий раз. Хорошо. Фу, как нехорошо попрошайничать. У тебя же есть солдатик. Нет, у меня есть индейцы. Ох, уж эти дети.

(Испытующий взгляд бабушки на меня — как я контактирую...) Вы его извините. Да что вы... Вечер проходил по всем правилам.

Алла, выпив, откинулась на спинку стула. От нее шел жар. Сейчас я чувствую по этому поводу вождение. Нужно ли говорить, что тогда я постарался незаметно отодвинуться...

А может, и нет. Может быть, и не постарался. Может быть, я все здесь наговариваю на себя. Может быть, и тогда уже я испытывал по отношению к ней более здоровые чувства и, наоборот, захотел придвинуться, но постеснялся ее маман...

В общем, я напился.

Домой я добирался на такси. Как меня туда сажали — не помню. Очнулся я от холода где-то все у той же Таганской. Таксист, видимо, опасаясь, что меня будет рвать, открыл окно. Вечер был на редкость морозным и ясным. Заметно распогодилось. С трудом трезвея, я стал думать о том, что же произошло в этот день. Я пытался осмыслить происшедшее. Согласитесь, лучшего места, чем карета празднопутешествующего, для такого дела не найти. Поднимая голову к прыгающему в окне такси высокому черному небу со звездами, я спрашивал звезды и самого себя: «Что это было? Зачем это было?» Но звезды молчали, а у меня в голове стоял такой густой туман, что разобрать ничего было нельзя.

Когда наконец в первом часу ночи я ввалился домой, там, естественно, никого уже не было. На столе стояла накрытая полотенцем кастрюля вареной картошки и лежала записка прохладно-дружеского содержания. Были бы силы, я бы пусть пьяно, но прослезился. А так — только долго сидел у окна, не зажигая света, и тупо смотрел то на записку, то на темный и пустой двор. Через какое-то время зазвонил телефон. Я взял трубку. Разумеется, это была не Любочка, это был «друг». Буднично-ласковым голосом, уже как у *своего*, «друг» спросил:

— Добрался?

Я кивнул.

— Слушай, — сказал «друг», — мы тут с мамой, ожидая, пока ты доедешь, сели разгадывать кроссворд. И у нас есть нерешенные вопросы. Я и подумала, кто у нас еще эрудит, кроме тебя?

— Да, — сказал я, — действительно.

«Друг» предпочел не заметить моей иронии.

— Американский страус. Из пяти букв, — сказал он, — «у» последняя, не помнишь?

— Страус? — спросил я, снова обалдевая. (Видимо, этот безумный день никак не хотел заканчиваться просто так и нуждался в последнем, абсурдном аккорде.)

— Ну да, — сказал «друг». — Главное, что-то вертится в голове, я же в школе отличницей была по биологии. Всю тропическую фауну знала. А сейчас не могу вспомнить, кто это. Вроде слово типа прививки.

— Какая прививка? — сказал я. — От чего?!

— Ну, прививки, какие нам делали в школе, помнишь? В советское время. Под лопатку, пирке...

— Манту, — сказал я.

— О, молодец! — закричал «друг». — Как я забыла? Прививка — манту! А страус — нанду! Нан-ду!.. Мам, пиши. Южноамериканский бегающий страус нанду, живет в Патагонии. — «Друг» отвлекся от трубки.

Я закрыл глаза. Страус нанду, пригнувшись, бежал по холодной патагонской равнине, бедный «друг», хлопая крыльями, вылетал из моего окна, капитан, стоя на мостике своего корабля, застрявшего в снегах у кольцевой автодороги, орал в мегафон что-то нечленораздельное — все слилось в один сверкающий хоровод в моей бедной голове...

Я повесил трубку.

Немного посидел. Потом пошел спать.

И больше не отвечал на звонки. Надо же было когда-то и где-то поставить точку.

Предлагаем вниманию читателей стихи поэтов, они живут в разных городах Урала — Перми, Челябинске, Екатеринбурге, но встретились эти разные поэты под одной обложкой — «Антологии современной уральской поэзии». В следующем году ее намеревается выпустить в Челябинске фонд «Галерея». Данная подборка (извлечение из антологии) во многом презентативна, она — маленькая толика того, что собрано: более сорока авторов, опыт трех поэтических групп. При работе над материалом выяснилось, что «крутого авангарда» на Урале в течение последних двадцати лет (именно этот период охватывает антология) синоптически не наблюдалось. Хорошо это или плохо? Это нормально. Тем не менее многие поэты обоснованно ощущают свою связь с модернизмом.

Надеюсь, понятно, что все «измы» всего лишь методологические ходули, необходимые скорее для (подставьте любое слово), чем (повторите эту процедуру). Важно другое: на мой взгляд, мы имеем (или имели) дело с культурным явлением двадцатилетнего диапазона, явлением векторным, порой агрессивным и невнятным. Но все-таки можно сказать, что имело (или имеет) место уральская поэтическая школа. Именно так, потому что поэтические школы — явление прежде всего, как это ни странно, географическое, т. е. «ландшафтное», а уже потом психоаналитическое.

Антология современной уральской поэзии не выставка поэтического искусства, а реальный срез со всеми плюсами и минусами. Здесь самое время напомнить, что культура не результативна, а процессуальна и поэзия в данном случае не исключение.

Виталий КАЛЬПИДИ

Нина ЯГОДИНЦЕВА

* * *

Нам, переменчивым, как пламя,
Как свет, горящий вдалеке,
Нам трудно говорить с богами
На скудном нашем языке.

Но наступает как проклятье
Необратимый тайный час,
Когда учителя и братья
Уже не понимают нас.

Андрей САННИКОВ

* * *

По всем мастерским, где художники пухнут в грязи,
как дети от голода, если у взрослых есть войны,—
дай руку! — и я поведу тебя. Только гляди:
я предупреждал тебя. Предупреждал тебя. Помни.

По всем городам, где катается каменный шар,
ломающая дома, обдирая железо до крови,—

нет, не закрывай глаза — я тебя предупреждал.
Я предупреждал тебя, предупреждал тебя — помни.

По рельсам нагретым, внутри поездов,
везущих тротил и дешевое теплое мясо,
мы будем идти, ощутимые, как длинный вздох.
Не бойся, ведь я тебя за руку взял, не пугайся.

По этой стране, мимо белых поленниц зимы,
по этой земле, по золе, пересыпанной снегом,
мы будем идти и идти, невредимы, одни,
под этим, начавшимся как бы неявно — гляди —
молочным, обильным и все заливающим светом.

Юрий КАЗАРИН

* * *

Когда мороз — пророк и по загрявкам странник
и жаждой Рождества расплющены уста,
в чеканное окно вработан подстаканник —
округи испитой граненые места.

От прошлых голубей — вообразимый шорох,
и строем ходит ночь за ангелом огня.
Плюется серебро, и в петушиных шпорах —
то скрипка, то снежок — живая визготня.

Когда в глазах фольга с церковными краями
и ноздри жжет сибирская оса,
ты плачешь до тепла. Ты плачешь муравьями,
как топором любимые леса.

Любовь и алкоголь — подвздошные громады.
За выдохом идешь по кромке городка,
и кажется, что видишь до Канады —
на глубину тоски и каблука.

Улитка

Почти с небес — с глазного дна —
трава крадет у яблонь лытки.
Где — под луною холодна —
улитка вся язык. Она
пространство сладкое в улитке.

У светляка загробный вид.
В саду полночный общепит
и мотылька мохнатый мячик.
Пространство съеденное спит,
свернувшись намертво в калачик.

В цикаде — посох и зима,
смотрины мрачного ума.
И по ночам не спится Богу.

Пока бинтуется сама
улитки влажная чалма
и наклоняется к востоку.

Роман ТЯГУНОВ

* * *

В Михайловском зима перерастает в осень.
Две гири часовых ложатся на весы:
Ка-ча-ют-ся себе, стихов от прозы просят,
А на цепях висят сторожевые псы.

О лунный циферблат! Мы не в своей тарелке:
Нам сахарная кость, что ось железных лет.
Давно прошедший век процеживают стрелки:
Вот — Парус, вот — Дантес...
А Пушкина все нет.

Блажен, кто посетил. Декабрьское восстанье.
Парад взлетевших звезд и сбившихся планет!
Трещит зеленый лед. Мундиры. Танцы. Стансы.
Империя. Помост!
А Пушкина все нет.

И снова холода. Дымящиеся кружки
Застыли на весу чуть выше эполет:
Благословим друзей и юность! Где же Пушкин?
Державин сходит в гроб...
А Пушкина все нет.

Мы уловили смысл падежных окончаний,
Полета ритма, рифм: мы взвесили тома
На площадях Москвы, на северных причалах
Без гирек часовых... Вернемся же к началу:
Нет времени. Сна нет. В Михайловском зима...

* * *

Всё — зеркало, всё — свет, всё — отраженье.
Я — цель, И — путь, Т — средство, Ы — движенье
В кругу шипящих просыпаться спящим
Без страха И, без И, без выраженья...

«Оборони мя от чужаго круга,
От недруга, от яда, от недуга.
От сих до сих я наполняю стих:
Пью за себя, за всех, за пятый угол.

Обереги мя от дурнаго глаза,
От азбуки, от буки, от заразы.
Иди от СИХ: я — идиот, ты — псих.
Безумцы принимают ум за разум».

Ё — зеркало, М — свет, Я — отраженье.
 Не двинуться, не сделав одолженья
 Тому-другому: оба — Иеговы
 Без имени, без мя, без продолженья...

...юродивый баюкает благое.
 Всё — зеркало. Но зеркало не всё.

* * *

В библиотеке имени меня
 Несовершенство прогибает доски.
 Кариатиды города Свердловска
 Свободным членом делают наброски
 На злобу дня: по улицам Свердловска
 Гомер ведет Троянского Коня
 В библиотеку имени меня.

В библиотеку имени меня
 Записывают только сумасшедших.
 Они горды своим несовершенством:
 Читая снизу-вверх и против шерсти,
 Жгут мои книги, греясь у огня
 Библиотеки имени меня.

Библиотека имени меня
 Стоит внутри моей библиотеки.
 Здесь выступают правильные греки:
 Круги, квадраты, алефы, омеги
 Внутри себя вычерчивают греки
 И за руки ведут своих ребят
 В библиотеку имени меня...

Внутри коня горят библиотеки.

Владислав ДРОЖАЩИХ

Гон

Сирени крестословица сгустится
 кустом цвести и волком обратиться.
 Чужое солнце на земле родится —
 ярьсь дубком и волком расцветай.
 Себе поверь по жизни-дешевизне,
 Перми многокогтистая отчизна:
 ты — полутрезвость или полутризна;
 не по тебе обетованный рай.

Полудревесный, полусоколиный,
 двужильный гон отчетливо звериный,
 кустом крутись и волком замирай;
 полуплети и полубегай.
 Но ты, волкарь, неуследим удачей;

ты не ловец, а путаник бродячий;
 божегневливый или божедомный,
 кустом когтись и волком налетай,
 полуживой еще, полуогромный;
 бери и помни, рви и замирай.

И мать-сыра земля, трава-отчизна
 кипит в горсти с предсмертной укоризной;
 и в горле шерсть, и талый запах жизни;
 бери и помни, рви и замирай.
 Но звездный гон рассудит всех иначе
 и, чашу ночи на вершину плача
 подьемля, переполнит невзначай
 и перельется волком через край.

Антон КОЛОБЯНИН

* * *

Я живу с алкоголем в крови.
 Ты попробуй меня оторви
 от туннеля початой бутылки.

Я всю жизнь ощущал переход
 в подпространство, и наоборот.
 В 27 я наметил уход,
 если раньше не будет развилки.

У меня есть ручная тоска
 и любовь тяжелей волоска.
 Ангел мой, посмотри, как узка
 эта щель в зазеркалье.

Вряд ли я проложу борону
 по изрытому рыбами дну.
 Тут лицо я к тебе оберну
 не свое, а шакалье.

Нет, пугать я тебя не берусь.
 Может, Богом к тебе обернусь
 или боком. И вряд ли запнусь
 над ужасной строкою.

Я умру с алкоголем в крови.
 Ангел мой, ты меня оторви
 с мясом, с кровью от этой любви,
 о которой поют соловьи
 перед страшной зимою.

Виталина ТХОРЖЕВСКАЯ

Начало отсутствия

Я не скажу: остановись, пространство! —
 когда слегка продвинется стекло,
 когда вода зажмет в сапог испанский
 моих ступней прозрачное тепло,

когда поднимет голову булыжник
и рыбьим телом дрогнет темнота,
когда луна уставится бесстыже
в мои — без век — разутые глаза,
когда без очертания и света
в мою нахлынут комнату предметы —
в ту комнату, где нет уже меня,
которой нет. Утраченные пальцы
пространство настигают — без меня.
(Я не скажу: остановись, пространство!)

Николай БОЛДЫРЕВ

* * *

Друг мой вечный,
нас сдружила непогода,
мы не добровольно подружились.
В узкой горловине смертной жизни
нас столкнуло общее течение.

Бесполезно сетовать на время —
мы пронизаны его корнями,
мысли ткем из этой нервной пряжи,
дышим хроноса безумными ветрами.

Бесполезно сетовать на предков,
выстроивших сети нашей кармы:
подневольных нет на этом свете.
Волею своей себя мы держим,
эта воля жаждет насыщенья,
наслаждаясь, ропщет, попрекает...

* * *

Мы не созреем никогда.
Нам этот климат не позволит.
Мы будем тлеть и гаснуть в поле,
пока отчаянья страда
не скрутит и не приневолит
к любви — вчера, сейчас, всегда.



Торжество Правды

ПОВЕСТЬ

Ну, раз уж пошло о самом стыдном — я согрешил легким флиртом не только со смертью, но и с изящной словесностью: столь возвышенной натуре да не подцепить такую липучую заразу! Я не знал несчастной люб... — хм, «счастливая любовь», счастливая мать, обреченная потерять своих детей... Я не знал лишь безответной любви: моя любовь всегда бывала отражением их отклика на мое излучение Неведомо Чего. Но, блуждая по окраинам литературных дебрей, я даже уставал непрерывно тянуть губы дудкой муравьеда в страстной жажде расцеловать хоть какое-нибудь человеческое лицо в этом пустынном скверике духа, за призрачной оградкой которого орудуют, грохоча, как пороженные ночные товарняки, люди физического труда, неустанно перемещающие лес, кирпич, армии, границы, полчища цифр в непонятных, но уж до того лишённых таинственности, а стало быть, и значительности бумагах!

Но... Значительное Лицо в облике искателя значительности — от таких я отдергивал руку, словно вместо подосиновика ухватил какашку. И отдергивать руку в мире искусства мне пришлось так часто, как будто я разыскивал закатившуюся бриллиантовую запонку в комнате, где прячется змея...

В миру даже самое огромное быстро изнашивалось до маленького и незначительного, а в книгах наоборот: самое маленькое обращалось в значительное и беспредельное, но, как все осмысленно-рукотворное, уже не страшное. Что же за отсебятина, кроме простоты (каждое чувство захватывало целиком, а цельность природы есть бедность природы), когда-то била из меня, накаляя значительностью любую дребедень? В бесконечной судороге коченеет в пыли ржавый гвоздь... Огненный петух вышагивает, как гитлеровец... Бесстыдно курносая свинья мощно, словно землетрясение, скребется о егоровский сарай, бряцая его ржавыми латами... Я вглядывался в детство до рези в глазах и до боли в сердце — и вдруг он распахнулся перед нами — Котлован! — во всей своей тридцатиметровой шири! Я убежден, что в сравнении с ним Неаполитанский залив и Мертвое море — если бы только не имена! — показались бы скромными синичками, запорхнувшими в павлиний вольтер. Мне еще не требовались эти пышности — «изумрудный», «бирюзовый»: в ту пору, напротив, оглушительные слова были вялым чихом сонной дворняги в сравнении с громокипящей явью. Кучевые облака, свищущие из прорванной теплотрассы — куда там долине гейзеров! Закатившаяся в окаменевшем «Оооо!» бетонная труба, полоскавшая лакированный язык в исполинском безе среди зеленейшего поля ряски и радужнейшего — мазута, по которым скользили ликующие гуси. А снежная трава, а пушистое железо — к Котловану выходили отроги Курской дуги, этого поля битвы богов и титанов! Шевелящийся гусиный пух на траве и железе — разум всему высмотрит начала и причины и тем введет феерию безграничности в скучные границы процессов.

Взявшись за перо, я ничего не собирался «описывать» — я пытался остановить не мгновение, а значительность, укрывшуюся в нем. Было же какое-то

Нечто, обращавшее драку Механки с Железкой в Троянскую войну, а Армяна и Сивого — в Ахилла и Гектора, которые, в свою очередь, всего-то и были первыми фраерами своих микрорайонов. Это было ощущение себя единственным центром вселенной? — тогда в самых значительных мирах живут простые люди и животные; а моя взрослая жизнь, даже и наряженная в слова, не обрела значительности: чужие сочинения были значительны именно потому, что в них вовсе не было реальности — они были целиком сотканы из бесплотных знаков. А жизнь, преобразуемая мною в слова, обрела лишь поддельную значительность намеков и перекличек, когда два-три простеньких звука вдруг сливались в причудливый аккорд, а никому никогда еще не попадавшаяся вещь вдруг таинственно (валявшийся на дороге ключ пришелся впору готовому замку) обрела покой в слове, придуманном незнамо когда, незнамо для чего... Это можно было принять за предзнаменование Чего-то. Если не вдумываться.

Но и этот суррогат значительности оказался до сумасшедшинки дорог мне.

Сонмища красок, звуков, извивов, лиц, голосов через меня взывали друг к другу: «Откликнись! Откликнись!» Слова, созвучия из моего скафандра тянулись им навстречу, сплетаясь в обалденные калейдоскопы и аккорды, одурманявая и — намекая, намекая, намекая дивными диссонансами: до чего прекрасен мир! до чего он ужасен! до чего прост! непостижим! убог! вожделен!

Моя супруга-мама с кротостью и грустным состраданием переносила очередной пароксизм моей супертропической лихорадки, подхваченной в каких-то взнезменных колониях. Она даже воспретила мне осваивать пишущую машинку: мое время, мол, стоит дороже (ноль рублей в час). Но, как ни совестно было тратить деньги на баловство, я внутренне ахнул, до чего красива была набранная мною мозаика слов (набор слов) — четкая, черная на белой финской бумаге. Опечатки ранили глаз, словно металлические опилки с родимой Механки.

Выпутавшись из лабиринта гремучих ложных дверей, сквозь стекла которых редакционные работники могли наблюдать за тычущимися графоманами, я — в лучших традициях — споткнулся о ковровую дорожку и застыл, не зная, куда двинуться. Из-за стола на меня с омерзением смотрела пятидесятилетняя фрейлина Ее Величества, в девятисотом году танцевавшая в Аничковом, а в пятьдесят восьмом закончившая женские курсы машинисток и до прихода в литературный журнал пятнадцать лет отсидевшая в приемной издательства «Комбайн»: служебная обязанность унижать тружеников духа вырабатывает поразительную аристократичность манер (съеденное сердце врага?).

— Что вы стоите? — с гадливостью спросила графиня (графомана) и пояснила в пространство: — А то схватят что-нибудь со стола...

И я понял, что из подающего надежды молодого ученого (мои лежащие статьи переводились на немногочисленные языки, на мои доклады стекались люди из других организаций, не тысячи, конечно, но десят...ок, я стремительно скользнул в разряд не просто ничтожеств, но прямо-таки мелких воришек.

Каждый знает, что быть писателем сравнительно почетно. Но пытаться стать писателем — в лучшем случае смехотворно. В одной редакции я столкнулся с коллегой-физиком — и до сих пор, встречаясь, прячем глаза, а уж лет тому миновало как бы не двадцать. Представляю, какими блудливыми улыбками мы бы обменивались, доведись нам встретиться в публичном доме! Но в тогдашнем чаду клокочущий фурункулез пробивающейся наружу значительности, откликаясь эхом в унылых коридорах реальной униженности, являл собой еще один божественный диссонанс.

Однако за ответом я явился в маске безразличия. По коридору скользила высокая девушка — вся в белом, вся в талию, вся светящаяся и колеблющаяся, как струйка дыма из забытой волшебником сигареты. «Из отдела поэзии», — оцепенев, понял я. Она открыла дверь с табличкой «Отдел прозы».

Я старался, чтобы она не расслышала мою фамилию (тогда-то я и решил взять псевдоним, а одеться я еще прежде постарался так, чтобы выглядеть никаким).

— А мне ваше имя ничего не говорит,— развязно заявил заведующий отделом, известный молодежный писатель Ричард Барбосов.— Поищите на подоконнике. Только не ройтесь.

И сколько же нас, единственных, плющилось там друг под другом! Мелькали выстраданные, делающие всю музыку вступления: «На легких цыпочках приближался прозрачный рассвет», «Захар, отхаркнувшись, с третьего оборота завел мотор», «Егорка, Егорка! — зазвенело на борозде». Мои чистенькие мозаики были припоматы, подзатерты, между строк вились подчеркивания, на полях аукались реплики в духе заметок Ленина к Гегелю — «ха-ха», «сволочь идеалистическая» и прочая братва. Я леденел, вдруг Ричард Барбосов прибавит что-нибудь вслух в присутствии наклонившей кудри златовласой феи? По сторонившемуся меня взгляду богини света я видел, что мне оставлен лишь выбор между графоманом амбициозным и графоманом пришибленным. Я решил больше не появляться в редакции. Но внезапно меня окатила безумная, как все, чем я тогда жил, надежда: а что, если она меня когда-нибудь прочтет?

...И вдруг она улыбнулась мне, как старому знакомому, дружески указала на стул, продолжая, почему-то стоя, добалтывать по телефону с каким-то Мишей (душа екнула от зависти к нему). Чтобы не пялиться, я опустил глаза, и меня почему-то поразила проколота шлагбаумцем пряжки, проглядывающая наружу солдатская кожа ремня на ее вельветовых брючках. Лучик света, схваченный грубой мертвой плотью...

Это был второй случай за десять лет, когда она носила рукопись с работы почитать друзьям. И всем тоже очень понравилось. Первый Зам, высокий гулкий старикан с интеллигентным, то есть отчасти еврейским, лицом задержал мою руку, откинув голову, как бы любуясь мною, не в силах выпустить. Я уже знал, что советские старики — добрые, злые, прогрессивные, реакционные, образованные, дикие — равно сняты с упрощенной колодки. (Хоть бы чего-нибудь они не знали!) Но этот действительно все не знал, это тыфу, а понимал. Он раскинул передо мной поэтическую карту мира от Древнего Египта и Китая до немецкого экспрессионизма и французского антиромана и, продолжая любоваться мною, словно одаренным, но обреченным все тому же вечному поражению ребенком, жалеючи продемонстрировал, что никакого нового материка я не открыл. Что говорить — молодые должны искать («должны» означало не «обязаны», а «обречены»). Тем не менее прелесть фрагментарности понимали уже... На контрастах высокого и низкого работали... Силу недоговоренности использовали... Шекспир, Вийон, Пушкин, Гейне, Фет, Верлен, Метерлинк, Андрей Белый, Бунин, Гиппиус (в дальнейшем водопаде я краем уха слышал лишь Дос Пассоса и Натали Саррот)... Не линия, нет, а только наемк... Который в единое сочетает пушки и свирель... О, если б без слов... Лишь нам звучащих... И звуков небес заменить не могли... Нам нужно то, чего нет на свете... Попытки перенести магию поэзии в прозу... Музыка без событий... Стихотворения в прозе, Бодлер, Тургенев... Выразить невыразимое... Непреодолимое одиночество каждой души...

Он сформулировал не только то, чего я хотел более или менее отчетливо, но и то, что лишь смутно брезжилось. Моя покровительница холодно заметила, что в общем виде идеи ничего не стоят, главное — данный конкретный текст хорошо написан. Я кинулся возражать: нет, главное — душевный порыв, идеи — это удары пульса мировой души, тщетно сияющей осуществиться в изуродованных родами реальностях. Окрыленный, я никак не мог взять в толк, чем же недовольна моя муза: главное, тебя любят («понимают»), а уж напечатают, не напечатают... Конечно, я тоже прятался за формулу «все талантливо полезно социализму», но сам-то уже догадывался, что всякое живое слово вредносно для него, ибо социализм как раз и рожден для борьбы с непредсказуемостью.

— Вам нужно вступить в какое-нибудь литобъединение,— озабоченно сказала она.

— Я слишком стар, чтобы ходить в кружок,— ответил я с такой перекошенной корректностью, что она улыбнулась, будто несмышленишу.

Моя светлая муза принялась названивать в другие журналы, кому-то меня представлять,— ужасно неловко было принимать покровительство от женщины: я привык перед их сестрой выступать голым. Поэтому в ее присутствии мною овладевали то немота, то лихорадочная шутовство. Она смеялась с полной простотой, словно не замечала моей неполной вменяемости.

Меня начали время от времени приглашать в разные... не хочу сказать — салоны: слишком прелестных людей мне доводилось там встречать. Но и жеманных тоже... Случалось, меня благодарили с такой страстью (особенно женщины, особенно женщины...), какой я ни разу не встречал в наших физических сферах (может, и мы, физики, тоже люди физического труда?). Молодой, рисующийся сутулостью и ранней лысиной еврей, каждый грустный жест которого выражал укоризну окружающему скотству, публично назвал мои творения новым словом не только в отечественной, но и в мировой литературе. Однако он обошелся со мной надменно, демонстрируя, что его интересуют исключительно тексты,— и я его невзлюбил. Я хотел слияния скафандров, то есть любви к своей душе, к ее порыву, а не к побочным продуктам ее деятельности. Нет, увы, и к ним тоже, мое падение и началось в тот миг, когда я пожелал опереться на чужие похвалы. Но рожал я свои калейдоскопы отнюдь не для славы — просто иначе было не облегчиться. Мне до стона желалось сплести все еще в миллион раз сложнее, противоречивее: жесткая очерковая сценка, лирическое стихотворение, гениальная цитата, музыкальный аккорд, социологическое эссе, исповедальный возглас, безобразнейше-ослепительный пейзаж, математическая формула, песня, график... Как бы только спаять, чтобы не растаскивали на части — кто умное, кто красивое, кто жестокое,— а что они друг без друга?!

— Как увидено, как увидено! — растроганно качал бородкой интеллигентный старичок и советовал мне поучиться сюжетостроению у Алексея Николаевича Толстого. Было опасно доверяться поколению простоты, отхватившей для своего царствования шестую часть суши. Поэтому веер имен, разворачиваемых псевдоеврейским Замом, наводил на подозрение, что седина у него накладная. И сиял он совсем не по-стариковски, когда самый простенький из моих калейдоскопов наконец напечатали — в другом журнале. Хотя ничего чрезвычайного в моих опусах он не видел (что тут можно открыть после Розанова и Мандельштама!), лично для меня он желал смягчить остроту того несчастья, коим, по его глубокому убеждению, являлась жажда обнаруживаться.

— Теперь он за вас больше не отвечает,— разъяснила мне моя богиня, но эта правда лишь чиркнула по медному шлему моего скафандра.

Зато сутулый еврей начал всюду объявлять, что я совершенно исписался (он защищался от правды убежденностью, что в этой стране подлинный талант пробиться не может), — именно с тех пор я особенно бдительно слежу, как бы часом не выразить укоризны человечеству: ведь мировую скорбь так трудно отличить от зависти к удачникам. А мой псевдоеврей, отечески мурлыча, отобрал второе по примитивности мое сочинение и получил вердикт Главного: «Непонятно, зачем написано!»

— Когда они чего-то не понимают — это для них хуже «антисоветчины»... — Зам был так откровенно расстроен и так расстроено откровенен, что это вполне возместило мне ущерб. Зато мы едины: главная борьба есть борьба Простоты с Усложненностью, а «советчина», «антисоветчина» — то милые бранятся... хотя и убивают друг друга чаще всего именно друзья, супруги, сожители...

Моя муза за ручку ввела меня, потупившегося и надувшего губки, на крылечко для творческого молодняка (от тридцати до сорока), откуда оставалось уже два шага и до передней. Эти недосыгаемые сборники «Юный Ленинград» и «Слово молодым». Насколько все же приятнее, когда плющат друг друга творения, а не творцы. Жуть, до чего всерьез шла эта игра: мама готова была запереть меня дома, видя, что я всегда делаюсь болен от прикосновения к высокому. Но я не мог покинуть мои бедные диссонансики.

Неточно — я заболел, лишь сталкиваясь с неколебимостью. Если же человек плевался от себя лично, мне становилось грустно за нас обоих, обреченных на пожизненное заключение в своих скафандрах.

Когда коллеги изничтожали меня за «снобизм» и «выпендрож», в ответ я великодушно восхвалял обступившую простоту, поглощенную событиями и поступками, а не чувствами и мнениями: литература, мол, нужна и такая, и всякая, но ведь допущение сложности есть ее победа. Полпреды Простоты оставались неумолимы: нет, нужны только такие, как они. Я всячески старался подчеркнуть, что считаю душу творца чем-то неизмеримо более богатым и драгоценным в сравнении с таким неполным и слабым ее отпечатком, как текст, но, увы, никто, кроме меня, не желал отделять свой беспредельный дух от этих нищенских его воплощений! Ни с такой нежностью за похвалу, ни с такой ненавистью за оговорку в дифирамбе я никогда не сталкивался в наших физических сферах: видно, на кону здесь стояло нечто неизмеримо более важное, нежели открытие новой формулы или эффекта.

Тогда мне казалось, что это просто невиданная амбициозность: ведь и у нас хватало и ревности, и зависти, — однако у нас не рвали навеки со вчерашними друзьями, не сводили счеты в печати — чего-то все же и стеснялись, а в этом страшном мире было буквально все позволено. Гипотеза писательской сверхамбициозности заодно разъясняла, откуда берутся книги, в своей бездарности не менее величественные, чем египетские пирамиды: ведь истинная бездарность — такая же редкость, как и талант, — отчего же именно она валит в писатели? Мои друзья-физики ну решительно все были более одарены художественно — умели больше видеть, крупнее переживать, завлекательнее расписывать, — но им и в голову не приходило искать за это какого-то особого статуса: они совершенно справедливо полагали свой дар нормальным свойством развитого человека. Но попробуй уменьшить одаренность в десять раз, а амбициозность увеличить в тысячу — и сразу все станет не на свои места. Уже в передней дерганье сменялось неземным покоем и величавостью: заглядывая туда, я цепенел от ужаса при виде этих кресел, занятых памятниками, памятниками, памятниками... Какой же скромной оказывалась эта, казалось бы, ненасытная алчность! Выцарапывать неположенную путевку в какой-то там Дом творчества, чтобы обронить при случае: «Собираюсь засесть в Комарове...»

Я был не прав: самых подлинных из нас было бы не ограничить ни деньгами, ни престижем. За что бы мы ни взялись, шилом в задницу нас подбрасывал страх, что мы упускаем нечто неизмеримо более значительное. Те, кто и без того был одержим ощущением невероятной значительности всего, что с ними происходит, были просто виднее. Они были убеждены: стоит им написать: «Я стою у окна. Мимо идут троллейбусы», — и мир задохнется от лирического оргазма. Да, тайная война велась за значительность! И простые значительные лица ненавидели сложность за то, что она ими пренебрегала.

— Какую курточку отхватил!

— А ты что, не знаешь, что по одежке встречают только холуи? — типичный ответ не британского лорда, а уроженца деревни Верхнее Низино, выпускника ФЗУ, плотника, бетонщика, шофера, вахтера и лифтера. Все та же вечная ошибка духа, пытающегося потребовать доли в космосе мире реалий; для внутреннего ощущения собственной значительности внешних ее подтверждений: почтительности, аплодисментов, подношений... Тогда я еще не понимал, что тяга к творчеству — тоже коварная издевка материи, обманной голубой огонек над изумрудной травкой, под которой трепещет от нетерпения холодная трясина; тяга к творчеству — младенческая надежда воплотить невоплотимое, ощущение, лишенное формы и границ, выразить через громоздкие материальности — книги, картины, речи, жесты, — узнику легче ощутить тело любимой сквозь кирпичи его каземата.

Но это сейчас я понимаю, что духу нечего и нос совать в реальный мир — на конфуз либо катастрофу. А в ту пору я ощущал лишь бессознательный страх перед всякой претенциозностью — попыткой материальными манипуляциями покорить чужие умы. Именно с тех пор мною владеет неусыпное — куда до ме-

ня всем позерам и щеголям! — стремление имитировать заурядность: ни единого жеста оскорбленного дарования, никаких кочегарок, андеграундов, исканий, метаний, — я довольный жизнью, хорошо зарабатывающий научный работник, прекрасный семьянин, в свободное время пописывающий нечто сравнительно интеллектуальное, хотя и без особых претензий. Но в глубине души я страстно желал любви к россыпям моего калейдоскопа (обрезки моих ногтей давали более близкое представление о моей душе). Вместо того чтобы гордо держаться ни на чем (а в силах ли это человеческих?), вопреки всему свету обожествлять свою дурь, я трусливо искал одобрения неведомой высшей Инстанции, не понимая, что, если поставишь судью над собою, он непременно вынесет тебе смертный приговор.

Но сиротство так тягостно... У меня нашлось пяток почитателей и шесток почитательниц, однако в Отцы они мне явно не годились: ведь только от подлинного, досоветского могла протянуться ко мне благословляющая Рука Отца! Тогда-то я и попал под холодную руку... Не знаю, как его назвать: Обличитель? Хранитель Священных Заветов? Или, объединяя обе ипостаси, Обличитель Священных Заветов?

В Москву, на конференцию молодых, мои болельщики ухитрились толкнуть меня, минуя сплоченную питерскую тусовку. Халявный номер в гостинице «Россия» — умели покупать, сказал бы я, если бы умел ценить этот прах. Власть имела надо мной единственную власть: она перекрывала каналы любви к моим заветным диссонансам. Как-то в диспансере вместо моего свойского венеролога со шпагатинкой усов меня встретил пухлый доцент, обрамленный ангельским хором похрупывающих крахмалом застенчиво любопытствующих студенточек: «Так. А теперь расстегните брюки». Я встал и вышел. Мой привычный доктор, скрывая чем-то довольную улыбку, догнал меня в коридоре, сунул стакашек. Но сейчас целомудрие было мне не по карману. Бездетным легко...

Сочетание храма и конторы. Плескучее пламя в ломаных ящиках — такое недопустимо живое в этом дворе. Полковник в руководителях литературного семинара — эдакая обнаженность руководящей простоты (оказалось, он из «Красной звезды»). Второй руководитель меня чуточку обнадежил: он был еврей. От роскошного же русского барина, чья осанка и львиное серебро кудрей вмиг заставляли померкнуть красную гулю на его носу, было совсем не ясно, чего ждать.

Лица рядовых были простые и напряженные, как на сельском фото. Только усатый флотский старлей чувствовал себя как рыба в воде — правда, морская в пресной.

Ради своих детенышей я готов был еще долго склонять голову перед простотой, чтобы она не увидела моего лица.

Фельдшер из Петрозаводска нашел, что мой герой — мещанин. Где он там отыскал героя? Библиотекарша из Свердловска, не сводя с меня глаз (это был обреченный мне тип), призналась, что ей очень, очень понравилось, только она не знает, что еще сказать. Старлей, враз переключившись на «ты», ринулся горячо растолковывать мне, что житуха у меня закручена будь-будь, почти Шукшин — только надо выкинуть на... на фиг две трети лабуды, и все будет хай класс.

Печальный бортмеханик, обладавший специфической некрасивостью положительного киногероя, за которого мстят, пряча глаза, сказал, что ему было неприятно читать про то, как мальчишка, выхваляясь, убил камнем жабу, — дети гораздо лучше, у Тендрякова убитая лягушка перевернула жизнь, и зачем мой студент окидывает взглядом бедра чужой жены — ведь это жена товарища! Его собственный лирический герой, бродя по Гонконгу, отказывался взглянуть на порнографические карточки и прокатиться на рикше: «У нас не ездят на людях». В перестройку я узнал его имя среди редколлегии коричневой литературной газетенки.

Я надеялся на еврея. Глубокомысленно изучая потолок, он констатировал, что писать я умею, но, к сожалению, мне совершенно все равно, о чем писать.

У меня нет ведущих тенденций, которые помогли бы мне организовать те разрозненные впечатления... Обманутый его тонким профилем и серебряными висками (материя всегда лжет!), я заблуждался, что мысль моя в том и заключается, что жизнь не имеет никаких «ведущих тенденций» — они только маски Хаоса, у меня есть специальная статья...

— Вот избыток образованности вам и мешает, — как на безнадежно больного (по собственной вине), указал на меня сострадательным пальцем муляж интеллигента. Grimаса Хаоса — простой еврей...

— Какая образованность — это же какой-то бред! — сорвался полковник (им лишь собственный бред кажется осмысленным), бешено листая свой блокнот, в который лихорадочно что-то записывал, и я увидел вверх ногами разлетевшееся на всю страницу гигантское слово «БРЕД!!!», остановленное частоклолом восклицательных знаков, похожих на вставшие дыбом волосы. (Старлея за глумление над флотом он журил вполне добродушно, ибо все там понимал.)

Ужасно было не унижение (ради своих малюток я снес бы и не такое) — ужасна была беспросветность: бетонная стена не имела ни трещин, ни пределов. И тут... Это был директор департамента, распекающий коллежского секретаря («Послушайте, любезнейший»), или отставной генерал-аншеф, любимец двух императриц, распекающий своего бурмистра («Экой ты, братец, дурень!»)? Выправка отставного кавалергарда, надменная нога, заложенная за ногу (невольнo ищешь штрипки), густая (хотелось сказать — жирная) седина, широкая кость, могучий баклажан на месте носа (вот он, цвет бордо!) в мнимых ветвящихся трещинках черных прожилок («Родонит!» — вспомнил я свою геологическую вылазку на Урал). Поверх густого эполета зарвавшегося хаму было разъярено, что художник — в особенности молодой! — имеет право на поиск, эксперимент, чтобы в конце концов прийти к простоте, как Борис Леонидович Пастерак, — только «над ухом не дышите». Так однажды высказался Александр Трифонович Твардовский за рюмкой чая в Красной Пахре.

— Но ведь большинство считает... — попробовал всунуться старлей и был осажен сурово, но уже более отечески:

— В искусстве большинство ничего не решает. У нас уже ставили на голосование и Михаила Афанасьевича Булгакова, и Андрея Платоновича Платонова, и Осипа Эмильевича Мандельштама...

Чувствовалось, что он и с ними был на почтительной, но дружеской ноге. Помянув великих, Хранитель Заветов педагогически спохватился:

— Я, конечно, не собираюсь сравнивать нашего скромного автора с классиками, но литературная одаренность здесь явно налицо. Нужно только найти тот шампур, на который можно было бы нанизать эти ломтики — иногда и первосортные.

Орлиный взгляд из-под грозных бровей и снисходительно-шутливое:

— Как же вы с такими нервами собираетесь стать писателем?

Видно, я был чрез меру бледен, хотя в ту пору моя (якобы) плоть еще не распоясалась до приступов удушья и колокольных ударов в звонкое, как сковородка, темя. Но колочение в бетонную стену Простоты и в самом деле может выдержать разве что бетонный же болван, но уж никак не одуванчик.

Благодаря Учителю я попал в список оглашенных (с трибуны и в «Литгазете»). В буфете ЦДЛ я чудом не раскланялся с кем-то невыносимо знакомым — это был Роберт Рождественский. Ощущение было несколько бредовое, а потому я не уверен, что в тамошнем ресторане действительно имеется такая заплетенная деревянным модерном несоразмерная зальчику высь. Порывы кланяться мучительно знакомым лицам я уже прихлопывал в зародыше.

Наш владыка кому-то кивал, как держава державе, кого-то облучал презрением или прозрением (смотрел насквозь). Старлей всех знал — он, оказывается, был заочником каких-то здешних Литературных курсов, что ли, и мог поддерживать беседу с Учителем. Какие-то Ивановы, Петровы, Сидоровы и Нудельманы что-то подписывали и не подписывали, давали отпор или, наоборот, пресмыкались перед Сергеевыми, Алексеевыми, Уверченками и Элиасбергами — и это было та-ак значительно!.. Жуть брала сразу и оттого, что сам

ты оказался на обочине, и оттого, что это, может быть, и есть высшая значительность и другой уже нечего и ждать. Леха — так звали старлея — успел мне шепнуть, что в самые херовые времена Учитель дал взаймы Мандельштаму перед его арестом и произнес охеренно смелую речь на похоронах Платонова. Я гальванически вздрагивал, страстно вождедея, чтобы проводник, ведущий к Мандельштаму и Платонову, обладал и собственной электрической силой.

Леха пыхтел мне в ухо, что у нашего вождя цензура урезала на лист его последнюю, охереть можно, какую смелую книгу: председатель горсовета (читай: секретарь горкома, но я не очень понимал, в чем тут разница) выговаривал «инцидент» и «Рэсэфсэр» и зудел по радио насчет пьянства, а сам квасил на даче будь-будь. Мне удалось и эту новость принять с благоговением. А что, и впрямь неплохо, когда твою книгу урезают! Вот когда совсем не печатают...

Сейчас порядочные люди в литературе — Ракитин, Нудельман и Яковлев, ориентировал нас Учитель на этой сложнейшей местности. Я почтительно внимал, как огонь шапкой прихлопнув еретически вспыхнувшее напоминание, что именно аристократия порядочности более всего тщится заменить собою аристократию таланта.

— Двадцать лет борется за полного Хлебникова,— указал Учитель на отрешенно бредущего между столиками седенького гимназиста. Великие заговорили о великом: какой-то «Метрополь» (не гостиница же?), Феликс Кузнецов, Вознесенский вел себя как сука, удрал в ФРГ, спокойно положил членский билет, не смешивайте меня с этой психопаткой Ахмадулиной,— живут же люди!— Но какой же надо быть сволочью и мудаком! — вдохновенно развернулся Учитель (мы умильно улыбнулись).— Мне Нудельман рассказывал...

— Нудельман абсолютно безнравственный человек,— с бесконечной грустью вынужден был констатировать гимназист.

— Нудельман?.. — Учителя настолько немислимо было вообразить ошарашенным, что я окончательно потупил свою и без того не слишком острую пронизательность.

— Да,— еще безнадежнее поник гимназист.— После встречи с Хрущевым он выступил...

Ну, почему, почему мне показалось мало одной этой выездной сессии интеллигентской инквизиции?.. Но если бы вы знали, как тягостно и нескончаемо сиротство, как хочется слиться со сплоченной безапелляционностью, припасть к простоте и правоте, укрыться от своей же собственной неповторимости... И как мне еще было прикоснуться к Платонову и Мандельштаму?..

Тогда я впервые попробовал запеченного в чем-то карпа, поразившего меня дешевизной, хотя плата всегда кажется мне непомерной, когда за меня платят другие. Но Учитель разом погасил мои поползновения на главенствующую щедрость.

Потом мы смотрели на сверкающую сказку детства — вечерний Кремль и Мавзолей, и — рядом с Учителем — я впервые в жизни почувствовал, что пришел к ним на равных. Учитель открывал нам истины, искаженные карьеристами и подхалимами, и жизнь казалась несложной, а значит, и нетрудной, стоило примкнуть к борцам за Правду. Учитель по-прежнему говорил о великих как о чрезвычайно достойных, но хорошо знакомых людях.

— Владимир Ильич, как человек в высшей степени интеллигентный, понимал, что искусству необходима свобода. Но после его смерти...

Учитель умел не ссориться с тем, что по-настоящему могущественно, то есть свято.

На элегантнейших полках у него стояли Пруст, за которым я безуспешно охотился, Кафка, охотиться за которым я уже и бросил, заграничный Набоков, от которого я как открыл рот, так и закрыл лишь через неделю...

— Кафка не мой писатель,— вынужден был отказать ему в своем благоговении Учитель.— Но он предсказал и Сталина, и Гитлера.— Я проникновенно кивнул, хотя Брехт за это же самое меня когда-то прямо взбесил: Кафка, мол, предсказал концлагеря! Да Кафка просто увидел жизнь без покрывала — это вам, чурбанам, понадобились концлагеря, чтобы вы опять ничего не поняли!

Но здесь я этого даже не подумал. Никогда и нигде я столько не лгал, как в рядах борцов за Правду. Вообще-то обнажать правду в мире физических тел и дел — надругательство над ней и гибель для них. Но я лгал и в мире мнений!

Насчет Пруста Учитель, по-мальчишески плутовато поигрывая глазами, признался, что бросил его на десятой странице. Так куда ж ты лезешь рассуждать — этого стыдиться надо, а не самоумиляться, не подумал я. Меня приводило в восторг и то, что дома он уже не отставной кавалергард, а хороший русский мужик, и что жена у него такая же графиня, как секретарша в журнале, а печет пироги с капустой, и что дом у него роскошен, но не по-хамски, а как у безупречнейшего интеллигента, которому наконец-то воздалось по заслугам. Это был проблеск трусливой надежды, что можно жить в мире с миром — что мир духа и материи может быть заключен не только за счет духа.

Набоков — это штукарство, сурово поморщился Учитель, настоящее мастерство — когда мастерства не видно, да и не может быть никакой отдельного мастерства, если нет Правды, ибо все, к чему лично он всегда стремился, — это писать Правду. Я разыскал его сочинения в Публичной библиотеке, успешно уверив себя, будто я никогда о нем не слышал исключительно вследствие роковой страсти совдепов душить все правдивое и талантливое. Но истинно могучий дар оказался даже им не по зубам: книг в каталоге за ним значилось десятка четыре (не говоря о трех десятках киносценариев: опять зажим таланта, вынужденного добывать пропитание литературной поденщиной). Он действительно писал так, что мастерства было не разглядеть. Я решил считать это толстовской величественной простотой, умело не заметив (я шагал по пути Правды семимильными шагами), что эта величественность лишена величия — толстовского вулканизма, толстовской неподкупности, толстовской зоркости к собственным хитростям, толстовской ненавидящей лупы, направленной на малейший призрак общего места, — здесь именно они и царствовали — либеральный катехизис от Абрамова до Эренбурга. Но это еще что — я серьезнейшим образом вчитывался в статьи Ракитина: благородно, отличный второй сорт советского западничества, много про Учителя как обличителя, — не верилось только, что больше там ничего нет: я предпочитал думать, что это я чего-то не понимаю. Яковлева я подобно нейтринно проскакивал насквозь, прежде чем успевал заметить, есть он вообще или нет. Его я решил считать тонким. Зато что до Нудельмана — тут шарик моего восторга взлетал, сбросив десяток мешков лжи: Нудельман и впрямь голилса в средние публицисты прошлого века.

Учитель обладал и толстовской всеохватностью (громоздил на вполне правдоподобных директоров школ вполне правдоподобных директоров совхозов, бухгалтеров на бригадиров, мильтонов на акушеров), и толстовской надменной избирательностью: как Толстой проигнорировал разночинца, так Учитель не заметил ни единой души, обладавшей хотя бы двумя противоборствующими влечениями.

Зато это было смело — втихоря пускать намеки, что дважды два, мол, все-таки четыре. Я даже ухитрился забыть, что социальная правда — это самая крошечная и простенькая часть правды, необходимой чел... необходимой лично мне. Я повсюду превозносил литературные доблести Учителя, особо подчеркивая его щедрость по отношению к гонимому Мандельштаму. Безупречность, даже чужую, невозможно отстаивать без мошенничества. С какой ликующей зоркостью я выискивал у него мандельштамизмы и платонизмы!

Когда, вытряхнув последние капли из третьей бутылки, мы с Лехой выкатились из сановного подъезда в московскую ночь, в которой, как гусиный пух над Котлованом, витал снег, я упоенно сливался с Лехой (в мире-то внутренней правды ни с кем не сольешься) в нескончаемом дифирамбе: «Писатель — и такой простой мужик!» Каково достоинство! Я пытался разглядеть терявшийся в летучих снегах советско-классицистский фасад Учителя и время от времени тщетно пробовал достучаться до Лехи (контрапунктом твердившего: «Простой мужик, простой мужик»): «Для меня только сталинская Москва останется столицей, прочно лишь то, что усвоено на Механке!»

В порыве доверия к Учителю (в жажде высочайшего одобрения) я признался ему, что мечтаю изобразить тупики мысли, желающей научно разграничить добро и зло — предоставить материи («приборам») суд над своей душой (не это ли самое в тот миг пытался сделать я?), вместо того чтобы открыто провозгласить: «Нравственно то, что мне нравится!»

— Для этого у нас есть голос совести,— насторожился Учитель, недоговаривая, чьей совести.

— Хор совести,— умоляя не быть простым, уточнил я.— Совесть всегда требует тысячи взаимоисключающих вещей.

— Если вы и дальше будете умничать, из вас никогда не получится писатель. Русский писатель.

Я съезжился в страхе Отцовского проклятия.

Последнюю бутылку мы раздобыли у цыганки. Видно, это был щедрый бумажный ком: она все бежала за мной с благодарностями, а я никак не мог врубиться, чего ей от меня надо. В бутылку вбегали стремительные гирлянды пузырьсков, закусывали мы снежным пухом. Леха под фонарем, сдувая пух с листочков, все читал и читал про идиотизм подводной жизни. Хотя я и отключался, но, помню, идиотизмы те были получше тогдашней «правды»: «житуха» — это была кривляющаяся жизнь, то есть игра, а не обличение одной скуки во имя другой. Может, потому Леха так и канул... тьфу, тьфу — надеюсь, не в буквальном смысле. Запрокидывая голову для очередного омерзительного глотка, в слепящем свете уличной Правды я видел лишь толкотню снежинок, за которой уже не было бездны. Я гонялся губами за отдельными кристалликами пуха и понимал, что вот это вот и есть счастье — согласие с миром. Согласие с ним бороться. Уверенность, что и он того стоит и ты имеешь на это право.

Буду справедлив: я сам навязывался в подсудимые к великому Инквизитору. Набивался в друзья к Правде, то есть к апломбу и хамству, явившемуся в мир духа, как оглушенный плеером бухой наглец в коже с заклепками — на вечер бального танца в гуманитарную гимназию. Но мне так хотелось благоговеть, то есть освободиться от свободы и ответственности, что я даже ездил к нему исключительно за собственный счет, хотя командировочных бабок на моей теме было пруд пруди: не хотел осквернять нашу любовь корыстью. И то чувство, с которым я выходил на столичную площадь Трех Вокзалов, смотрел на имперское высотное здание... В силах ли человеческих держаться ни на чем?

Утоляя бессознательную жажду паломничества, я верст десять брел пешком к имперски импозантному зданию, откуда мне по-доброму кивали грустные тени Мандельштама и Платонова. До сих пор наваливается тоска, когда вижу сталинские дома нашего Московского проспекта: снова утраченная любовь, снова безвозвратность... Боже, как я любил пышную лестницу, возносящуюся к грандиозной прихожей с потолком такой вышины, что его было видно лишь в ясную погоду, меня умилял роскошный уют кухни с рубиновым батискафом абажура, в застывшем отсвете невидимого камина все было такое наше и вместе с тем иноземное либо исчезнувшее: как бы фамильное серебро вилков, продолговатые зеркала ножей с серебряными же, рельефными (Бенвенуто Челлини), тяжелыми, как молотки, ручьятками, прилегшие рядышком на серебряные козлы из Страны лилипутов... Надо было набираться благоговения перед долгожданным разносом, и я, как перед боем или хирургической операцией, смотрел в глаза фотопортретам: Мандельштам, Платонов, еще Платонов, Пастернак, снова Мандельштам, Гроссман, которого я тогда не знал,— я воображал, что это дары оригиналов, тем более что здесь же в шкафчике томился целый табун дареных коней: Федин, Эренбург, Паустовский («Слащав!»), Симонов («Отважен!»), Гамзатов...

Я гордился, что Учитель брезгует и номенклатурным Переделкиным, довольствуясь дачей в Красной Пахре — огромным и совершенно крестьянским бревенчатым домом, лишь внутри ставящим тебя на место элегантною и комфортом, что он чуждается и номенклатурной «Волги», разъезжая на «Жигулях» какой-то страшно демократической модели.

Свобода выставлялась лишь для полковников подобно табличке «Только для белых», на изнанке которой незримо значилось: «Наших не трожь, мы с ними сами разберемся», — внутри царила жесточайшая дис... — нет, дисциплина царила у них, наблюдавших в отличие от нашей инквизиции только за физическими поступками. Суждение нормального казенного редактора — «Таким сюда нельзя», суждение нормального писателя — «А все-таки ты недостаточно на меня похож!», суждение нормального хранителя Правды — «Ты сволочь». А вдруг я и вправду «центропуп», которому начхать, что делается кругом? Но почему тогда мельчайшая победа скотства (но только над духом, над духом — вот в чем мое преступление,— а не над другими людьми физического труда!) повергает меня в безжизненнейшее отчаяние, а в его громах по поводу самых чудовищных злодеяний всегда чувствуется некий аппетит, как после доброй стопки очищенной перед ломящимся от закусок дубовым столом? Я не задумывался над этим, то есть не защищался, потому что его разносы — это была наша совместная игра в добряка-самодура, а даже и настоящий самодур куда человечнее, чем принципиальный человек, этот локомотив, молотящий по чужим рельсам, в отличие от Собакевича, даже и не интересуюсь: «Не беспокоил ли я вас?», — а еще требуя благодарить за отрезанные ноги. Если только это не ноги его приятелей — их он с неподражаемым изяществом перепархивает, на миг обращаясь в надутую модель себя самого. И снова молотит в рельсы неутомимый чугуун, пока не догремит до Ракитина (он не разобрался), до Нудельмана (беспартийного еврея не взяли бы на радио), до Яковлева (он страшно раскаивается), до Пушкина (мы не можем судить гениев), до Федина (он не злой — просто трусоват: Федин помог с четвертым изданием самой смелой книжки Учителя). У него всегда была наготове льготная колода для тех, с кем он не желал ссориться.

Не будь игры в самодура (отгрохотав, Учитель немедленно обращался в добродушного, хлебосольнейшего помещика), меня бы сразу ужаснула эта беспощадность: если бы с такой едва прикрытой ошметками достоинства мольбой ко мне обращался растлитель и убийца пятидесяти трехлетних девочек, я и ему не смог бы отказать в участии. А ведь мое ощущение мира как безумно прекрасного и безумно отвратительного Хаоса... — ну, пусть, стараюсь освободиться от этой переполненности, я даже и согрешил перед Священными Заветами Русской Литературы, но ведь никого же не зарезал, не обокрал, не оскорбил в конце концов! (Как сразу у меня замелькали заслонки из мира физического!)

— Что мы знаем о мире? — Снова поймав себя на умничанье, я перескакивал на искательный тенор: — Представьте (ведь вы так умны, стоит вам захотеть!) бесконечные ряды окон — в одном целующаяся пара, в другом дерущаяся, в третьем ватерклозет, в четвертом Сикстинская мадонна, в пятом гремит Бетховен...

— До чего вы любите красоты — «Сикстинская мадонна»! «Бетховен»!

Хорошо-хорошо, пускай будет в третьем ватерклозет, в четвертом вдова, в пятом партсобрание,— какую здесь можно усмотреть закономерность, особенно если окон гораздо больше, чем у нас времени в них заглядывать? Вот, кажется, ты ее поймал, но глянул в следующее окошко — и маска Хаоса снова рассыпалась, как картинка в перевернутом калейдоскопе.

— Все выя...сь. Умничаете. А литература — это боль!

Насчет умничанья он был безусловно прав: мир ему виделся до того простым и ясным, что еще как-то рассуждать о нем можно было только ради выя...ния. Я уже почти осознал, что Учитель не прочел именно ни одной серьезной книги, все свои познания черпая из бесед с Ракитиным и Нудельманом. Поэтому он был абсолютно точен, считая своих приятелей великими людьми, а я не мог ему признаться, что все «потрясающие» (раскат грома в голосе) их открытия — давным-давно известные общие места: ведь дар делался от чистого сердца.

Но когда мне отказывали еще и в боли, было почему-то обидно,— ведь с болью можно складывать и что-то вроде коллекции: малахит оттуда-то, изве-

стняк отсюда-то... А в моей коллекции — консервная банка, стон, обломок кирпичика, будильник, алмаз...

— Надо показывать, как живут люди! Обыкновенные люди! И цитаты нужно убрать. Очень уж вы хотите образованность свою показать!

Так ведь чужие гениальные строки и играют роль драгоценных камней — среди лама они вспыхивают такой отчаянной значительностью, какой сами по себе они никогда...

Но это было слишком драгоценно для меня, чтобы произнести вслух: на очередную смазь могло вдруг подуматься, что Отец мой — самодовольный индюк, и тогда конец моему усыновлению (а каким еще неблагодарным подлецом я себя буду ощущать!). Я уже и так с трудом удерживал бунтующую магму: у меня мало событий? — для глухого событие — только пушечный выстрел; нет шампура? — а я никого не собираюсь ни съесть, ни проткнуть; подчинить себя «сюжету»? — внести несвободу уже и в этот последний уголок, где мы хоть чуть-чуть можем передохнуть от разнузданного насилия трамваев, стен, денег, партсобраний... Спасибо, Учитель, вы открыли мне, что у искусства два врага — ложь и правда!

— Аксенов спрашивал Александра Трифоновича: «Почему вы нас, молодых, не печатаете?» — Предгрозовая зарница усмешки сменяется мудрым прищуром — Аксенову отвечает уже сам А. Т.: «В тридцать лет надо иметь...» — в общем, надо взрослеть, только параметр взросления был указан очень специфический.

Над ворочающимися под хрупкой корочкой фальши стихиями лучше было вовсе не вступать в объяснения: не угадаешь, где прорвет. Не признаваться же, что мечтаешь вовсе избавиться от «правды» — от того материального сора, который полезен в протоколе, но в искусстве лишь скрывает главное — значение предмета. Перечисляй сорта ткани, цвета металла, параметры многоугольников — и будешь только все глубже погребать под этим мусором то единственное, что солдат схватывает одним взглядом: подполковник. И я тоже не складываю облик из частей, а разом узнаю: Учитель. И не суйте мне родонитовый баклажан — взятый в отдельности, он мне только мешает. Не «описание», а разве что намек может случайно вдруг да отозваться — через столкновение вроде бы случайных образов, через интонацию, звук твоих слов, через их текучесть, прыгучесть, сыпучесть, через округлость, шероховатость или угловатость фразы, — в такой ереси (измене Правде) я не посмел бы признаться и в пьяном кураже.

Псевдоеврей оставлял от моих опусов, пожалуй, еще меньше, чем Учитель, но там у меня оставалось чувство, что я взялся за что-то большое и невозможное, здесь — за маленькое и ненужное (хорошо еще, если не пакостное).

Я всегда боялся думать о чем-нибудь настойчиво, то есть по-хамски, а теперь еще и Учитель беспрерывно уличал меня в том, что я совсем «не сомневаюсь». Хотя я даже и тогда напоминал ракушечник скопищем ушей, наострившихся навстречу любому случайному слову, а чтобы произнести слово самому, я прочитывал минимум три книги, но не защищаться же мне было от Правды! «Защищаться» — это из лексикона скотов: в мире духа нет борьбы — есть лишь взаимное обогащение. Мой Учитель всегда бил настолько мимо, что на одно лишь уточнение терминов ушло бы не меньше получаса, а мне отводилось самое большее — четверть минуты. Учитель имел в виду, что я не сомневаюсь в ценности своих опусов, тогда как я был убежден, что они почти никому не нужны, — мое преступление заключалось лишь в том, что я держался за это «почти». Но я уже и всюю сомневался, правильно ли я их сочиняю, то есть уступал нахрапу: Ракитин и Нудельман лучше меня знали, в каком месте чешется моя спина, Яковлев точнее чувствовал, чем мне освободиться от переполненности, от многозначительных намеков мироздания, от перемигивающихся мыслей и предметов.

Но теперь они почти не перекликались, задушенные слоем дуста, в который обратился тот опойтельный московский снег. Склонивши голову, как вол (кастрированный бык), я наконец взялся за еще одну серьезную (лежащую)

башню — начал наконец писать из той жизни, которую «хорошо изучил». «Неужели у вас в науке нет проходимцев, чинодралов, демагогов?» — срамил меня Учитель — увы, в них не было недостатка, но почему-то даже рядовой скотный двор и то вызывал у меня больше творческого зуда. Скоты из людей были, может быть, еще проще? Я наконец узнал, что такое творческие муки — без кесарева сечения не выпростался на свет ни наивный труженик, ни талантливый честолюбец, ни целый выводок близняшек-проходимцев, — вольность я позволил себе только одну: задался вопросом, что же все-таки дает нам силу жить, дышать, смеяться, вдохновляться среди этого навоза?

У меня не хватило духу до конца вскрыть невыносимость советской жизни, изблещил меня Учитель, похрупявая маринованным огурчиком, но в целом одобрил: мне удалось изготовить почти заурядное изделие с трясучими щечками, пустыми штанами, говорливыми тещами, не имеющими значения разговорами («У вас строчки почти не начинаются с тире», — указывал Учитель). «Попробую двинуть вас в «Новый мир», — вынес вердикт с подтекстом Учитель, — к сияющим вершинам Ракитина, Нудельмана, Яковлева из тусклых низин Толстого, Достоевского, Томаса Манна, Чехова, Бунина, Герцена, Фолкнера, Сартра, Камю, Байрона, Шиллера, Набокова, Стерна, среди которых я был вынужден томиться на обочине жизни.

Зато как завзятый борец с Неправдой я срывал справедливость на слабых: не смея поднять руку на Отца, я почти возненавидел отца. Выйдя на небогатую пенсию, он решил считать самым значительным делом — если бы только своей жизни! — то простое, зато бесспорное обстоятельство, что он ни разу в жизни ничего не украл (слабенькие карьеристические его притязания были вполне умиротворены убежденностью, что в России пробираются в начальство только дураки).

Как ужасны трибуналы, творящие суд над бесконечно параметрическим миром по единственному параметру — какому угодно: «доход», «порядочность», «чин», «честь»... Как чудовищны люди, чье единственное достоинство заключается в чувстве собственного достоинства (кыш, кыш, из бесстыжей памяти величавая тень Учителя)!.. Устроившись на обновленной Механке в блочном параллелепипеде хрущевской пятиэтажки — фрагменте лежащей Вавилонской башни, сигнал об окончательной сборке которой, надеюсь, так никогда и не грянет, — отец уселся за череду мемуаров о великих творцах и с облегчением убедился, что он порядочнее их всех: Пушкин пил, играл, писал для денег (а не для пользы дела, как отец свои квартальные отчеты), докатившись в конце концов до того, что даже сам читал свою жизнь с отвращением; Толстой тоже уверял (а ему лучше знать!), что не было такого преступления, которого бы он не совершил; Достоевский от еле живой жены завел любовницу, не хуже Пушкина продувался в рулетку; Чайковский... — я собирал все силы, чтобы не перейти на рычание: «Гений не подлежит суду ничтожеств!» — перекусывая язык на концовке «вроде тебя».

Доброе отцовское лицо озарилось предвкушением скромной победы: «Почему ничтожеств? Людей». Да «просто люди» — это слизь, сор, пустая порода, которая стоит ровно столько, сколько в ней алмазов, — хотелось мне вопить, чего я вовсе даже и не думаю, не свожу мир опять-таки к одному измерению. Но от столкновений с Правдой, вминающейся в меня уже сквозь любимых, я возвращался из родимого дома настолько больным, что моя богоданная мама прямо терялась: неужто меня нельзя пускать уже и к родной матери? Увы, на том помосте, где вечно закусывает и резвится торжествующая материя, не замечая, что под досками корчатся ее полураздавленные выкидыши вроде меня, — на этом пиршестве и моя родная мать держала скромное местечко. Материнское сердце, как я ни бодрился, чуяло мою истерзанность (отец-то, пока не захрипишь, не прервет перечня свинств лорда Байрона), а потому то и дело пыталась меня накормить, прерывая на полуслове, — шлепала по лицу жареной уткой, нахлобучивала на голову сковородку с блинами, выплескивала в глаза кастрюлю с компотом. А потом я еще месяца три чувствовал себя сволочью за то, что вместо благодарности испытываю боль.

Учитель был снисходительнее отца — он не претендовал быть лучше Пушкина, он великодушно протягивал ему руку, давая место между Нудельманом и Ракитиным. Он щедро наделял гениев добродетелями до того дюжинными и правильными, что хотелось завыть. (Борьба за Правду — и она тоже бунт дюжинности?) У Пушкина я должен был учиться скромности, умению терпеливо сносить критику, у Достоевского — вниманию к нуждам «простого человека» (его благополучие — мера всех вещей), у Толстого — простоте, у Мандельштама — гражданской смелости, у Платонова — правдивости... Ууууууууу!..

Но два зазубренных крючка — Мандельштам и Платонов — неотторжимо сидели в моих внутренностях (брр, мерзость, но так мне и надо). А уж как в них въелись неосмотрительно проглоченные пироги с капустой!.. Я, конечно, тоже старался изо всех своих малых возможностей — несколько раз даже унижался до очень слабенького блата, чтобы достать Ему лекарство (великий человек — и совсем как мы, наворачивались слезы умиления), но прочь этот сор: за одиножды протянутую руку помощи расплатиться нельзя ничем и никогда.

Благодаря упоминанию в «Литгазете» меня — что пошампуристей — печатали несколько раз подряд, под кирпич «проблемной повести об ученых», вокруг которого порхал летучий калейдоскопчик прореженных осколков, в солидном издательстве со мной заключили договор на книгу («малый народ» моих ценителей повсюду вел разлагающую деятельность), в кулуарах меня начали хвалить даже дураки — отчего могучие седые мхи Учителя напоздали на самые глаза: «Вы слушайте тех, кто вас ругает, а не тех, кто льстит». Да кто я такой, чтобы мне льстили? А ругали меня теперь лишь окончательно партийные долдоны, отчего подземный рокот только нарастал: Учитель считал, что я нашармачка пытаюсь пролезть в избранное общество гонимых. «Да про вас все говорят то же, что и я! И Нудельман, и Ракитин, и Яковлев!» От чужих отвергалось и «большинство», а секта своих — это и были все. Но почему я должен был слушаться именно его, если, угождая ему, я терял любовь моей светлой зыбкой музы? Правда, она пыталась искать оправдание даже моему переходу на производство кирпичей: конечно, нужен паровоз, чтобы втащить в книгу стайку сверкающих мушек, — но все ниже и ниже спускались уголки ее губ, вычерченных с таким изумительным изяществом, что мне никак не удавалось взглянуть на них прямым взором. Я тоже оправдывал ее тем, что она еврейка, а им труднее отказаться от Поэзии во имя всенародной Правды, как это завещала Святая Русская Литература.

Вот только душеприказчик Святой Литературы никак не желал меня пустить в нее дальше порога... Поэтому, когда меня обругала «Правда», я струхнул лишь в самый первый миг: ведь слово «сумбур» роднило меня аж с Шостаковичем! Я отказывался видеть, что сумбур — намек на то, что и он может чего-то не понимать: Учитель ненавидит куда интимнее, чем обкомовская свора, которая лает больше по обязанности. Тех, кто успел просочиться, Учитель еще соглашался пустить в Пантеон, но так, чтоб другим было неповадно: вы что, считаете себя Шостаковичем? Хлебниковым? Фолкнером? Да русский ли вы писатель?! Чем неподсуднее возноситься Юпитеры, тем неукоснительнее загонялись в стойла быки. Так что совершенно зря я собирал вырезки многоступенчатого эха, прокатившегося по ленинградской прессе от московского окрика (обо мне говорилось аж во множественном числе: «Наши доморощенные Джойсы»). Однако я прихватил к Учителю даже расторгнутый издательский договор, жалея, что не могу приколоть к этому ходатайству на допуск (к Ракитину и Нудельману) устный доклад второго секретаря обкома, где мои публикации были названы ошибкой (об этом мне рассказал еще больше спавший с лица мой покровитель-псевдоеврей, не попрекнувший меня, однако, ни полсловечком — к недоброму удивлению моей музы: значит, он вас действительно любит, он человек все-таки литературный).

Именно тогда я впервые едва не обиделся на Учителя: меня били, а он гремел, что я недостойн битья: «У вас же ничего нет!» Если бы можно было видеть наши души: я суетливо, как пенсионер в исполкоме, раскладываю перед

начальством ветхие бумажонки, а оно, не глядя, смахивает их на пол. Я кидаюсь на карачках подбирать единственные свои ценные бумаги, умоляюще протягиваю с пола: вот, вот, смотрите, в «Ленинградской правде»... — а в ответ рык: «Подотришь своей «Ленинградской правдой»!»

Но вовсе не «Ленинградская» Правда в полгода поставила меня на четвереньки — Ложь не сумела бы этого и еще за тридцать лет. Это перед Правдой я изнемог до того, что начал держаться за материальные знаки — за капитанские погоны разбежавшейся армии, за чучело издохшей любимой кошечки, за обмякающий миф, что Учитель меня «поддерживает». Надмирная Правда давила материей — величавой осанкой, брезгливой миной, благородными сединами, заоблачными знакомствами, премиями, дачами, автомобилями, Домами творчества и прочими престижными привилегиями, полученными из рук как бы принужденной к этому Неправды. Монополия на Праведность — страшно могучая штука: слуги Лжи не смели и мечтать о невозможном для них слиянии Могущества с Праведностью, тогда как праведники совершенно открыто негодовали на недостаток могущества. Наш главный редактор явно лебезил перед Учителем, когда столичный гость своей сказочно выделанной, тигрино перетекающей дубленкой с барственным шалевым воротником осветил разом обнажившуюся провинциальность мраморных каминов и лепных потолков ленинградской редакции.

— На Ленинскую премию хорошо шли Гранин и Адамович,— несколько свысока повествовал Учитель о небезынтесной все же муравьиной суеде его подсудимых. Ни перед каким начальством мое сердце не трепыхалось таким собачьим хвостом, когда я лакейски рассчитанным жестом верного ученика и одновременно доброго знакомого протянул руку посланнику небес. Первым импульсом Главного было не заметить меня, клейменного «Правдой», вторым — сунуться с егозливим рукопожатием ко мне, любимцу Правды, третьим — ускользнуть подалее от этих сложностей. Взглянуть на мой апофеоз в комнату как бы случайно заглядывала редакционная плотва. Вплыла и графиня — взгляды двух этих воплощений достоинства столкнулись с грохотом ледоколов.

Учитель бегло сортировал для моего сведения членов редколлегии только что поднесенного ему номера: «Это приличный человек. Мудак. Мудак. А это полная мразь!» Ну что я могу поделывать, если меня коробит от таких слов!

Я заметил Учителю, что к его бобровому воротнику полагался бы и дождающийся на улице кучер с медвежьей полостью, — у нас была принята шутиливость по отношению к лицам и патетичность — к убеждениям, хотя следовало бы наоборот. (Убеждениям полагалось оставаться неукоснительными, как напознание глетчера, своей неизменностью они должны были сблизать человека с неодушевленными предметами, а не удалять его от них.) Учитель озабоченно посетовал, что некоторое время держал шофера, но это было мучение, ибо каждое утро приходилось придумывать, куда бы еще съездить.

И тут, едва заметно зыблясь, вошла моя светлая муза. Как всегда в ее присутствии, мною на минутку-другую овладел приступ немоты (я немел, чтобы не заикаться), а потом... Мне так безумно хотелось, чтобы они полюбили друг друга (главное — она его, которого считала советским писателем и губителем моего неокрепшего таланта), что я, может быть, и впрямь допустил некоторую суетливость: что нам еще остается в присутствии существ неземных! И как обойтись без фальши, имея дело с праведниками, — это под ее корой я впервые не съезжился от жалости, когда к нам на полусогнутых пришаркал совсем сдавший псевдоеврей. Руки его были и радушно к нам простерты, и слегка разведены в некой умильной обезоруженности: а еще, мол, болтают о каком-то конфликте поколений! Но тигринный взгляд Значительного Лица надменно смотрел мимо, а пальцы оледенели на подлокотниках. Он не подал руки. По лицу Акакия Акакиевича рябью под порывом ветра стремительно пробежало выражение несколько идиотического перекошенного ужаса. Я подхватил его слепо шарившие в пустоте руки, словно они мне и предназначались, и преувеличенно затряс, стараясь утопить недоразумение в суматохе.

Учитель неподкупно каменел. «Мужики, война уже кончилась?» «Да уж лет двадцать». «А мы все эшелоны под откос пускаем...» Я пожал руку мерзавцу, который в начале 30-х преподлейше повел себя в деле «Литературной газеты»: Антон Антонович Дельвиг самым достойным... Ваш друг у Бенкендорфа наложил полные... Вы так недавно вступили в литературу и уже... Ваша репутация... Ракитин мне рассказывал, что в том же самом номере... Вам нравится соседствовать с черносотенцами?..

Что было отвечать, если бы даже Учитель оставил хоть щелочку между своими отшлифованными дубовыми паркетинами? Что я не хочу соседствовать со скотами даже на одной планете? Что я не спрашиваю, с кем всю свою жизнь соседствовал сам г-н прокурор, ибо слишком хорошо это знаю? Что Ракитин мне не судья, а в любящих глазах моя репутация альпийски белоснежна — я бываю разве что слабым, но никогда не подлым, как, вероятно, и каждый в скафандрах друзей, которые так же правы, как и не правы? Что руку я подал старому человеку, от которого не видел ничего, кроме добра? Что, кроме долга возмездия, есть долг благодарности и долг милосердия? Что «мерзавец» может быть глубоким и сложным, а «благородный человек» только на то и годится, чтобы из-под полы торговать дефицитом вроде « $2 \times 2 = 4$ »? Что, если бы не моя любовь, я, как те же «дважды два», доказал бы, что и сам посланник Правды — самодовольный гусак и тартюф, который для своей компашки всегда держит черпак повместительней: своих судит по плюсам, чужих — по минусам, своих — по намерениям, чужих — по результатам? Что в мире духа суд бывает лишь неправедным — попыткой части говорить от имени целого, выдать свой сектор обстрела за полное мироздание? Что разборки, в которые меня втягивают, всегда представляются мне настолько микроскопическими, что я ну никак не могу отнестись к ним всерьез? Что незаметно подложить «порядочность» на место таланта — это такое шулерство, в сравнении с которым все Бенкендорфы...

Еще немного — и я подумал бы это вслух, то есть про себя: леска обожания Мандельштама—Платонова и тросик любви к Учителю пели от перенапряжения, как гитарные струны. Последняя соломинка, переложенная Учителем из собственного глаза на горб ближнего? Нет, я все больше и больше обалдевал от полного отсутствия запальчивости, от какой-то плотоядной неторопливости, с которой он зачитывал вон, оказывается, какой длинный (а я-то думал, мы любим друг друга) реестр моих пакостей. «Вы не должны обижаться, — басовито мурлыча от удовольствия, приговаривал он, — я говорил правду и Эренбургу, и Симонову, и Расулу (в деле Солженицына он вел себя как подлец) — и у меня с ними сохранились нормальные отношения (Боже, и это у них — нормально!)», — отдавал он должное своим охотничьим трофеям, развешенным над его камином. И, торжествуя, завершил: смотреть, как вы заискиваете перед этой редакционной дамой, тоже было в высшей степени неприятно, — в ипостаси кавалергарда он обожал подобные выражения, несколько как бы даже французские.

Можно ли что-то выяснять, когда вместо того, чтобы посмотреть в глаза, тебя бьют по яйцам? Спасибо, если он продолжал меня избивать, потому что я и сам изо всех сил обезболивался головой об асфальт. Может, тогда-то, в конвульсиях, я его и зацепил (признался, что дело писателя неизмеримо более сложное, чем блюсти достоинство? Назвал Ракитина пошляком? Яковлева пустым местом?) — помню потрясение в его голосе: русская литература учила скромности, вы начинали скромно, теперь ваш ничтожный успех вас несет... Да вернется к вам разум, — надтреснутым голосом раздавленного горем отца предоставил он меня моей безнадёжной совести.

Мой ужас был так беспределен, что я не помню ни улиц, ни прохожих — лишь офонаревший лохматый снег, ниспадавший в грязь и сам становившийся грязью. Но когда я до конца осознал, что меня наконец настигла настоящая гибель — а бежать в смерть было еще позорнее, чем быть извергнутым из ордена праведных, — я понял, что надо защищаться. Носители Правды — скоты духа — непременно поставят тебя на четвереньки — пресмыкаться или бодаться с ними. Но пытаться обойтись совсем без скотства — не есть ли и это горды-

ня, попытка части заменить собою целое? Отстоять свою правоту можно лишь ложью, и я взялся за ложь сознательно, как за винтовку.

Может, шеф и советскую власть обличает с той же глубиной, что и мое отношение к музе? Да он просто ненавидит меня за то, что я так до конца ему и не покорился. Он ненавидит непокорность. Пока он ополчается на начальство, потому что оно свободнее других. Но, когда свободными станут все, он возненавидит весь мир. Его влечет ремесло палача, а в Правде он ищет лишь союзника, с которым можно пытаться и казнить без собственного зазрения и чужого протеста. Я понимал, что истинная вина Учителя лишь в том, что он отверг мою любовь, но бил и бил: ты хотел меня уничтожить — так лопай сам! Я вспомнил двадцатьеро сверх того, о чем успел здесь упомянуть, я приказал себе: он мне гадок, он лжив, туп, самодоволен и недаровит — и он сделался таким! Я и поныне держу его закованным в этом обличье: я знаю, что при малейшей моей слабости он пожрет меня без колебаний, ибо он прав, а я не прав. Ибо Правота есть форма духовного скотства, и мне до него, надеюсь, еще далеко. Хотя он и заставил меня вкусить соблазнительную сладость негодования и презрения (к нему) — теперь я чураюсь их как чумы, нет — как блевотины, ибо теперь для меня нет ничего омерзительнее, чем негодовать с аппетитом.

В раннюю перестройку он тоже замелькал было в череде экс-гонимых, восстановил все пятьдесят страниц, выброшенных цензурой (оказалось, он раньше Федора Абрамова написал, что колхозникам нужно платить за работу), призвал к покаянию, к очищению от лжи, к поискам дороги, ведущей к храму, но, когда вместо Правды и Лжи понадобилось что-то понимать в таких подробностях, над какими титаны мгновенно погружаются в сон, он вынырнул на экран лишь однажды — уже с тем, что не дело писателей вмешиваться в политику. При этом нынешнюю свободу он крыл уже без тех ужимок благородного гнева, который исторгала у него тирания. Возможно, моя ложь была не так уж далека от истины. Но мир «художественной прозы» уже давным-давно стал для меня такой прозой, что, наткнувшись недавно на папку с моей проблемной повестью, я даже не посетовал на отсутствие камина — с нее было довольно помойного ведра. Правда снова победила.

Когда-то я был мастер «тискать романы»: под военкоматовским крылечком я плел пацанам вдохновенную околесицу с одним и тем же финалом — герой, всех одолев и всем завладев, отрекался от богатства, от трона и уносился в ночную тьму на верном скакуне. «Конец дурацкий», — недовольно констатировала подсаживавшаяся к нам майорская жена, парадоксальная толстуха — крючконосая, тогда как толстухам полагалось быть курносыми. Она стала приглашать меня к себе домой, заказывая истории с умными концами, а в благодарность закармливая халвой, куда я не возненавидел и халву, и сочинительство: в тот раз победила Ложь.

Но это было малозначительное мое поражение: порыв был слабоват. Значительность человека определяется размерами катастрофы, которую он терпит в столкновении с материей, так что своим ударом о Правду я почти доволен.



Владимир ПУЧКОВ

Морозный узор языка

* * *

Окна не загораживай, не стой
В дверном проеме смутным силуэтом,
Покуда называют темнотой
Пространство, не заполненное светом.

Чтоб и случайный жест не преломил
Луча прямого дымчатое жало,
Чтобы тебя никто не обвинил,
Что тень твоя, как тьма, на всем лежала!

* * *

Столько бы света и воздуху не снести,
Если б Господь не разжал золотую десть.
В прах рассыпаются — не удержать в горсти,
Каждый листок, а по сути — благая весть!

Колко, как в детстве, идти по сухой стерне,
Так и сегодня следовать за тобой!
А в коридоре, где яблоко на скамье,
Холод стоит, словно штоф с винтовой резьбой.

* * *

Глубокое утро. Сквозные осенние своды,
Сквозная вода и младенческий лепет свободы
Ветвей вознесенных, и осени сенью высокой
Накрыты холмы и низины с шершавой осокой.

А воздух прозрачен, а в воздухе четкость приказа
И капля блестит, как зрачок ястребиного глаза,
Куда она смотрит пронзительно так и глубоко,
Из густи ветвей и листвы, поредевшей до срока?

* * *

Пение птичьё горит насквозь,
Словно в лесу ледяная пыль,

Мир преломляется вкривь и вкось
Крыльями вьющихся дрозодил.

Что там творится, какая мгла?
Как она блещет, ломая край?
Зрение, острое, как игла,
Ставь на начало, еще сыграй!

* * *

Ночного мороза железная дверь,
Ломается снег, словно хрупкий сорбит,
Лишь тень за тобой, как прирученный зверь,
И воздух на сломанных пеглях скрипит.

Как в бездны ума, погружаемся в ночь,
В провалы сознания, к корням языка,
Где бродит, как брага, молчанье,— не прочь
Отведать и мы дрожжевого грибка.

А света с избытком хватает и здесь
Боярскую шубой, горячей, как печь,
Укрылся поселок и, кажется, весь
Земной окоем — можно душу испечь!

Славянскою вязью сплетается сад
И хлопя густы и недвижны, пока
Не знают: зачем они в небе висят?
Не лечь ли в морозный узор языка?

г. Владимир



Чушь собачья

ПОВЕСТЬ

*Слово «авоська» придумал Ласкин.
(Из достоверных источников.)*

«Какая затянувшаяся вязка!» — подумал Сергеев и заглянул под стол. Собаки пребывали в каком-то странном оцепенении. Смотреть на них было тревожно.

— Черт возьми, да занимаются ли они, черт возьми, любовью, да делают ли они в конце концов, что от них требуется?... Да он разорвет ее всю, проклятый кобель! И где он научился такому, где он мог это видеть? Хозяин невзрачный, маленький...

И кто ему в клубе рекомендовал именно этого кобеля, лучше милой, ласковой Тикси оставаться девочкой, чем такое!

Уже мысленно Сергеев ненавидел приплод, способный, правда, в результате этого кровавого злодеяния принести ему немало денег, но черт с их приплодом, клубом, деньгами, он любил Тикси больше детей, больше жены.

Она не беспокоила, не раздражала, она ждала и встречала, она узнавала по шагам, она была нетребовательна, так, немного воздуха, чуть-чуть прогулки — обнюхать собственные следы, кружась на месте, а потом вернуться к дому, где он уже ждал ее, как всегда слегка озабоченный, понурый. Что они делают там под столом?

Кружась вокруг пребывающих в оцепенении собак, он по-бабьи стонал и матерился. Ах, да если бы раньше, мать, мать, он бы ни за что, но они же, мать, мать, говорят — без этого нельзя, собаки, как люди, она умрет от тоски, мать, мать, лучше от тоски, чем от лап этого безумного кобеля. А вдруг он застрял?

Сергеев бросился под стол, мысль, что собаки могут укусить, не занимала его, он должен разъединить их, нет на свете такой случки, которая длилась бы столько времени, никто не предупреждал его об этом. Да это скорее спровоцированное убийство, спровоцированное им, Сергеевым, без согласия бедной Тикси. О, люди, люди, мыслящие существа, о, Сергеев, какой же ты идиот!

Он уже знал, что скажет Мила, когда вернется. Ничего не скажет, только толкнет Сергеева с отвращением кулаком в лоб и так посмотрит, так посмотрит! Сергеев представил себе этот взгляд. Нестерпимо воняло псиной. Тикси лежала под кобелем как мертвая.

— Держись, Тикси, — хрипел Сергеев. — Держись, моя девочка.

Потом побежал за мылом.

Оно плясало в его руке, как живое, когда он несся из ванной обратно в комнату под стол. Мокрое, его почти невозможно было удержать.

Через несколько минут мыло сделало свое дело. Собачья связка распалась, и никто из них не мог понять, что же, собственно, произошло — ни Сергеев с обмылком в руке, ни собаки, обалдевшие от сергеевского вторжения, не способные даже сопротивляться, застигнутые врасплох в самый счастливый момент своей жизни. Так до конца жизни они и не поняли, что с ними сделали там, под столом, так и не сумели оценить всю силу человеческого интеллекта. Помнили только, что восторг сменился ужасом и наступила пустота.

Через несколько месяцев Тикси родила семерых, а на восьмом чуть не истекла кровью, но все же уцелела. Восьмой родился мертвым.

Часть первая

«Великих среди нас нет,— подумал соавтор № 3.— Мы не великие, кто же мы? Я еду вместе со всеми, спустился по эскалатору, втиснулся в вагон и теперь еду в общей куче. Ах, неужели это важно? Подумаешь, он едет в толпе. Какой стороной души ты говоришь с людьми, мой друг, вот что важно, какой стороной души?»

Я еду в толпе. Все — это я. Самое некрасивое в толпе — это я. Да, да, вот этот, в габардине и велюре, строго выглаженных брюках, в свитере таком нежном, что одно прикосновение к нему вызывает дрожь, и есть самое некрасивое. Потому что фраер, богема с отполированными ногтями, потому что все только себе. Художество, а не человек. А если меня поддеть и испачкать? Вот так зацепить авоськой с рыбой или залить ненароком сметаной? Если меня отметить соусом и бытом? Вернуть с небес. Подметки оторвать, как бы нечаянно наступив,— интересно, вопил бы я или смирился? Расстроился или нет? Конечно, расстроился бы, наверное, и пошел бы себе прочь сконфуженный и жалкий. Графиня Марица, позвольте жениться. Марица — жениться, не слишком ли простая рифма? Она может прийти в голову каждому, только не каждому придет в голову заниматься той галиматьей, которой ты занимаешься. Графиня Марица, позвольте жениться, и я очастливилю вас навек. Вот убожество так убожество, а там и рифма «навек — человек» появится, куда ей еще, бедной, деться? Да, да, это не так просто — ездить в час пик в метрополитене.

Твоя жизнь предполагает кабриолет, карету, элегантного скакуна, машину, наконец, пусть не «Победу», черненький «рено», удобство предполагает твою жизнь. Не мечтай, Алексея Толстого из тебя все равно не получится. Втиснулся и стой. Все равно теплей, чем на улице. Какой стороной души ты говоришь с людьми, мой друг, какой стороной души?

Работяга напротив смотрел на него недоброжелательно. Захотелось отвернуться, но он не был уверен, что в него не упрется еще чей-нибудь ненавидящий взгляд.

Он представил себе, что было бы, окажись с ним рядом сейчас Даша или хотя бы дочь — обе юные, в том полуобморочном возрасте, который возносил их на необыкновенную высоту, что было бы, увидь их рядом с ним недоброжелатель? А ведь тоже мужчина, тоже страждет и требует любви. Ему не объяснишь, что печенка побаливает, сердце пошаливает, в желчном — камни. Он ответит: у меня свои болячки есть, но почему вокруг тебя весна, а я бобыль бобылем, чем ты лучше? И это аргумент, и точнее не спросишь. Ты начнешь что-то мямлить, мол, не стоит обращать внимания, вам тоже еще повезет, запутаешься, сконфузишься и вылетишь из вагона на ближайшей остановке, вышибленный хмурым гражданином коленкой под зад — для большего позора, ради торжества перед юными спутницами. Но сейчас-то их нет рядом, а тип этот смотрит и смотрит.

С этим надо было решительно что-то делать, но не успел он приблизиться к недоброжелателю, как тот уже был рядом.

— Слушай,— обратился недоброжелатель, как и предполагалось на «ты»,— у тебя ширинка расстегнута. Я все смотрю-смотрю, скажет тебе кто-нибудь или нет? Вот люди!

Руки рефлекторно рванули туда, где предполагалась ширинка.

— Спасибо,— сказал соавтор № 3.

— Ты, ноги раскинув, стоишь. Как орел. А тут дамочки. Ты не обиделся, что я тебе это сказал?

— Нет, что вы, большое спасибо.

— Ты сейчас не застегивай, а то они все ждут — заметишь ты или нет, лучше плащ запахни, потом застегнешь, и ноги широко не расставляй, а то стоишь, как индюк... Ну, извини,— сказал он, выходя.— Мы по-простому, ладно?

Графиня Марица, извольте жениться. Необходимо обратиться к врачу. По поводу прогрессирующей мании величия.

Сильва, она же Марица, она же Перикола, сидела у зеркала и грустно рассматривала зоб.

Вот несчастье так несчастье! Белая отдельная складка на шее, верблюжья, формообразование. Всему виной — вокал. Казалось, в складке бьется ее неутоленный голос. Надо было бы не так сильно любить, тогда, возможно, и зоба не было бы. А сейчас он повис на шее и принадлежал ей, Сильве-Марице-Перико-

ле, бывшей примадонне оперетты, ныне графине Воляпюк, супруге блестящего графа Эдвина Воляпюка. Надо было не так сильно стремиться выйти из грязи в князи и оставаться на сцене. Петь, петь, петь, растрачивая себя. О, как она пела когда-то! Весь мир толпился в коридоре у дверей ее уборной, и мало кому она позволяла поднять «змею» сзади на платье. Покорять, не отдаваясь, — такое счастье! Отдаться — тоже счастье, но когда в нужный момент и шикарно. Она всегда была немножечко равнодушна к плотской любви, но об этом не хотелось распространяться. Сцена была ее любовным ложем, на сцене она отдавалась не только избранным, но всем, всем. И пела. О, как она пела!

А сейчас петь некому. Разве что Эдвину. Вот вернется из штаба Эдвин. Что это у них там за штаб, разве война уже началась? Ах, эти военные, они такие таинственные, особенно Эдвин, он ведь у них капитан или даже полковник, она забывалась спросить, а в воинских отличиях сама ничего не понимала. От нее и не требовалось понимание — только быть женщиной и продолжать петь. Правда, в этот раз для одного Эдвина. Как птичке в клетке. Но все же петь, петь.

Когда она пела, ей хотелось целовать собственные руки, так прекрасно звучал ее голос. И она целовала украдкой. «Милая, милая», — шептала себе она. Сильва-Марица-Перикола была бездетна. Она убаюкивала собственный голос. Сейчас он висел в зобе, как в люльке. Она боялась прикоснуться к зобу рукой, она раскачивалась, и зоб в зеркале раскачивался вместе с ней. Требовалась операция, требовались операция и тайна, чтобы никто никогда. У Сильвы-Марицы-Периколы не могло быть зоба. Это какой-то незаконнорожденный зоб, последствие любовных волнений, позор. И потом операция — это больно, после нее останется шрам, глубокий, страшный, и уже не придется обнажать шею, чтобы все склонились в поклоне перед ее наготой, и даже сам император, сам император! Необходим высокий воротник, да, да, высокий, стрельчатый, лиловый, и такой, знаете, углом. Она сощурила глаз и на мгновение прикрыла ненавидный зоб воротником. Его стало почти не видно. Тогда она все так же мысленно с прищуренным глазом прихватила остаток жира под подбородком прозрачной кисеей и завязала огромным бантом на затылке. Зоба не стало совсем. Сильва-Марица-Перикола помолодела и стала готовиться к балу, завершая только что возникший туалет. Это было блистательно. Как вокал, как ее неповторимый голос, как затянутый в белый мундир граф Эдвин Воляпюк. Из страданий и случая тут же у зеркала начала возникать новая мода — формы воротников, силуэты, мода, рожденная зобом. Скоро эти наряды начнет носить юная, ни в чем не повинная Вена.

— Ну, девочка, — сказал ты. — Ну, успокойся. Ну, что я могу с собой сделать?

— Вам надо перестать играть, вы мало работаете, все проигрываете на бегах.

— Вы можете предложить какие-нибудь другие радости? — спросил ты.

— Раньше вам было хорошо со мной...

— Да, но бега всего два раза в неделю, а вы — целых пять.

— Это неудачная острота.

— Да, да, вы правы. Бледные остроты, худое поведение. Мое так называемое искусство — набор приемов, отмычек, приспособлений, штампов, — сказал соавтор № 1.

— Неправда! У вас были великие вещи.

Ты поморщился. Потом сказал: «С тех пор, как я перестал быть событием, стало легче жить, больше времени для самого себя».

Жена заплакала и ушла. Ты снова не сумел быть добрым. И то, что вы, столько лет живя вместе, оставались на «вы», тоже не придавало особого тепла отношениям. Не подпускал ты к себе, дистанция была необходима тебе для внутреннего покоя, чтобы не привыкать ни к кому. Не быть обязанным, не зависеть, не жалеть при расставании. Ты только жевал губами, когда тебя спрашивали о ком-то, и ничего, и тишина. Какая мука, какое препарирование чувств — и радость, когда шутишь, как с родной, и подавленность, когда замолкаешь.

Ты вел себя, как в навязанной тебе компании, — тактично, с блеском, но абсолютно отстраненно, с одной только мыслью — при малейшей назойливости уйти немедленно, уйти, никого не обидев, но уйти навсегда и лица забыть, главное — забыть новые, незнакомые лица, стереть из памяти, не нужны они, лишние, ни сердцу, ни уму.

Собственно, так хотели бы вести себя все люди, но позволяли немногие, ты был одним из них, честным до жестокости, когда человеку не находилось места в твоей душе.

Что же было в ней? А черт его знает, какая-то ерунда, чушь собачья — клочки воспоминаний, чужие удачные шутки, какая-то женщина, навестившая тебя в ссылке, прозвища коней, на которых ты ставил в тотализатор, фамилии жокеев, зеленое сукно бильярда, имя знакомого маркера — Коля, какие-то глупые рифмы, неотвязные мелодии и лица твоих родителей, они-то, собственно, и занимали главное пространство, могли вести себя вольно, являться в любой выбранный ими срок.

Никому не признавался ты, что прежде всего был и оставался сыном — не мужчиной, не мужем, не соавтором № 1, не отцом — детей у тебя не было, — сыном, самым верным на Земле.

А это большая боль — быть верным тем, кого нет, большая печаль.

Но, наверное, она была нужна тебе, ты купался в своей печали, как в лужах солнца.

И эта-то тайна, эта печаль возносили тебя высоко-высоко над миром, делали неуязвимым.

Все остальное давалось тебе поплеывая, потому что все остальное ничего для тебя не значило. Все остальное было только средством прожить в тайной своей печали, не выдавая себя ничем, невозмутимо острая, роскошно выпивая, влюбляя в себя женщин легко, походя. Но если у тебя было хоть немного счастья, то этим ты был только им обязан — маме и отцу.

— Не бойся, друг, тебя везде ждут, везде встретят, не бойся, есть на свете люди, которые никогда не обманут, обещания даны не зря.

Жену было жалко, женщин вообще, ты даже не понимал — зачем они тебе, зачем столько?

Все можно было объяснить азартом, азарт владел тобой постоянно, желание сделать запретное опережало нравственное чувство, все, что напоминало карнавал, тебе нравилось. Но самого карнавала уже не будет никогда, ты это понимал, праздника не получится. Потому что с некоторого времени ты уже не мог распоряжаться карнавалом.

Незаметно-незаметно бразды правления перешли к другим, и так понравилось им управлять людьми, что тут же, поняв это, ты взял и устранился.

Главное — дожить, дожить до встречи с теми, кто не обманул, — родителями.

Ты смотрел на жену и не завидовал ей — бедная, бедная, она попала в острою, ей казалось, что веселье будет вечно, даже когда допьют коньяк и разойдется компания, но когда это происходило, ничего больше не оставалось ей, как жить рядом с твоим одиночеством — молчаливым, угрюмым, колючим. И так до следующего раза, до следующей вечеринки.

Друзья напоминали тебе что-то, может быть, молодость. И ты включался, при красавицах ты всегда был в ударе, красавицы и созданы были возбуждать твое красноречие, ты обожал женщин ледяным обожанием победителя.

Это особенно действовало на сильные, так называемые роковые натуры. Они признавали твое право повелевать собой, они покорялись, они чувствовали твою руку. Эти победы заменяли тебе украденный карнавал.

Но больше всего тебе хотелось спать, только ты не настаивал, боялся торопить время, ты знал, что само собой все случится. Жизнь шла, погромыхивая приятно, как трамвай, жизнь, попрыгивая трубочкой, шла где-то на обочине, не попадая в центр, чему ты несказанно был рад.

Вот так раненько-раненько все мне стало ясненько-ясненько.

Сильва размечталась. Она сидела на кухне, подперев щеку кулаком, и мечтала о мистере Иксе. Его звали Женя. Он был черноволосый, остроносый, легкий.

Это была дубль-Сильва, не та настоящая, если ту можно было назвать настоящей, — знаменитая красавица графиня Воляпюк, а только названная в ее честь.

«Силькой» дразнили ее. И чем больше дразнили, тем дороже становилось ей имя, данное при рождении. Она выстрадала право быть Сильвой.

В оперетту ходить она боялась, как бояться разоблачения, но по радио слушала, и оперетта ей нравилась очень. Страдания должны быть красивыми, тогда это не так больно, мужчины — благородными, так было бы все-таки справедливо, а женщин, чтобы жизнь отблагодарила за муки, вознесла высоко-высоко.

Сильва была портниха, труд опасный, всегда можно проглотить иголку или уколиться. Шила она давно, с детства, и взгляд ее был тоже детским, улетающим куда-то вдаль. В ней возникали чудные мелодии и мелькали перед остывшимся взглядом в то время, как цветные нити безвольно ложились на пол.

Она шила не для себя, она шила для других и потому была в курсе дел всех своих клиенток. Все они были несчастны: и профессорша, чей муж подживал с собственной падчерицей, дочкой профессорши, не по возрасту тучной Таткой, и участковый врач Галина Васильевна, ангельской внешности блондинка, заставшая однажды ночью на кухне своего мужа с косоглазой домработницей Катькой и простившая мужа, простившая! Катьку, правда, рассчитали. И Татьяна Максимовна, всю жизнь влюбленная в еврея-юриста, еще с фронта, а у того семья, внуки, а у нее, у Татьяны, и у самой муж, который все знает, только молчит и задыхается, задыхается — душит его грудная жаба. Только знала дубль-Сильва, что никакая это не жаба, а тоска его душит, милый такой отставник, простой, добрый Иван Иванович, ей бы такого мужа.

И за что другим столько счастья, ведь они им не дорожат, бросаются ради еврея-юриста во все тяжкие, а тот не хочет ни в какой другой роли ее видеть, как только любовницей. Неужели можно оставаться любовницей больше двадцати лет? Ведь это же ужас, тут все сроки любви пройдут, сто раз выйти замуж можно было. Но юрист все тянул и тянул, а отставник задыхался и задыхался.

Интересно, кто из мужчин кого переживет, кому из них, бедному, с ней маяться?

Дубль-Сильва не любила обсуждать клиенток, но эта Татьяна — кожа да кости, что в ней они нашли?

Правда, говорят, тощие, они в любви ого-го, но она об этом ничего не знает и думать не хочет. Она любит Женю. Он сын одной из ее клиенток, преподавательницы математики Иды Марковны. Вот уже несколько вечеров он приходит к ней в гости, прислоняется к печке и выспрашивает, выспрашивает обо всем: где научилась шить, как понимает крой, откуда чувство цвета, как управляет с клиентками, будто ему и в самом деле интересно.

Сначала работать при нем было немножко стыдно, но потом привыкла и, раскрасневшись от удовольствия, слушала его беспрестанную болтовню, комплименты отпусkaliсь Женей так изысканно, так деликатно, его интересовало все, но особенно любовь, у него было прямо-таки неистощимое любопытство к любви, она пересказывала ему истории несчастных своих клиенток тысячу раз. Он бледнел, ломал руки, а однажды она взглянула на него и увидела, что Женя плачет.

— Бедные женщины, — сказал он и всхлипнул. — Бедные, бедные женщины.

Красивый чуткий мальчик! Она чувствовала, что ходит он не просто так и спрашивает не для того, чтобы услышать саму историю, а что-то совсем-совсем другое, но вот что — понять никак не могла.

Ида Марковна очень одобряла визиты Жени к Сильве.

— Вы не представляете, Сильвочка, как меня успокаивает, что Женя стал к вам ходить, он с детства такой странный, такой странный, знаете, иногда я не знала, что и думать о нем, инстинкт отказывал, он с детства нелюдим, забьется в угол и все куклами забавляется, даже платъица им шил, он вам не рассказывал?

— Как же, рассказывал! — счастливо засмеялась Сильва. — Одно платъице даже притащил показать, у вашего сына талант есть, Ида Марковна.

— Да, да, талант, — рассеянно повторила клиентка.

И вот сейчас Сильва сидела на кухне и, подперев щеку кулаком, ждала.

Ставни были полуприкрыты от солнечного света. Солнце стояло в этот день над Москвой необыкновенное. Двор был насквозь прогрет солнцем и облуплен, весь в пятнах редкой тени.

Женя пришел не один. Когда Сильва открыла дверь, она увидела рядом с ним приземистого грубоватого паренька с курносым лицом.

— Это Василий, — сказал Женя. — Мой новый друг. Вы познакомьтесь с ним, Сильва Борисовна.

Паренек насмешливо смотрел на Сильву. Она стояла в дверях, не приглашая их зайти, чувствовала она себя при этом скверно, но никак не могла заставить себя пригласить этого увальня в комнату, никак, ну, не ждала она никого, кроме Жени в конце концов.

Кажется, разгадав ее проблемы, Женя сказал: «Васенька, постой, голубчик, немного на площадке, я поговорю с Сильвой Борисовной», — и, плечом отстранив Сильву, вошел. Она закрыла дверь, Васенька остался ждать на площадке.

— Сильва Борисовна, — начал Женя как-то слишком торжественно и, вдруг скривившись, как всегда, когда собирался плакать, запричитал: — Разрешите нам с Васенькой побыть у вас полчаса, ну, что вам стоит, на улице так хорошо, светло, в конце концов вы можете пойти к маме, мама будет рада, только не говорите ей, что я у вас, хорошо? Сильва Борисовна, вы должны меня понять, вы так хорошо понимаете женщин!

Но в этот раз дубль-Сильва действительно ничего не понимала. Она знала только, что вот уже несколько дней ждет прихода этого черноволосого юноши, что оделась сегодня для него в платье одной из самых модных своих клиенток, что, может быть, сегодня кто-то из них, пусть даже она первая, произнесет какие-то главные слова, чтобы кончилась наконец эта невысказанность, тайна и началось самое главное, что было важно и ей, и Иде Марковне, и, конечно, самому Жене. А тут он приводит этого заносчивого крепыша, оставляет на площадке и просит ее уйти на полчаса — куда? зачем?

— Я, конечно, уйду, — неожиданно сказала Сильва. — Если вам надо, Женя. Чайник я вам поставлю, где варенье, вы знаете, я и на большой срок могу уйти, у меня дело в городе есть.

— Вы прекрасная, — сказал Женя и опустил перед ней на колени, — вы благородная, я люблю вас.

— Ой, да что вы! — засуетилась Сильва. — Не надо об этом сейчас, встаньте, встаньте, вас человек за дверью ждет, пойдите откройте ему, а я уйду, сию минутку, я уже давно одной даме с Неглинки обещала.

— Только маме ничего, хорошо? — шепнул Женя, закрывая за ней дверь. Сильва шла по улице, жмура глаза, как кошка, то ли от солнца, то ли от чего другого.

«Он меня любит, — думала она. — Он сам сказал это, он меня любит».

Валя ушла. Сердцебиение невозможно было остановить. Соавтор № 4 лежал и прислушивался к собственному сердцу. Она всегда вскакивала и уходила слишком стремительно, слишком. Он не боялся умереть под этот стук, этот стук заглушал рвущиеся из-под пола так называемые голоса, так называемые звуки. Он жил над вытрезвителем. Ему, как всегда, не повезло. И оттого, что он уже почти шесть лет с утра и до утра слышал из щелей в полу пьяные вопли и милицейский мат, в его юморесках никогда не было ни пьяных, ни милиционеров. Эту сторону жизни он стыдился передоверить литературе, оставлял себе.

Комната над вытрезвителем, с двумя соседями, была без души. Послевоенное московское его убежище. Это все, что он заслужил у советской власти. Ему не за что было роптать на жизнь, он все-таки остался жив. Иногда навещала женщина, Валя, говорила, что могла бы полюбить. Так что все было плохо только наполовину. На ту, где нельзя было выспаться и вымыться.

Сердце постепенно утихало, уступая место пьяным воплям снизу. Он пытался вспомнить о возлюбленной, чтобы восстановить стук, но это уже могло считаться фокусом, а фокусником он был никудышным. В нем жило умение шутить, но «ловкости рук и никакого мошенничества» в нем не было.

Он лежал и вспоминал, сколько раз за жизнь и где ему удавалось выспаться.

Даже в детстве, когда, казалось бы, спать и спать, это невозможно было сделать в одной маленькой комнате — ну, и преследовали же его эти маленькие комнаты! — невозможно потому, что все: и братья, и сестры, и родители, — просыпались и ждали, когда кто-то из семьи вставал и тяжелыми сонными шагами, сотрясая комнату, направлялся в туалет; приходилось лежать тихо и ждать возвращения из туалета, проклиная, как долго это длится, и решая, идти тебе тоже или остаться лежать. Он предпочитал терпеть и лежать. Все бухало в квартире его детства, бухало и дребезжало: двери, посуда в шкафу, звуки с улицы непонятного происхождения, но тоже угрожающие. И несмотря на то, что это были звуки детства, звуки любви, они тоже не давали спать. Нервы уже

тогда жизнь намотала на спицы и поехала, поехала, и стала натягивать. Спасибо, братики, спасибо, сестрички, чтоб вы были здоровы, чтоб вы всегда были здоровы, даже если вас уже нет. Я так любил вас, что просрочил увольнительную на два дня, чтобы подольше быть с вами, и угодил в штрафной батальон. А там уже заснуть можно было только вечным сном. Но и это ему не удалось — он выжил. Привычка бодрствовать с закрытыми глазами спасала. Его просто невозможно было застать врасплох, он ждал шума, толчка, удара — с любой стороны, почти избежал ранений, его пули были несерьезны. И только нервы натягивались на спицы плотней и плотней, и только шутки острее и острее возникали в нем.

Он не требовал внимания к своим шуткам, просто шутил, и за это его любили. Он знал, когда остановиться, — в минуту опасности шутить не надо, лучше оставаться серьезным, но, когда опасность пронесло мимо, отпусти себя в полной мере, тут надо позволить себе жить. Потому что хорошо, потому что ненадежно, до следующей опасности.

Его пугала слепота, глухота не пугала. Случалось, его контузило, и это были лучшие времена, когда он ничего не слышал и чувствовал себя спокойно. Хорошо бы его контузило перед тем, как получить ордер на комнату над вытрезвителем. Но видеть он хотел, он любил смотреть мир, он любил жизнь жадно, вообще был зевака, а зеваче что делать — только ходить и смотреть.

Он оглядывался на женщин и улыбался им широко-широко. Он не навязывался, эти женщины ему не принадлежали, он не любил чужого, просто они были красивы. Он любил видеть зимы нездешней чистоты, настоящие, московские, и сравнивать с той немецкой зимой, когда такой снег выпал, будто Бог решил создать еще один мир.

Он любил заставлять людей врасплох, да так, чтобы они не заметили и не оскорбились, а он, смеясь в кулак, на цыпочках пошел бы себе прочь. Любил детей, книги, дождь. Только вечера он не любил: по вечерам в комнате становилось тускло, от соседей пахло невыразительным ужином, из-под пола доносились вопли пьяных. Это называлось одиночеством, а одиночество хуже войны и штрафных батальонов.

Он готовился ко сну, как к войне. Ни на что не надеялся, сны выпадали ему беспокойные и несчастливые. Самым счастливым было пробуждение, когда он опускал ноги на холодный пол и тихонько, чтобы не потревожить соседей, начинал петь.

Напевал он обычно Кальмана. Слух у него был несовершенный, и, работая над опереточными подтекстовками, напевать он себе не позволял, хотя втайне предполагал, что и друзья его слухом не блещут.

Но по утрам давал себе волю, наверстывал и думал: «Ну, что ж, и с таким слухом жить можно».

Оперетка была для него как конфетка: подсластил жизнь — и в путь.

И комната над вытрезвителем становилась тогда всего лишь временным местом действия, действие кончится, антракт, а затем перемена декораций.

Правда, всегда почему-то так оказывалось, что его жизнь разыгрывалась в одной и той же декорации. Какая-то непокорная оперетка!

Но все равно он был благодарен музыкальному своему затмению и этим утрам, в которые ему всегда хотелось петь.

Он знал, что сейчас придет к соавтору № 1 и вместо работы завалится спать. У того была такая теплая квартира, такая славная жена, такая удобная кушетка, и сам он, добрый его соавтор, не спешил работать, его вполне устраивало, что все оттягивается еще на час и соавтор № 4 нигде не делся, похрапывает рядом.

А он не спал, он притворялся, он наслаждался чужим благополучием, поглядывая из-за полуприкрытых век на хозяина квартиры.

Тот сидел в кресле и смотрел куда-то в стену, в одну точку, никогда нельзя было понять — хорошо ему или плохо, всегда на лице какая-то вежливо-снихождительная гримаса. Он не спешил, рядом с ним казалось, что ты живешь в вечности. Если такой гений мог себе позволить не торопиться создавать шедевры, то что говорить о тебе, кто ты есть?

Неизвестно было, впускал ли он в себя воспоминания, во всяком случае, никогда о прошлом не рассказывал: ни о славе своей, ни о женщинах, ни о ссылке, ни о чем; это касалось только его одного. Это было целомудренно, конечно, но очень мешало дружбе. Потому что дружба предполагает треп, дружба должна идти в сопровождении трепа, не говоря уже о работе, работа — это

сплошной треп, пока изо рта не вылетит удачная шутка, а тут и работа, и дружба протекали в какой-то неторопливой тишине, где главное было не помешать хозяину квартиры думать, как важно не нажать случайно на кнопку будильника, заведенного, чтобы зазвонить вовремя.

Вот это «вовремя» и было привилегией соавтора № 1. Он шутил редко, но шутил на века, а ты раскачивал его воображение своей суетой, раскачивал, и выскакивал чертик, божий чертик юмора. Он стоял на кривых ножках и улыбался тебе вежливо-снисходительной улыбкой. Иногда даже страшно становилось, как внезапно он возникал.

И тогда оставалось только записывать за классиком, проглатывая восторг, потому что тот не любил, когда его хвалят.

— Послушайте,— говорил он,— все это так непрочно, гарантии нет, что в этом месте зрители хотя бы улыбнутся. В нашем деле слишком многое зависит от интонации, от того, кто произносит, а писать надо так, чтобы все зависело от слова. Но это невозможно, потому что смешное требует беглости, так, неопределенное смысловое сочетание, двусмысленность, лучше — трехсмысленность. «Кafka работал в банке». В банке? Неужели в банке можно работать? Почему же нет? Но это же неудобно — как он там помешался и так далее. В конце концов, несмотря на дурость, а возможно, и благодаря ей, зрители засмеются, есть какой-то секрет в обыгрывании привычных слов, привычных понятий, кроме желания вызвать смех, как бы еще и родной язык обновляешь. Шутить надо без всякого насилия, вот как мы с вами работаем, между делом. Шутить, как шутил бы сам зритель, если бы у него был талант шутить. Главное — избежать слишком большой оригинальности. Не стоит ей бросаться в глаза. У шутки должен быть приятный коньячный вкус с небольшой кислинкой. Кто не пьет, тот вообще недостоин шутки, пусть соблюдает диету и ждет смерти. Мы же продолжаем скользить по поверхности, мчась в никуда. Наше дело — снабдить исполнителя несколькими листками текста, и тут я без вас пропал, потому что вы один знаете, что сегодня смешно, что будет смешно завтра, и вообще вы мой синоптик. Я никогда не заглядывал в вашу тетрадь с анекдотами, анекдоты — это сомнительные шутки, за знакомство с которыми в наше время можно поплатиться, но уверен, что у вас там самые лучшие, правда?

— Стараюсь! — засмеялся гость.

— А много вы сочинили анекдотов сами, признайтесь!

— Куда мне, анекдоты сочиняет сама жизнь!

— Глупости! Анекдоты разрабатываются целыми отделами определенных организаций, о которых нам лучше не вспоминать, и выпускаются в свет, как голуби, под свист и улюлюканье, поверьте мне, я старый голубятник! Есть, конечно, и несколько новых акынов, способных придумать смешное, считающих недостойным зарабатывать деньги на том, что далось им так легко, в отличие от нас, которые считают это занятие самым нормальным делом, хотя дается оно нам очень трудно. Утро клоуна — самое грустное утро на свете, когда надо идти на арену и целый день оттачивать репризу, которую никто не воспримет вечером. Какая галиматья! От жизни и надо уйти в галиматю, потому что в конце концов, что иное жизнь, как не галиматю, цепь случайностей?

Но это надо понять, а не сетовать, что она не получилась. Она, то есть жизнь, в любом случае не получилась, но не у тебя, а сама по себе. Она переполна, суета, борьба за существование, она же вальс, прелесть, любовь, случайные встречи, азарт, близость. Ах, ах, ах! Ладно, давайте работать, то есть болтать, на чем мы вчера остановились?

Марица, она же Перикола, она же неисчислимая Сильва Вареску, вошла в экскурсионный автобус. Кроме водителя, в нем находились еще два человека.

— Это все? — растерялась Марица.

— Откуда мне знать — все не все! — неожиданно разозлился водитель. — Что, я больше всех знаю? Сколько у тебя по списку?

— Восемнадцать.

— Вот и у меня тоже — восемнадцать. Теперь посчитай — сколько нам еще их ждать осталось?

— Товарищи,— обратилась Марица к сидящим,— вы не можете мне сказать, когда подойдет остальные товарищи?

Но примерные пассажиры оказались слишком примерными. Они промямлили в ответ что-то вроде: от нас, мол, что нужно, мы-то на месте.

— Но экскурсия не может длиться более двух часов! — впадая в отчаяние, сказала Марица. — Вы опоздаете на поезд, да и у нас рабочий день не вечен.

Она хотела сказать, что вечером купила билет в Театр оперетты, где давали «Марицу» с участием знаменитой Дины Фаркоши из Будапешта, но запнулась, поняв, что гостям это совершенно неинтересно.

Пришлось ждать. Тезка знаменитой Марицы, в просторечии Мара, сидела и смотрела в ветровое стекло мимо водителя. Он тоже не пытался затеять разговор.

Она всегда была уверена, что он, наслушавшись за последние полгода ее экскурсий, в корне с ними не согласен, и если бы не строгие правила экскурсионного бюро, где один должен был вести, а другой комментировать, давно бы взбунтовался и сказал Марице какую-нибудь страшную гадость. Марица даже думала, что сейчас он рад образовавшейся возможности еще какое-то время не слышать ее голос.

Она же гордилась низким своим контральто, унаследованным от тетки, живущей в Гомеле, красными полными губами, всегда по-туземному покрашенными ярко, высокой грудью и добрым сердцем, о чем догадывался каждый, кто хоть раз прослушал ее экскурсию.

Портили Марицу только бородавка на правой щеке и легкое, едва уловимое косоглазие. Но она всегда ухитрялась стоять так, чтобы экскурсанты видели ее левую щеку. Хорошо поставленным голосом она живописала столицу так ярко, что в окно можно было и не смотреть. В памяти приезжих столица ассоциировалась с ее голосом — такая же громкая, большая, доброжелательная.

Марица никогда не напоминала гостям, что неплохо было бы занести свои впечатления об экскурсии в книгу отзывов, а сами они не догадывались. Разве редко кто-нибудь из них совал ей в руку надорванную шоколадку, которую почему-то позабыл съесть сам.

Ей и этого было не надо. Экскурсия заменяла ей личную жизнь, потому что другой жизни у Марицы не было. Об этом знала только подруга, с которой Марица трепалась в ночи по телефону и которая была искренне удивлена положением Марицы, считая ее одной из самых интересных девушек города.

Сама же подруга уже третий раз была замужем и всегда говорила одно и то же: «Ну, знаешь, ты мне, пожалуйста, не завидуй...»

Многие считали, что в бюро Марица пошла, рассчитывая на легкое замужество в результате случайной встречи, но это было неправдой, вернее, наполовину неправдой, конечно, такие мысли Марицу иногда посещали.

Столица, описанная ею в ярких красках, становилась так прекрасна, что в ней хотелось остаться жить, а жить можно было и у Марицы, она была прописана, правда, не в самом центре, но в очень неплохой квартирке поближе к Измайлову.

И несмотря на то, что по ее виду было понятно, что живет она там одна, охотников не находилось, наверное, им все-таки удавалось взглянуть на нее с правой стороны, так как мужчины-экскурсанты, прощаясь с ней, почему-то старались не смотреть ей в лицо, а прощались куда-то в ноги. Может быть, причиной ее тучность? Дубль-Марица была крупна, даже толстовата, но полнота только придавала значительность ее красивому голосу, возводила переполнявший ее душу пафос на небывалую высоту.

— Ты императрица! — заявляла подруга категорически.

Наконец все собрались, автобус тронулся, экскурсия началась. Марица хотела обидеться за опоздание, она приготовила уже несколько колких, хотя по форме вполне тактичных фраз, но воспользоваться ими не успела: стоило ей только открыть рот, как молодой человек восточного вида с открытой волосатой грудью, на которой барахтался большой медный крест, как бы от имени всей группы заявлял: «Знаем, дальше».

Марица растерянно замолкала, набирая воздух, чтобы воспеть новый объект, но тот же голос от имени группы категорически заявлял: «Знаем, дальше».

Перед ней на открытой груди туда-сюда мотался крест, и она почему-то весь путь представляла себе, что ест этот тип непременно лежа и хлебные крошки рассыпаются у него на груди и застревают в волосах. Это было странное, неприятное зрелище.

Автобус проворно катил себе и катил уже полтора часа, а ей практически не дали сказать ни слова.

Мало того, личность с кавказской физиономией успевала прокомментировать все, что проносилось за окном, и с такой уверенной фамильярной бесцер-

монностью, что она представила себе, как большая хищная птица с огромным клювом пытается добыть крошки из его волосатой груди, но крест мешает.

Марица замолчала и домолчалась до тех пор, пока экскурсия не закончилась.

Поблагодарив Марицу, экскурсанты с авоськами, сумками, пакетами вышли из автобуса, чтобы пересечь в другой, который привезет их прямо к вокзалу.

Кавказский человек задержался рядом с Марицей.

— А вы почему не уходите? — повернувшись правой щекой, в упор нацеливаясь в него бородавкой, спросила Марица. — Вы ведь должны быть вполне удовлетворены?

— Я хочу, чтобы вы показали мне Москву, — неожиданно сказал кавказец, как ей показалось, взволнованно. — Я ведь никогда здесь не был.

— Но как же вы тогда... — начала Марица, но он прервал:

— Я хочу, чтобы вы только мне, одному мне, показали Москву, а не всем этим людям, понимаете?

— Но автобус уже никуда не поедет, — сказала Марица. — Рабочее время кончилось.

— Хорошо, мы пойдем пешком, — сказал он. — Я люблю бродить, а вы? И они пошли.

Эта неприятная история в карьере экскурсовода закончилась тем, что в конце концов она забыла о вечернем спектакле, на который спешила вся Москва и где в роли ее тезки выступала блистательная Дина Фаркоши.

Он спускался в чулан с кривым ножом в руке и чувствовал себя вполне грозно. Он спускался в чулан и вбивал нож в арбуз по самую мякоть. Потом он отваливал кусок арбуза и пил из него сок, как кровь.

Сегодня он впервые на нее накричал. Она заявила, что денег в ящике не осталось. У них был такой ящик, где хранились все получаемые им гонорары. Счета деньгам не вела, она просто бросала их в ящик, деньги были всегда, и вдруг она заявила, что их нет.

Тогда он заставил себя, несмотря на недомогание, подняться на второй этаж их огромной подмосковной дачи в ту комнату, где находился ящик, чтобы заглянуть и понять — куда делись деньги, а поняв, заревев страшным голосом, от которого все затрепетали внизу, и особенно она, не способная даже как следует рассмотреть внутренность ящика, по обеим сторонам которого в щелях лежали кровью заработанные им тысячные и сторублевки. Они провалились в щели, а она не дала себе труда посмотреть внимательно.

Соавтор № 2 был взбешен, он грозился выгнать всех, кто жил в доме, и прежде всего ее, он грозился перестать писать, как он выразился, «всю эту чушь собачью», благодаря которой они жили, а написать книгу, после которой его обязательно посадят в тюрьму. Напрасно им кажется, что он неспособен ее написать.

Он грозил ей тюрьмой и разорением. Ему казалось, что он умирает, и так захотелось, чтобы это случилось здесь, сейчас, на самом деле, чтобы не успеть осмыслить происходящее, а рухнуть без слов посреди всего этого благополучия. Она назвала его ласково «пузан», он и есть пузан, сколько можно жить, а, пузан?

Но он остался жить и даже пересчитал обнаруженные в ящике купюры. Он ненавидел ее еще и потому, что был ей верен. Измена была связана со слишком большим неудобством, жена всегда начеку, легко можно было попасться, но что страшнее всего — это скомпрометировать женщину, которая, по наивности на что-то надеясь, могла бы в него влюбиться. В изменах он был увалень, недотепа, его надо было оглушить чем-то тяжелым и брать голыми руками, сам он в этом ничего не соображал. Общее отупение произошло не сразу, а после десяти лет совместной жизни, когда внизу кувыркались дети и уже невозможно было отвертеться.

Он знал также, что и это не причина его неприязни к ней. Он точно помнил тот вечер, когда соавтор № 1 читал ему новую свою вещь, а он восторгался, восторгался, как всегда, читая талантливое, написанное не им, истово восторгался по-настоящему, до конца, за это ему прощали многое когда-то. И после его искренних слов: «Это замечательно, я не умею так», — она неожиданно изрекла: «Помнишь, когда ты первый раз признался в своей неталантливости? Не помнишь? Знаете, Миша, он признался в своей неталантливости, на это

мало кто способен, правда? Заходил Вишняков, ну этот молодой гений, и он тоже сказал ему: «Я не умею так, раньше думал, что лучше всех пишу, а теперь вижу, что я просто средний поэт-сатирик». Ты вспомнил? Как же, это было седьмого января. Когда Вишняков ушел, я сказала: «Какой ты молодец, что признался в своей неталантливости, ну и что, ну и что, зато ты порядочный человек, никому не завидуешь, я горжусь тобой!»

Почему он не умер тогда?

И тут он понял, что, если самой большой трагедией его жизни является она, значит, он достиг вершины благополучия.

Он спешил. Оказывается, никакие события не волновали его, кроме семейных. А как же — «вместе с народом»? С каким народом вместе?

Он испугался: вот до каких кошунственных вопросов довела его эта стерва. Высосала весь внутренний мир, не оставила ничего, только докучала, докучала лицемерными своими похвалами, а сама, возможно, и не любила его никогда. Да и как она могла любить, если в самые трудные годы они жили врозь? Он видел жен, приехавших на поселение к своим мужьям, а эта отделялась посылками и фотографиями детей, которых они зачинали в редкие ее наезды. Какие там посылки, это он слал, а не она, он и там ухитрился зарабатывать неплохо.

В то же время он не сомневался в ее верности. Да не нужно ей было все это! Она была так бездарна, что не могла как следует изменить, да и кто бы позарился на нее, кроме него, олуха царя небесного, кто бы захотел остаться в жадных, цепких ее лапах?

Он лупил арбуз кривым ножом, врезался в мякоть. Задушить, задушить! Но она не поймет, что делает он это всерьез, примет жертвенную позу, скрестит ручки, станет ждать смертельного удара. О глупость, где были мои глаза, куда ушли мои годы?

Он стонал, книги вокруг сочувствовали ему, и сквозь стон он понял, что это были чужие книги.

Это были чужие книги, знавшие цену страданию, а его собственные занимали почетное место и были для страданий неуязвимы.

Он испугался, он подумал, что сходит с ума, как миллионер, который разорился в один момент. Ему показалось, что он и не жил никогда, а жизнь накапливалась, накапливалась, как накапливается грязь в заброшенном доме, и готова была съесть все его прошлое. Он прислушался. Ему показалось, что кто-то вошел в дом и готовит изъятие его жизни.

Он не был готов к этому, сердце могло не выдержать, опыт старого инфарктника сработал. Он вспомнил, как испугался смерти, когда она пришла первый раз, и снова испугался при одном только воспоминании.

Пусть обремененная, пустая, вконец испорченная, но жизнь, жизнь!

Не станем преувеличивать трагедию, другие живут еще хуже, тоже с любимыми, но еще и нищие. Он же сумел обеспечить детей, покойных родителей, себя.

Всякий успех не бывает случаен. В конце концов успех, он и есть успех. Какие могут быть к нему претензии? Закончится тем, что он станет завидовать самому себе, а это — идиотство!

У каждого своя жизнь, и если приглядеться, то он не сделал ничего постыдного, даже написал кое-что ценное, правда, очень давно, и ценность эту требовалось доказать. Но он как минимум является свидетелем истории культуры, раритетом, может ответить на сотни вопросов, на которые больше никто не ответит.

Конечно, ему следует быть внимательней к себе, поберечься.

«Вот я и свободен,— подумал соавтор № 3.— И надо же было им оказаться в одном роддоме. Еврейское счастье! Если бы не эта командировка, я бы проследил, чтобы в разных. Э-э-э, да что теперь говорить! И надо же, чтобы им одновременно понадобилось рожать. Прямо опереточные страсти какие-то. А может быть, Господь захотел развязать наконец этот чертов узел? Но где моя удачливость, знаменитая удачливость моя? Да, здесь хвастать нечем.

И как Ленке удалось разговорить Дашу — из той слова клещами не вытянешь?

Даша была так молчалива, что если бы даже потерялась в лесу, то на призывные крики «ау» только бы пожала плечами.

Наверное, они здорово меняются в подобных ситуациях. Одни клянут мужей кто во что горазд за муки, так им рожать легче, другие уговаривают себя, что пошли на это из большой любви. Одновременно! Придумать такое! Нет чтобы им подружиться до того, никаких недоразумений не было бы. «Я тебе говорил, красавец, — обратился соавтор № 3 к самому себе. — Перестань раздари-вать фотографии да еще с подписями. Ты не кинозвезда. Как тебе сказал сын, когда нашел собачку? «Я думал, он щенок, а он такой же солидный и большой господин, как ты, папа». Вот так — солидный, большой. Ну, это смотря для ко-го, мой мальчик».

— А кто ваш муж?

— Муж? Ну, знаете, он не совсем муж, он больше, он любимый, мы в граж-данском браке.

— А, в гражданском? И вы решились рожать?

— А что? Разве это помеха? Мы любим друг друга, он драматург.

— Вот как? А какие у него пьесы?

— Собственно, это не пьесы даже, а либретто, опереточные либретто.

— Либретто?

— Что вас так удивляет? Вам кажется, что это легко?

— Ничего мне не кажется, расскажите еще.

— Его легко можно считать эгоистом, но он занят, очень занят. Кроме ме-ня, у него есть еще родители, три раза в неделю он ездит к ним на дачу.

— У его родителей дача?

— Да. Только здесь, в роддоме, я поняла, какой это, в сущности, прекрас-ный, заботливый человек, а ведь он уже не молод, вы никогда не догадаетесь, сколько ему лет.

— Сколько?

— Пятьдесят восемь! В неполные шестьдесят сделать ребенка, здорово, правда? Он прекрасный спортивный мужчина, два часа в день теннис, транспор-том не пользуется, всегда пешком и не от жадности, поверьте, просто чтобы со-хранить форму.

— Он играет в теннис?

— Что вас так удивило?

— Ничего, ничего, простите, я повернусь на другой бок, спиной к вам, тяж-ко что-то.

— Пожалуйста, пожалуйста. Он не просто играет в теннис два часа, у него вообще все расписано, он за свою жизнь никуда не опоздал. Я называю его — хорошо организованная машина. И такой чистеха! Когда он приходит, я у себя в доме боюсь бумажку на пол уронить — сразу ворчит. И чтобы чашка именно эта, и форточка открыта, и на столе порядок. Как это мило, правда?

— Он такой педант?

— Именно педант! Как вы правильно сказали: педант. Он еще в детстве делал замечания взрослым, если они были в чем-то неточны. Память у него фе-номенальная.

— Хорошая память?

— Феноменальная! Я не заморочила вас? Мне кажется, когда болтаешь — легче.

— Продолжайте, пожалуйста. А фотокарточки его у вас нет с собой?

— Как же нет! Она всегда здесь, со мной, я ее в портмоне ношу, а портмо-не под подушкой, вот здесь. Пойдите, где мое портмоне? Ой, как приподни-маться больно! Сестра, помогите мне, здесь должно портмоне быть под подуш-кой, спасибо, да где же оно, я его всегда под подушкой, мое любимое портмо-не. Вот оно! Слава Богу, за матрац упало. Какие у вас матрацы огромные! Вот он, мой педант!

Соавтор № 3 даже глаза рукой прикрыл, представив, как рассматривает Даша его фотографию.

— Красивый, — сказала она наконец. — И совсем нестарый. Откуда у вас эта карточка?

— Как откуда? Я взяла ее из дома.

— И давно вы встречаетесь с этим мужчиной?

— Встречаюсь? Вас задело, что мы в гражданском браке? Плевать на ус-ловности! Он мой муж уже три года.

— Он мой муж, а не ваш.

Дальше — крики, схватки, стоны, роды. И вот он — свободен.

«Взгляд милиционера для рынка, как взгляд Джоконды: куда смотрит, на кого?»

Неплохо. Соавтор № 3 вынул записную книжку и занес туда забавное наблюдение.

«Да, но у меня теперь две дочки,— с гордостью подумал он.— Я счастливый человек. Две маленькие прехорошенькие дочки».

И, взглянув на часы, спортивной походкой зашагал по Цветному бульвару.

Шарль, автор популярной оперетты «Весенний поцелуй», муж Виолетты, она же «фиалка Монмартра», бывшей возлюбленной Рауля, Шарль, один из бывших любовников изменчивой Нинон, в просторечье Карамболины, схватил пачку нотной бумаги и швырнул в окно.

«Пусть летит к черту! — с ненавистью подумал Шарль.— Пусть все видят, как я бездарен».

Ничто не вдохновляло: ни Париж, ни Виолетта, мелодии не возникали. Надо было обратиться к Имре, но Имре уже давно в могиле, и Ференц, и Имре — все умерли.

Как хорошо было в мансарде под опекой Имре влюбляться и говорить глупости, как хорошо не принадлежать себе и слушать влюбленный лепет маленькой Виолетты, которая стала сейчас толстой курицей и ни на что другое не вдохновляет, как на желание поддеть ее ногой.

О, этот изрядно поднадоевший Монмартр! Одни и те же разговоры, мало-вразумительные, скучные, потому что все твои собеседники умерли, а даже если бы и жили, что предъявил бы ты им, кроме одной, да еще не совсем тобой написанной оперетты.

«Я творческий импотент,— горько подумал Шарль.— Что скажет Виолетта, когда обнаружит, что любимый ее бесплоден? От горя она снесет яйцо, эта наседка».

Шарль не раз видел, что Виолетта несет яйца, вообще это было присуще всем опереточным героиням, когда они удивлялись, то приседали от удивления и из-под них катились большие белые яйца. Ну, хоть яйца несет, а от него-то, Шарля, какой прок?

Он не хотел думать о Кальмане плохо, Кальман — это святое, но если ты родил композитора, то оснасти его, дай в путь несколько пустяковых, но приятных мелодий, что тебе стоит? Что стоит богачу отстегнуть бедняку несколько монет, чтобы не было стыдно за меня в веках? Ведь ты умер, Имре, а я буду жить вечно.

Страшнее всего, что посоветоваться было не с кем — другие мысли, другая музыка. Даже непонятно, что давало право жить раньше, как они жили. Ведь уже случились в мире страшные войны, и почти каждая семья знала горе, но они умели подсластить жизнь. Это было наваждение — жить в своем мире, непричастном к политике и безумству.

Элегантные неторопливые господа, разнаряженные дамы, всегда старомодная Вена, всегда новомодный Париж.

Они пели, любовные утехы не были целью, они пели для себя и так охотно, будто им на всю жизнь было оставлено огромное наследство. Музыка счастливых и магнатов звучала над миром. Откуда она бралась, эта безмятежная музыка? Рядом сочинялась мощная, трагическая, совсем другая, но они не завидовали, они писали для своих. А свои — это те, у кого было мало счастья, самого обыкновенного, вульгарного, которое именуется мещанским. А свои — это те, у кого не было другого представления о счастье, как только мещанском. Собственный дом, здоровый муж, здоровые дети, крепкая утварь, долгая жизнь без событий, только ради Бога, без событий, кусты сирени под окном.

А если есть другое счастье — назовите.

Казалось, мелодии в этом раю возникают сами. Но творчество — это яд, который ты пьешь понемножку каждый день и не умираешь сразу только потому, что понемножку, но настойчиво он проникает в кровь и ты умрешь в страшных муках, проклиная, что предал этот дом, этот сад, этот рай ради нескольких сладких мелодий. Ты даешь Богу обет никогда больше не писать, ни на что не претендовать, если он позволит еще пожить немного, но уже поздно, и тебя отпевают при огромном скоплении народа как доброго христианина и великого композитора. Так умер Имре. Тоже не знал, куда деть себя, но оперетты ставились, «Фиалка», «Сильва», он еще тысячу раз мог выходить кланяться на премьерах, он обеспечил славой себя и других надолго.

Но оставил ни с чем Шарля.

Маленькая музыкальная рента, в окно залетевшие звуки, чужая назойливая мелодия, руки, уже неспособные удержать скрипку, толстая Виолетта, несущая яйца.

Ах, девочка моя, Коломбина-Карамболина, где ты?

Наверное, умерла. Хотя это трудно себе представить, он, Шарль, всегда умирал вместе с теми, кого любил, а если не умерла, то состарилась, это одно и то же. Надо запретить красоте стариться или отвозить их на необитаемый остров, пусть там старятся — не огорчая ни его, ни себя.

У него всегда было приготовлено восклицание: «Как вы хорошо выглядите, вы несколько не постарели!»

И это восклицание заставляло дам покачивать головой и смотреть на него в упор кротким, но укоризненным взглядом.

Да, музыка! Она умирает раньше нас. И это грустно.

— И все-таки у нас нет настоящей советской оперетты,— произнес авторитетный голос.

— А нужно? — робко спросили снизу.

— А вы как думаете, товарищи, нужна нам советская оперетта?

— Еще как,— после продолжительного молчания неуверенно произнесли голоса сбоку, снизу, со всех сторон.

— Ну, а если мы пришли к выводу, что нужна, мне, что ли, учить вас, как действовать?

После этого наступило совсем уж полное молчание, в котором, вероятно, зрело вполне определенное решение.

Они сидели в саду «Эрмитаж», четверо высоких элегантных почти стариков, почти деревьев. Плотные, литые, лацканы в перхоти, похожие на еврейских военачальников.

В том самом саду «Эрмитаж», где до революции играла молодая труппа Художественного театра, а после революции, в восьмидесятых, левитинская труппа. Но это будет не скоро, а пока они сидели в глубине послевоенного «Эрмитажа», ближе к стене, между сгоревшим вскоре зданием деревянного театра и уцелевшим Зеркальным.

Они сидели в саду «Эрмитаж» в тот ранний час, когда еще не сбегаются на репетицию актеры, песок на дорожках прохладен, садовники ощупывают деревья и только-только начинают урчать динамики, готовясь предъявить что-нибудь из Цфасмана.

Каждый из них провел свою собственную бессонную ночь перед тем, как прийти сюда, но выглядели они вполне выспавшимися, у них был опыт бессонных ночей.

Существовала традиция собираться и начать обговаривать новую вещь здесь, именно в Эрмитаже, когда Москва только проснулась и предупреждает о своей силе пока еще далеким грозным рычанием. По утрам они чувствовали себя моложе, чувствовали озорниками. В них тоже было немало сил.

Барышни-мамы переговаривались над колясками, собаки разбегались во все углы сада, по диагонали, удлиняя маршрут, музыка из динамиков приятно надрывала душу, не совпадающие с действительностью фиалки радовали глаз. Еще не взлетел детский мяч в воздух, не распелись птицы.

Соавтор № 4 по привычке вынул из портфеля большую разлинованную тетрадь и приготовился записывать. Это было его давней обязанностью.

— Ну-с, начнем, господа? — спросил соавтор № 1.— Кто первый?

Часть вторая

Когда девочка залаяла, отца не было дома. Лаяла она в точности, как содская овчарка Рэна, только намного тише.

Мать была на кухне, когда это произошло. Она не могла ошибиться: эти звуки доносились не из комнаты хозяев Рэны, а из их комнатушки. Но кто мог издавать такие звуки, догадаться не могла. Неужели Рэна перебежала к ним?

Мать приоткрыла дверь, чтобы увидеть самое страшное — грозную Рэну, всеми лапами повисшую на Верочкиной кровати. Но Рэны не было, а звуки продолжали раздаваться.

Тогда мать решилась войти. Она сделала несколько шагов по комнате, недоуменно морща лоб, но очень скоро поняла, что звуки идут из колыбели и это лает ее маленькая дочь.

Такое не могло ей показаться, они давно уже ждали, когда ребенок заговорит, когда раздастся первое слово, они даже спорили: какое оно будет — мама, папа?

Мать утверждала, что дочь назовет ее, отца она может видеть только пьяным, да и то по ночам, если он не в ночной смене, а мать с ней всегда. Отец не возражал, но втайне надеялся, что девочка скажет «папа», потому что она очень была похожа на свою бабушку, его мать, и вообще скрашивала трудную, полную непонимания со стороны жены жизнь отца.

Оба ждали первого слова. И оно прозвучало.

Ясно, с поразительной отчетливостью девочка пролаяла несколько раз, будто в колыбели лежал щенок, а не ребенок. Девочка звала не отца, не мать. Она звала Рэну. Потому что самым убедительным для нее был голос овчарки Рэны. Он наполнял квартиру, Рэна позволяла себе все. Она слонялась повсюду, лая по поводу и без повода. Она была крикливая коммунальная собака, выросшая в этих соседских неразберихах и ссорах и посчитавшая себя здесь главным судьей.

От ее хриплого, отрывистого лая некуда было укрыться. Она бросалась к двери и лаяла на невидимых жильцов дома. Она могла проснуться посреди ночи и лаять, только бы лаять. Хозяева Рэны ходили по квартире, одурелые от лая, но терпели. Это была их собака, а собаке свойственно лаять. Но родители Верочки терпеть не хотели, они протестовали и просили не выпускать Рэну в коридор, чтобы лай собаки не разбудил маленького ребенка. Отец, передовик производства, обратился в партком с просьбой: либо дать ему другую квартиру, либо уговорить соседей утихомирить собаку.

Все просьбы остались втуне. При образцовой работе репутация отца была репутацией крепко пьющего, ему не верили.

Жизнь в квартире стала совершенно непереносимой. Один только ребенок оставался спокоен. Он лежал и прислушивался. Он был уверен, что мир — это не кислое дыхание отца, не шершавые пальцы матери, а что-то большое и громкое, от которого никуда не деться, оно зовет тебя и требует ответа.

Девочка вслушивалась, вслушивалась, пытается понять, а потом ответила.

— Сволочи! — рыдая, выбежала из комнаты мать. — Слышите, сволочи, что вы наделали! Дитя по-собачьи лает! Да я собственными руками задушу вашу суку!

Соседи ошеломленно молчали, они тоже слышали девичий лай и не знали, как к этому отнестись. Даже Рэна притихла. Она-то уж совершенно не понимала, откуда эти дурные звуки, похожие на ее собственные.

Милиция пришла в тот же день, они проверили показания несчастных родителей Веры и потребовали, чтобы Рэну немедленно выдворили из квартиры навсегда.

— Куда она пойдет? — горестно спросил хозяин Рэны. — У нее, кроме нас, никого нет.

— А у меня один ребенок, слышите, один! — закричала мать Верочки. — И с моим пьяницей другого у меня не будет!

Аргумент подействовал. Милиция ушла, заручившись обещанием соседей увести собаку, а родители всю ночь успокаивали Верочку, стараясь не дать ей впасть в лай. Девочка крепилась долго, но к утру снова залаяла. И что удивительно — с этого дня Рэна стала лаять значительно реже, она как бы осознала всю глубину своей вины.

— Не держите зла на нее, — просили соседи. — Мы ее больше в коридор выпускать не будем, в комнате запрем, и если залает лишний раз, сами своими руками, поверьте.

И родители, несмотря на отчаяние, решили повременить с выдворением Рэны.

Собака действительно что-то поняла или смертельно испугалась, но лаяла очень редко, будто просила прощения.

Через месяц Верочка произнесла первое слово «ба-ба». Отец обрадовался, мать не поняла, почему именно это слово, никаких бабушек в доме не было, но все же это было нормальное первое слово.

Девочка росла себе и росла, собака через пять лет после случившегося попала под трамвай, Верочкиным родителям удалось наконец уехать из прокля-

той квартиры, и никто никогда не рассказывал девочке об этой дурной истории, она жила, как все нормальные дети: переходила из класса в класс, меняла платяца, влюблялась, но, когда приходилось ей слышать по ночам откуда-то с улицы отчаянный собачий лай, просыпалась и долго не могла уснуть. Ей казалось, она понимает, о чем лают собаки.

Соавтор № 3

Быть евреем очень трудно,
Можно тут, а там не смей,
Мне порою так паскудно от того, что я еврей.
Круг ужасно сокращался — сократился чересчур,
И для жительства остался только лишь Миниатюр.

Так пел в двадцать первом году на сцене маленького театра Миниатюр одесский шансонье Зингерталя.

Он мялся в какой-то кошачьей манере, кривлялся, ластился, а публика отвечала ему обожанием и взаимностью. Он был обворожительно лыс, весь гигиенический благодаря лысине, вымытый, ухоженный, какой-то хлебный, в него хотелось тыкать пальцем и кричать: «Ненастоящий! Ненастоящий!»

Уголки рта во время пения у него наполнялись слюной, будто он ел что-то вкусное, и в патетические моменты слюна взрывалась и устраивала такой водяной фейерверк, хоть из театра беги.

Все это был он, Зингерталя, еврейский куплетист, еврейский комик, юноша слушал его с восторгом отвращения, будто боялся отравиться водяными брызгами Зингерталя.

После концерта жена Зингерталя обходила со знаменитой своей корзиной публику и после обхода возвращалась к мужу на сцену, откуда оба демонстрировали публике его же дарное: портсигары, часы, монеты разного достоинства, купюры, цветы, — полная сумка счастья.

Публика бисировала Зингерталю и самой себе.

Решено было подбросить в корзину дохлую мышь, ее приодели в серебряную фольгу и сунули во время обхода жены как игрушку. Демонстрируя подарки со сцены, Зингерталя с интересом пощупал игрушку, развернул, чтобы показать публике, и вдруг так страшно заорал, что юноше стало больно. Так кричал его дед во время погрома, но тогда юноша был ребенком, а сейчас сам чувствовал себя погромщиком.

— Может, не надо с ним так, а? — спросил Пашка. — С чего мы на него так взвезлись?

— Пусть пошlostей не исполняет, — упрямо заявил будущий соавтор № 3. — Сейчас революция.

— Но он старый человек, — продолжал свое Пашка.

— Не старый, а лысый нудный еврей, всюду лезет со своим еврейским нытьем!

Пашка опешил.

— Но ты сам еврей!

— Ну и что? Ты хоть раз слышал от меня что-нибудь подобное? Если хочешь знать, я ненавижу свое еврейство и готов принести его в жертву революции.

Что эти слова означали, юноша и сам не знал, знал только, что стыдится Зингерталя, как стыдился родственников, к которым его водили по воскресеньям родители, — их приземистых комнат, мутных зеркал, старомодной одежды, лицемерной застенчивости. Они вели себя так, будто выбивали жалость из знаменитого своего родственника-профессора. Отец мальчика был известный ученый в городе, химик, по воскресеньям он вспоминал, что родился евреем, и, взяв с собой семью, объезжал близких далеко живущих родственников.

Мальчик ненавидел эти объезды. Сами они жили в центре, он был центровой одессит, а это совсем не то, что окраинный, он был одессит, не подозревающий о знаменитой одесской солидарности, он просто в нее не верил, все родственники были для него просителями, остающимися где-то за чертой его жизни, и, когда нужно было идти к ним, он представлял себе, что после кошачьих ужимок и прыжков их пригласят к столу и он начнет есть тоже что-то кошачье, кисло-сладко-пресное, маленькими кусочками, после чего его стошнит и он почти в обмороке, запивая эту отраву стаканом заботливо предложенного ли-

монада, закрыв глаза, будет ждать момента ухода от этих предупредительных нищих, ухода куда глаза глядят — на воздух, на свободу.

Он не любил прибрежных обшарпанных улиц, по которым они проезжали, он стремился сразу к морю, ему нужно было море, причему сразу все и что-бы на берегу ни одного человека.

Ему нужно было его море, сказочное, не запачканное людьми.

Революция окончательно освободила его от ответственности перед родней, образование, полученное под руководством отца, только развязало руки. Теперь он был занят тем, что врзался в любую работу, полезную для истории, а революция была Историей, и, веря в нее, каждый мог забраться высоко-высоко, до самого счастья.

Революция не жалела, в ней не было глупого сострадания, она давала и брала и этим была похожа на безжалостную юношескую душу, безжалостную в своей чистоте и ясности.

Зингерталя с его кошачьим пением, с его еврейской жалостливостью был позором для революции, его следовало смыть, как пятно.

Но в то же время, если соавтору № 3 удавалось отрешиться от своих слишком очистительных революционных мыслей и поднять глаза на Зингерталя, он видел перед собой маленького артистичного уродца — музыкального, обаятельного и как-то прелестно жалкого, как бывают прелестно жалкими обезьянки.

Но так смотреть он не хотел. В портклубе они организовали небольшой театрик, что-то вроде «Синей блузы», и первым же представлением решили опрокинуть всю программу Зингерталя, раздавить весь этот клоповник еврейских куплетистов и зануд с их подарочными корзинками.

Соавтор № 3 обнаружил в себе какое-то злое умение писать куплеты, злое, потому что возникали они из ненависти к Зингерталю и подобным ему, отражая все, что они пели, как в зеркале, — справа налево. Он ловко рифмовал, и заставить его отказаться от неожиданного умения уже не мог никто.

Они жили весело и жестоко, эти сухопутные одесские пираты, они набирались в родном городе разных умений, чтобы покорить потом мир, они были необыкновенно музыкальны, а революция давала им право быть свободными от условностей. Он научился реагировать стихами на жизнь, научился высмеивать все, что не относилось к революции.

Однажды у входа в театр его остановила жена Зингерталя. Он узнал ее, хотя на улице было промозгло и она напялила на себя какую-то облезлую меховую доху, в руках у нее, как это ни смешно, была все та же корзинка, будто она совершила обход поклонников своего мужа. Но на самом деле просто шла с базара и корзинка была другая, похожая на ту, как все корзинки.

— Ай-ай-ай, — сказала она. — Ведь вы еврейский мальчик, хороший, умный еврейский мальчик, я вижу. Откуда у вас столько злости, мы тоже были молоды, нам было на кого злиться, но мы не злились, зачем вам столько злости?

— Я не понимаю, о чем вы говорите, — сурово ответил он.

— Вы очень способный, я вижу, но зачем вам способности, если вы обижаете людей, мне всегда казалось, что способности нужны для другого. Вы знаете, почему мой муж имеет успех, не знаете? Потому что он добрый.

— Потому что он пошляк! — не выдержал юноша. — Пошляк, играющий на национальных амбициях.

— Вот видите, — сказала жена Зингерталя. — О чем нам говорить?

И пошла себе прочь, в этой дурацкой дохе, с корзинкой, где лежал творок для Зингерталя, селедка для Зингерталя, хлеб для Зингерталя.

Уже позже, в Москве, создав свой собственный, ставший популярным сатирический театрик, очень часто выводил он на сцену таких вот теток — персонажей, напрочь ничего не понимающих, глухих к переменам. Они были последними ископаемыми в этом живом и яростном мире. Он спускал на них собак юмора, и они неслись по сцене, убегая враскоряку под ржание новой публики, лузгающей семечки прямо на пол театра и бешено бисирующей. И чем больше они смеялись, тем больше верил соавтор № 3 в себя и революцию.

Так шла жизнь. Но однажды, возвращаясь из гастролей по Германии, где они имели большой успех, случилось что-то такое, не влезающее в рамки его нового вполне зрелого сознания, произошло столь нелепое, что будто бы и не произошло.

При возвращении из Германии, когда Родина была на расстоянии нескольких километров и, чтобы в нее вернуться, оставалось выйти на последней пограничной станции и пересест в другой состав, где вся бригада, сбившись в кучку, пела, предчувствуя возвращение, перемалывала свой успех, наслаждалась чудесным воздухом поездки, он увидел, как руководитель бригады, талантливый, милый актер и человек, создатель нового революционного стиля, можно сказать, обласканный революцией, увидев приближающийся состав, стал пятиться от него по платформе, забыв про свои чемоданы, страшно, как-то нелепо замахал руками, будто боялся упасть на рельсы, и вдруг побежал по платформе назад к вокзалу, в ту сторону, откуда они возвращались, а за ним после небольшого замешательства бросились руководители поездки, администрация, приставленные к ним специально сотрудники. Они кричали, они пытались остановить его, но он с адской силой перемахнул таможенный контроль, вбежал в вокзал, схватил первого же встречного полицейского и что-то сказал тому.

Позже, уже в поезде, когда вернулись руководители, раздерганные, расстроенные, все узнали, что их режиссер — предатель и что несколько минут назад он попросил политического убежища.

Этот поступок изумил соавтора № 3 настолько, что даже привычное умение клеймить врагов куплетами ему отказало.

Он слишком хорошо знал перебежчика, человека с безупречной биографией, очень наивного и, безусловно, патриота. Что они посулили ему, а если посулили — зачем было доводить все до последней минуты, действовать так рискованно, так безумно? Он ничего не понимал, но, чтобы жить, заставил себя довольно быстро извбиться от этого первого большого непонимания.

Потом наступило время, когда люди просто уезжали, и это было ответом на непонятный вопрос, потому что уезжали друзья. Их слишком легко было бы считать недругами, изменниками, он не стал этого делать. Провожать не ходил, но как-то попрощался с каждым.

Люди уезжали от чего-то неприятно померещившегося им, вероятно, они хотели избежать какой-то опасности для себя и близких, им не нравилась слишком большая категоричность времени. Уезжали родители, сестра, их он приехал провожать в Одессу.

— Что ж, — сказал отец, — твое дело. Ты решил остаться шутить — шути. Но пойми, что шутишь ты с огнем.

— Это твое обычное преувеличение, папа.

Проводив своих, уже в городе он решил побродить по старым адресам, хотя и был лишен свойственной всем одесситам ностальгической сентиментальности, просто ему стало грустно при расставании.

На Соборке показалось, что он увидел на скамейке Зингерталя, мало того, показалось, что тот тоже увидел его и узнал.

— Но каким образом? — спросил он Зингерталя.

Старик, как всегда очаровательно кривляясь, сказал:

— Вас трудно забыть, молодой человек, вы подбросили мне мышь, я смертельно боюсь мышей, я запомнил ваш подарок на всю жизнь, вы были рыжий и горячий. Какой вы теперь?

— Такой же, — запальчиво ответил соавтор № 3.

Зингерталя взгляделся в него и улыбнулся чему-то.

— Да, такие, как вы, не меняются, — сказал он. — Есть люди, которые ищут в мире связи, им интересно, как, что, откуда, есть и такие, которые должны вырыть свои шестнадцать ям, ни больше ни меньше. Вы из тех, кто должен вырыть свои шестнадцать ям.

— Все еще выступаете? — спросил соавтор № 3.

— Выступаю? — переспросил Зингерталя. — Так, иногда, если попросят. Чтобы жить — так у меня работает жена, она очень неплохо работает, в аптечном управлении, я могу позволить себе сидеть сейчас здесь и говорить с вами. А чтобы петь — так я пою для своих, для тех одесситов, которые помнят погромы. Ведь вы родились после погромов, правда?

— Я не помню погромов, — сказал соавтор № 3.

— Вот я им и пою, — грустно сказал Зингерталя. — Должен же им хоть кто-нибудь петь.

О смерти Зингерталя он услышал случайно от какого-то старого эстрадника, знавшего старика еще с допотопных времен.

— Умер Зингерталь, — сокрушенно сказал он. — Вы, кажется, одессит, вы должны были знать Зингерталя...

— Да, немного, — ответил соавтор № 3.

— Чудный старик, его похоронили тихо, одесситы и не догадывались, что хоронят самих себя. В Одессе образовалась хорошая привычка — хоронить себя по частям. Так спокойней.

Но Зингерталь не умер.

Через несколько лет в Одессе, на премьере какой-то кальмановской оперетты, одним из авторов либретто которой он был, соавтор № 3 увидел в первом ряду маленького аккуратного старичка со слуховым аппаратом: старичок придерживал аппарат одной рукой, очаровательно кривлялся и после каждого номера другой рукой посылал актерам воздушные поцелуи.

Соавтор № 3 подошел к нему в антракте.

— Наконец-то вы занялись делом, молодой человек, — сказал Зингерталь, взяв его под локоть. — Я с большой гордостью прочел в программке вашу фамилию. Кальман, Легар — это, знаете, вечно. А что пишут ваши родители?

— Мы не переписываемся, но отец, кажется, умер. Год назад я получил такое известие.

— А мама?

— Мама, кажется, жива.

— Вот видите, как хорошо! Мама жива, вы пишете либретто для Кальмана. Это правда, что Кальман — венгерский еврей? Вам это, конечно, неважно, но для меня имеет значение.

— Кажется.

— У вас есть семья? — спросил Зингерталь.

— Сейчас нет.

— Это нехорошо, — озабоченно сказал Зингерталь. — У человека должна быть семья, дети. Почему вы не обзавелись семьей?

— Так получилось. А как ваша жена?

— Она зайдет за мной после театра, ей всегда кажется, что со мной что-то случится, ведь я старше ее на двенадцать лет.

Они погуляли немножко по фойе, потом Зингерталь, придерживая аппаратик, ушел смотреть последний акт, а соавтор № 3 в ожидании поклонов вышел на балкон и стал смотреть на город. Он жил какой-то сладкой ночной жизнью портового города, собственно, настоящая, горячая жизнь только ночью и началась, было в этой ночи что-то томительное, тебе не принадлежащее, когда любой голос, любой смех пробуждали воспоминания, было что-то в этой ночи невозможно тоскливое, когда ты не мог оказаться рядом с теми, кто жил, шуршал, целовался там, в темноте. Возможно, и шли-то по улице пять человек, а ему казалось, что проходят тысячи.

И тут он увидел ее: она стояла на углу под фонарем у театра, ждала, пока закончится спектакль, ждала своего Зингерталя, временами прислоняясь к афишной тумбе, будто подремывала. Но она не дремала, она просто прикрыла глаза перед тем, как разгрести толпу, выходящую из театра, и шагнуть навстречу маленькому лысому старичку. Он что-то рассказывал ей, удаляясь, восторженно вскидывая ручонки, беспрестанно подергивая плечиками.

Корзинка была при них.

Соавтор № 1

Известие налетело на него так, будто ветер повернул фуражку назад козырьком. Московская группа поэтов находилась в городе целый день, а он узнал об этом только под вечер из маленькой рукописной конструктивистского толка афишки.

Три мало что говорящих ему имени, но четвертое! Это был не человек даже, а какой-то поэтический фантом, ничего не могло убедить его, что он существует реально: всегда казалось, что это чья-то очень удачная мистификация, — не может реальный человек одновременно существовать во всех концах света, быть женатым на самых красивых женщинах, играть во всех казино, дебоширить во всех кабаках, отвечать за все грехи на свете и при этом время от времени выступать в Москве на открытии памятников вождям революции. В такую жизнь невозможно было поверить, если бы не стихи. А это были настоящие стихи.

Их не стыдно было писать после Пушкина. Что было для будущего соавтора № 1 главным аргументом. Сам он тоже что-то такое писал, но, будучи мальчиком таинственным, никому, кроме родителей, не показывал. Им нравилось, но они просили его не относиться к этому занятию слишком серьезно.

— Вам известно, мои дорогие, — сказал будущий соавтор № 1, — что я ни к чему в мире не отношусь серьезно. Кроме вас, разумеется.

Но сердце забилось бешено, когда он увидел афишу.

Маленькая площадь перед театром, много знакомых девчонок, обожающих, с такими загадочными лицами, будто каждую из них связывало с этим глубоко личное. Они грызли ногти и озирались. В кассе билетов не было. Девчонки расположились на площади кучками, как кордебалет, и кучками же топтались на месте. Он мог бы отыскать какую-нибудь влюбленную в соавтора № 1 когда-то и вычланивать билет, но гордость мешала.

Соавтор № 1 вошел в сквер на углу площади и стал ждать. Он не знал, чего ждет, но сердце обещало удачу. Трое вошли в сквер, чтобы прикурить, отгородившись от ветра, и, когда зажглась спичка, он увидел таинственные незнакомые лица и сразу догадался, кто они. Однако подойти и попросить провести мешала тоже гордость.

— Не дождемся, — сказал один из них с длинным унылым лицом, в длинном же черном пальто и шляпе. — Ну и черт с ним, надо начинать.

— Может быть, он догадается прийти хотя бы позже?

— Куда там! Надо за ним кого-нибудь послать. Вот проклятый город!

Длиннолицый оглянулся, как бы ища кого-нибудь поблизости, а ближе соавтора № 1 к их группе никто не стоял.

— Послушайте, молодой человек, вы учащийся?

— Учащийся.

— Вы на вечер?

— Да, я на вечер.

— Где гостиница «Бристоль», знаете?

— Знаю, — ответил мальчик.

— Ну так вот, не смогли бы вы сбежать в «Бристоль», сорок четвертый номер, и привести сюда... — Он назвал имя.

— Он со мной не пойдет, — растерянно сказал мальчик.

— Он с кем угодно пойдет, если его разбудить, вы кажетесь человеком основательным, вы годитесь.

— Но как же вечер?

— Вот именно — как же! Вы скажете ему, что вечер без него состояться не может, что молодежь бушует, наговорите, чего хотите, с три короба, только чтобы он был здесь. У вас билет на вечер есть?

— Нет, — признался мальчик.

— Вот с ним и пройдете, прямо за кулисы. Бегите!.. Может быть, ему целковый на извозчика дать? — обратился он к другим.

— Сказал тоже — целковый! Если он у тебя остался, конечно, дай.

— Ладно, так добежит, недалеко.

И, что самое удивительное, соавтор № 1 действительно побежал, он бежал, забыв про гордость, — на блуждающей комете, на мерцающей звезде мчался он к гостинице «Бристоль», а сердце говорило: «Сейчас ты увидишь его, если добежишь и не умрешь, ты увидишь его».

Возможно, в тот вечер он и надорвал свое маленькое, глубоко спрятанное от всех сердце.

— Мне в сорок четвертый, — сказал он швейцару. — Меня послали, там ждут, велели привести.

— Вряд ли, — сказал швейцар, — вряд ли тебе удастся добудиться, до тебя столько дамочек пробовало, но ты попробуй, может, и услышит.

Соавтор № 1 барабанил в дверь гостиничного номера так сильно, будто и в самом деле боялся подвести нетерпеливую публику: он барабанил в дверь так сильно, потому что был честный мальчик и привык держать слово и еще потому, что ни минуты не верил, что за дверью — тот самый человек.

«О, какой же я провинциал! — подумал соавтор № 1. — Жуткий провинциал».

Кто-то продвигался к двери из глубины номера, именно продвигался, тихо, не желая быть обнаруженным, потом остановился. Так они и стояли друг против друга, разделенные толстой дубовой дверью гостиничного номера.

Звезда успела взойти и погаснуть.

Наконец из-за двери слабо:

— Ушел ты или нет?

— Никуда я не уйду, пока вы не откроете, — ответил мальчик.

— Почему я должен вам открывать?

— Потому что концерт без вас состояться не может, — ответил соавтор № 1 и неуверенно добавил: — Молодежь волнуется.

Дверь открылась. Неожиданно для соавтора № 1 они оказались одного роста, только соавтор был одет в гимназическую шинель, а поэт стоял перед ним абсолютно голый. Мальчик зажмурил глаза.

— Входи, — сказал поэт. — Это они подучили тебя так говорить со мной, признайся, а? — хитро спросил он, и в лицо мальчику засветились желтые, как ему показалось, круглые, абсолютно кошачьи глаза.

Он схватил соавтора № 1 за плечо и втащил в глубину комнаты.

— Никуда мы с тобой отсюда не уйдем, — сказал он. — Отель «Бристоль», номер люкс, нравится, да?

Соавтор № 1 оглянулся. Номер был паршивенький, с отбитой лепниной, с глупым, половину номера занимавшим буфетом, желтыми застиранными шторами, но самым паршивым, даже жутким показалось мальчику яйцо, лежащее прямо на столе, не скатываясь, и полстакана какой-то жидкости, прикрытой сверху котлеткой. Одежда, разбросанная по номеру, рядом с этой картинкой просто успокаивала.

— Мне сказали, что вы проведете меня на концерт, — пробормотал мальчик.

— Ах, всего-то! — засмеялся тот. — Билета тебе не досталось? Ну, так для этого нам уж и давно покидать «Бристоль» не надо. Я буду читать тебе одному, согласен?

— А как же они? — в каком-то неописуемом восторге спросил соавтор № 1.

— А что ты думаешь, они не поэты и публика их слушать без меня не станет? Ну, а если не поэты, пусть лучше поймут это сегодня, надо же когда-нибудь им это понять.

Он засмеялся каким-то доверчивым детским смехом и вспрыгнул на кровать.

— Надеюсь, вид мой тебя не смущает? Ты ведь мужчина, я буду читать тебе отсюда, а ты возьми стул и садись в угол, у нас будет все не хуже, чем там, — и подмостки, и зрители.

Он стал прыгать голый на матрацной сетке, как паец, и хохотать.

— Ну и кровати у вас в «Бристоль» крепкие, — сказал он, угомонившись. — Ты хоть стихи мои раньше читал?

— Все, — ответил соавтор № 1 и чуть не заплакал от ущемленной гордости: ему показалось, что тот издевается над ним.

— Так уж и все? — насмешливо переспросил поэт. — Держу пари, что эти ты никогда не слышал.

И он стал читать стихи отрывисто, резко, даже грозно немного, и глаза его при этом горели нестерпимым желтым кошачьим блеском.

Далеко, в концертном зале, назревал скандал и прорвался, проклинали их обоих и на сцене, и в зале, а здесь перед ним стоял голый человек и читал чудесные стихи.

И тут мальчик заплакал.

От неожиданности поэт растерялся, сел на кровать и прикрыл голые ноги одеялом.

— Ты что? — спросил он.

— Я боюсь, — ответил мальчик.

— Чего боишься?

— Что вы сейчас опомнитесь и прогоните меня.

— Какой же ты странный посланник, — сказал он. — Странный, странный.

Он подошел совсем близко и начал смотреть на мальчика так пристально и долго, будто пытался понять, зачем он появился в его жизни.

Потом перевел глаза на окно.

— Луна-то хоть в вашем городе есть? — спросил он.

— Есть, — ответил мальчик. — Но она выступает во втором отделении.

Поэт опешил и стал хохотать так, что яйцо сдвинулось и покатилося к краю стола, с необыкновенной ловкостью он успел подхватить его.

— Скушай яичко — заслужил, молодец, — сказал он и быстро проглотил полстакана водки, почему-то не закусив котлеткой, а занюхав. — Я сейчас.

И, подобрав одежду, скрылся в ванной. Одевался он так долго, что мальчику показалось, будто он снова уснул и теперь уже точно не добудиться; мальчик испугался, но тут поэт вышел из ванной тщательно и франтовато одетый.

Мальчик глаз не мог оторвать от идеально выглаженной складки брюк, только что тряпкой лежавших на полу. На поэте, кроме по последней моде шитого пиджака, были еще свежая сорочка и бабочка.

— Что-то, а это я умею, — сказал он.

Когда вышли из гостиницы, он попросил мальчика:

— Не спеши, я хочу, чтобы ты показал мне город.

Соавтор № 1 заторопился, он стал болтать без умолку, неожиданно для себя его прорвало, ему захотелось поблагодарить за стихи, но вскоре поэт оставил его.

— Не надо, — сказал он, — не старайся. Я вижу сам. Если зима способна скрыть все лучшее в этом городе, что ты сумеешь мне о нем рассказать?.. Вся Россия — степь, — сказал он, — а в степи — костры, у костров сидят мужики и смотрят на огонь, никаких городов нет, цивилизация — это мираж от слишком долгого смотрения на огонь. Скажу тебе по секрету, и весь остальной мир — а я уж навидался — тоже бескрайняя степь, но мне почему-то не верят. Пейзане и пейзажи, — сказал он. — Все. Только переодетые. И мы с тобой. Никакого бессмертия нет, кроме бессмертия земли, все исчезает бесследно. И памяти нет, одна степь. Знаешь, как это больно?

— Знаю, — ответил мальчик. — Но все же, я думаю, память есть. Я буду помнить это вечер всегда и никому-никому не скажу о нем, честное слово.

— Вот видишь! — засмеялся поэт. — Никому-никому, какая же это память?

Потом мальчик смотрел на него из-за кулис, слушал знакомые стихи и не узнавал их. Стихи, оказывается, обладают способностью принадлежать тем, кому их читают. Они могут быть женскими и мужскими, добрыми или злыми, талантливыми или бездарными. Но это способность очень хороших стихов.

И чем больше читал поэт, чем больше бисировала публика, тем скудней и растеряней становились лица остальных участников группы, им было как-то не по себе, хотя слава товарища выпадала и на их долю, но, видно, есть что-то сильнее человека, чему он не может противиться.

После вечера поэтам некуда было деться, наверное, они не знали, где выпить, и мальчик пригласил их к себе.

— Родители будут рады, — сказал он.

Родители действительно были рады. Они сделали вид, что так и должно быть — куда же еще прийти в полночь, как не в их дом? Праздничная посуда была выставлена на стол, эмалированные серебряные рюмки — все, что было.

Отец достал из буфета графин с наливкой собственного изготовления.

— Дуже смачно, — сказал один из поэтов. — Вы большой специалист.

Вероятно, что-то в вечере раздражило их, потому что они никак не могли перейти к мирной застольной беседе, или их смущал поэт, сидевший мрачно и время от времени наклонившийся, чтобы поцеловать маме руку.

— Вы настоящая русская женщина, — сказал он, — хранительница очага.

— Я немка, — сказала мать.

Тогда единственный раз за вечер он рассмеялся, опередив других, которые тоже хотели рассмеяться, но как-то иначе.

Потом соавтор № 1 повел гостей смотреть дом. Тот, в черном пальто, длиннолицый, очутившись в комнате мальчика и увидев, какие книги он читает, сказал подозрительно:

— Уж не поэтом ли вы собираетесь быть, молодой человек? Небось стихи валяете? Не дадите ли почитать?

И потом все время что-то пытался вкрутить про поэтическое начало в соавторе № 1.

— Смотрите, — сказал он родителям, — а то кончит, как этот.

Поэт попытался что-то сказать в ответ, но только побледнел страшно, вскочил и заторопился в гостиницу.

— У вас очень хороший дом, — сказал он. — И сын у вас хороший.

Когда они ушли, мать сказала: «Какие страшные люди...»

— Почему? — спросил соавтор № 1.

— Не знаю, но мне было с ними страшно.

— Наверное, потому что они дикари! — рассмеялся отец...

От этих воспоминаний осталось только то, что соавтор № 1 всю жизнь не видел любые воспоминания.

Соавтор № 2

Никто не подозревал, какая в этом тучном мальчике гнездилась ярость.

Он вскипал неожиданно, когда все давно успокоились, и его долго не удавалось утихомирить.

— Моя кровь, — с гордостью говорила мама. Она была татка. Таты считались горными евреями. Но сами таты это отрицали.

— Почему же не моя? — спрашивал отец кротко. Он был просто еврей.

После семейного обсуждения все же склонялись к тому, что скорее мамина.

Мама была окружена в доме особым вниманием. После того, как она без согласия родителей вышла замуж за еврея Вайнштейна, служившего в органах, родители от нее отказались. Таты не хотели в своей семье еврея-чекиста и, несмотря на все мамины мольбы, в Москве не появлялись, с зятем и внуками не знакомились.

Мама была окружена особым вниманием, потому что была несчастна.

Но несчастным на самом деле был папа. Работал он в основном по ночам, и, когда возвращался под утро, его красивое лицо выглядело постаревшим и некрасивым.

Он снимал сапоги в передней и шел по комнате в носках к креслу бесшумно, чтобы сесть и уснуть, не разбудив никого и, главное, не потревожив маму.

Они жили в любви, и только тень деда-тата иногда омрачала их отношения. Дед послал дочку в Москву поступать в консерваторию, а не выходить замуж за чекиста. Она же сделала все наоборот — не поступила, но вышла.

Дед, по воспоминаниям мамы, был георгиевский кавалер, стоящий джигит, он и сам обладал дивным голосом и однажды в четырнадцатом году удостоился чести петь государю, за что был награжден большой суммой денег, и после сумел защитить честь свою и императора при попытке однополчан-горцев похитить у него награду.

Мать рассказывала, что, когда маленького роста дед начинал петь, он становился высоким, как горы. Будущий соавтор № 2 воспринимал ее рассказ буквально и очень боялся деда. Всевозможные страхи вообще рано проникли в его жизнь.

Родители отца жили в Киеве, на Подоле, невестку они признали сразу, сыном гордились, внуков любили. На их письмо с просьбой о воссоединении семьи горский дед даже не ответил.

Это была тихая большая семья советского служащего, потому что работу в ОГПУ можно было приравнять в последнее время к самой обычной службе: такое количество людей встречалось на улице в форме ОГПУ, столько песен про них сложено, столько фильмов поставлено, что они уже не удивляли, как раньше военные, внезапно появившиеся в обществе, а даже как-то примелькались. Отец, по природе и отчасти в связи со своим родом деятельности тихий и молчаливый, о своих делах не распространялся, и это очень раздражало мать, которая из-за отца и детей отказалась от собственной карьеры. Она принадлежала семье.

Гости приходили к ним редко, чаще других — Луценко, заместитель отца в каком-то там отделе, очень симпатичный хохол, громкий, общительный, всегда с комплиментами маме, с подарками, но соавтор № 2 подглядел однажды, что, когда все выходят и ничье присутствие Луценко не смущает, он меняется и выражение лица у него становится тревожным-тревожным, как у отца.

Конечно, если бы не Москва, жить было бы скучновато, но Москва подменяла собой жизнь. Это была какая-то особая страна — московское детство со своими благоустроенными двориками, где обязательно зелень, качели и соседи, с белыми парходиками, с доброжелательными старушками, с шипением шин по снегу, какая-то чудесная страна, в которой не могло быть трагедий.

Но однажды вместо отца ночью пришел Луценко и сказал, что отец не вернется.

Мать почему-то сразу все поняла и ни о чем не спрашивала. Дети ничего не поняли, но тоже спрашивать боялись. Некоторое время нуждались, по-

том мать устроилась куда-то на склад и жизнь с трудом, но все же налаживалась. Об отце в доме не вспоминали.

Тогда-то соавтор № 2 сделал наблюдение, что вся жизнь была организована так, чтобы люди ничему не удивлялись, жизнь обязана была идти без событий, особенно личных, событие могло быть только общенародное, но люди все-таки оставались людьми и тихонько плакали по ночам.

Это была какая-то идеальная схема жизни, как понял он впоследствии, где ответственность за тебя брал кто-то выше, как в монастыре со своим уставом и отцом-настоятелем.

Но, вероятно, жизнь обладает каким-то таинственным свойством вести самостоятельную интригу, вносить коррективы, проникать в любую щель, уходить, возвращаться, и однажды ночью незнакомый человек принес маме записку. Вот тут-то вся эта интрига и началась. Записка была от отца. Он писал, чтобы она поверила и навестила его в больнице МГСПС в Сокольниках, но представилась ни в коем случае не женой, а знакомой больного Ефима Кухарского, под чьим именем он там лежит.

В этот бред невозможно было поверить, и, убежденная в провокации, мать сказала, что никакого Кухарского она не знает и в больницу не пойдет.

Посланец пожал плечами и сказал, что ему все равно, так как его сегодня выписали, эту записку сунул ему сосед по палате, перенесший после автокатастрофы сразу несколько операций: трепанацию черепа, переломы рук, ног, — но чудом оставшийся жив. Записку он просил передать ей.

Мать задумалась и спросила: как выглядел этот человек? Но пришедший ответил, что видел он его только в постели, в гипсе и бинтах и описать его внешность не в состоянии.

После того, как он ушел, мать задумалась, думала она недолго, так как была хитрой и умной таткой. Она вызвала двоюродную сестру отца, жившую в Москве, и после долгих клятв доверила все подробности записки.

Чтобы не подвергать семью опасности, двоюродная сестра должна была проникнуть в больницу и хотя бы взглянуть на этого Кухарского. Что и сделала.

После ее возвращения мать заперлась в комнате, и дети услышали, как плачут таты, когда у них горе.

Но это было не горе.

Человек, именуемый Кухарским, действительно оказался отцом и, выписанный из больницы, был спрятан мамой все у той же двоюродной сестры, а потом, не заходя домой, вывезен в Махачкалу к деду.

Наверное, на то были очень серьезные причины, но дед не только принял зятя, а, как выяснилось позже, увез его в горный аул и держал там целый год как дальнего родственника под фамилией Гейченко.

Через год однажды вечером отец вернулся в семью. Это был чужой человек, живший под чужой фамилией и не знающий, как ему устроиться на работу, а не сидеть у жены на шее.

После долгих обсуждений в дом решили пригласить Луценко. Он увидел отца и так страшно зарыдал, что семья испугалась за него. Но Луценко выдержал встречу и рассказал правду, которую никто не мог знать: ни отец, ни мать.

Тут уже сюжет приобретает вообще дикий поворот.

Дело в том, что в ту знаменитую чистку 39-го решено было ликвидировать с группой отработавших свое чекистов и отца тоже. Об этом случайно узнал Луценко и принял странное, но, как он говорил, единственно правильное решение — ликвидировать отца без мучительных допросов и расстрела, устроить ему автокатастрофу. Две машины, груженные кирпичом, врезались в маленькую «эмку» отца, когда он возвращался из гостей в выходной один, без мамы, к счастью, в штатском и без документов, что было известно организовавшему эту поездку Луценко. В течение минуты «эмка» была смята, водитель погиб, а приехавшая «скорая» подобрала кровавый комок — без лица, без документов, который каким-то чудом сообразил не называться своим именем, а назвался путейским инженером Кухарским и был отвезен в больницу железнодорожников. Остальное известно.

Луценко сказал, что теперь он верит в Бога, потому что дело отца давно пересмотрено и он может вновь явиться на службу. Что оказалось абсолютной правдой. Отца вернули на службу, осыпали разными мелкими привилегиями, водили по отделам — демонстрировали как чудо находчивости и удачливости.

Единственное, о чем просил Луценко,— это не рассказывать, какую он сам играл роль в этой истории.

Так что спаситель Луценко или убийца, соавтор № 2 никогда не узнал. Он понял, что в разных обстоятельствах можно считаться в равной степени и тем, и другим. Это очень пригодилось в его будущем занятии.

Но все это было не чудом житейской интриги, настоящее чудо явилось в образе деда и бабушки, которые привезли свое благословение и выразили желание выехать в Киев к родителям отца. Дед кипел нетерпением их увидеть так же, как раньше клялся не встречаться с ними никогда.

Они встретились в святом городе Киеве, на Подоле, и подружились. Они жили у киевского деда целый месяц, и весь Киев узнал об удаче отца соавтора № 2.

Оба деда любили выпить, пили шумно, бабки молились, чтобы они выдержали этот нескончаемый праздник.

А потом пришла телеграмма от отца с просьбой прекратить веселье и немедленно выехать в Москву, так как возможны серьезные события: он не мог написать, что вот-вот начнется война, но об этом и не нужно было писать, потому что война началась.

Отец потребовал немедленно эвакуироваться из Киева, но старый киевлянин не захотел оставить город, а старый горец бросить друга в беде.

Их расстреляли в Бабьем Яру вместе с женами вскоре после того, как в Киев вошли немцы.

К чему этот сюжет, никто не знает, как никто не может объяснить соавтору № 2, к чему вообще вся эта чушь собачья.

Соавтор № 4

Как-то он изрядно поднадоел самому себе. Из войны в тиф, из тифа в войну. Значит, это и есть жизнь? Значит, это и есть обещанная ему жизнь?

Вот уже несколько дней он пытался вернуться из бреда. А это длинный путь. Ты идешь один, никто не показывает тебе дорогу. Заманчиво разлечься на этом пути, заложив руки за голову, глядя в небо. Он и лежал, только не на земле, на больничной койке, и закинуть руки не было сил. Он слышал: рядом шепчутся двое, шепчутся, шепчутся так тихо, что вслушаться почти невозможно — шепот давит на мозги, он уже каждую ночь слышит их шепот, и смысл шепота ему ясен. Они хотят бежать, но, перед тем как бежать, эти двое решили выпустить кровь из всех больных, и мою кровь, и мою! Слить в стеклянные банки, заменяющие нам утки, все погрузить на грузовик, а по дороге слить с моста в реку.

Перед ним река, наполненная его кровью, она бурлит и выбрасывает ему в лицо кровавую пену.

— Сестра! Сестра! — кричит он одними губами, но она не слышит, и тогда он садится на кровать и хватает со стула ложку и машет этой ложкой перед собой, как ножом. Только тогда прибегает сестра, он показывает ей на лежащего в углу человека, из которого те двое уже качают кровь, но она не хочет видеть, зовет санитаров, и два бойца-санитара водворяют его на кровать силой.

Он лежит на больничной койке, вроде бы отдыхая от войны и в то же время продолжая идти, идти...

«Сколько дней я здесь?» — подумал соавтор № 4 и открыл глаза. То, что казалось все это время розовым туманом над головой, было всего лишь закопченным деревянным потолком с чудовищной рельсой посередине, будто тебя переехал поезд. Никого не было рядом, только за занавеской тихонько постанывала во сне женщина. Бред продолжался. Он снова закрыл глаза. Женщины предпочитали дружить с ним, потому что он умел слушать их любовные истории, а сам в герой романа не набивался. Хотелось бы, конечно, любить кого-нибудь, но только он начинал разговор, как по звуку его голоса они понимали — он тот, кому можно лишь рассказывать. Женщины любили его за то, что он умел слушать, мужчины не любили за то, что он слишком много болтал с женщинами.

— Дурак! Я делаю то, что должен был бы ты делать,— улыбаясь, говорил соавтор № 4, получая всегда один и тот же ответ: «Не беспокойся, я свое дело знаю».

Он снова открыл глаза и снова услышал стон, такой тоненький, будто женщина за занавеской прощалась с жизнью. Может быть, те двое качают из нее кровь? «Бегите,— шепчет он одними губами,— бегите».

Но та за занавеской не слышит и продолжает стонать. Кто-то держит его под мышки, вливая в рот горький и отвратительный отвар, он пытается отвести это пойло рукой, и тогда тонкая струйка льется изо рта на грудь, вызывая озноб во всем теле и нестерпимую тоску. Может быть, сестра знает, кто вливал в него этот яд?

— Сестра,— позвал он громче.— Сестричка!

— Нема сестрички,— ответили из-за занавески.— Як я хочу побачити вас, я уже второй день в сознание пришла, а вы все стонете и стонете. Хиба ж можно так стонать?

Тут он заметил, что лежит неукрытый, хотел натянуть одеяло, но сил не было.

— Вы кто? — спросил он.

— Я сапер Коваленко Ниночка, женского лазарета нэма, от меня к хлопцам и положили, та вы не лякайтесь, я вас все одно не бачу.

Они помолчали.

— Вы гарный? — спросила она.— Я усе хочу сестричку спытать — чи вы гарный, а стесняюсь.

— Я сыпнотифозный,— с горечью ответил он.

— Ой, який вы смешный, тут уси сыпнотифозни, не вы один. Вам скильки рокив?

— Что?

— Ну, лет вам сколько? Вы що, по-украински не розумеете? Голос у вас, як у хлопчика, ласкавий-ласкавий. Вы звидкиля?

— Из Москвы,— ответил он.

— Значит, москаль,— сказала она.— Я москалей не дуже люблю, но они все-таки лучше жидив.

Он замер.

— Как вы сказали? — переспросил он.

— Ну, евреев лучше, евреев! Хиба у москалей жида не говорят?

— Говорят,— после небольшой паузы ответил он.

— А вы як к жидам относитесь? — спросила она.

Честное слово, он не знал, что ответить! Наконец сказал:

— Люди как люди. Давайте о чем-нибудь другом.

— Яки ж вони люды, вы гадаете, кто в ций войне повинен? Та жиды! Гитлер бы на нас не напав, коли б жидив усюди не насажали, генералы — жиды, министры. А Молотов один — не разорвешься.

— Вот Молотов пакт о ненападении с ними и подписал,— устало сказал он.

— Ну и добре зробив, що подписав, мы рок життя выиграла, я сестру с хидной Украины побачила. Вы во Львове были?

— Нигде я еще не был,— ответил он.

— Ой, який город культурный, крамниці, костелы, я там перший раз сходила в оперетту, обхохочешься!

Он схватился как за живое:

— А вы оперетту любите?

— Ще як! Фиялку з Монмартру. Меня саму Ниной зовут, Нинон значит. «Карамболина, Карамболетта», — запела она.

— Ну поздравляю,— сказал соавтор № 4.— Завтра выпишут.

— Нет, вы мени лучше скажите, чому в оперетте столько жидив, я сестру про акторив распитувала, так про кого ни запитаю — жид!

— Да что же вы так евреев не любите? — не выдержал он.

— А вы любите? Ой, что-то не верится мне, чтобы русский чоловік евреев любил, у меня з ними свой счет есть. Мени у школи один хлопец дуже подобался, високий такий, гарный, он к нам з Винниці переихав, хай вин сгине, уж я извертелася перед ним вся, а он будто меня и не видит — все за еврейкой увиивается, за Риткой Ниренберг, гордая така евреечка була, капризная, и чем она ему угодила, это я потом поняла, что еврей по-серьезному только со своими водятся, но я-то его за еврея не приймала, ох и заздрилась, ох и мучалась, а тут раз его родители в школу пришли, я как глянула на них, сразу поняла — жид, и все як рукой сняло... Ты меня слушаешь? — спросила она.

— Да, я слушаю,— безвольно ответил он.

— Интересно, а мог бы ты меня покохати? Я до тифа красива була, это меня сейчас остригли, а раньше волосы у меня были длинные-длинные. Ты бы мог меня такой, как сейчас, полюбить?

Он ничего не ответил. Он лежал и думал, что мог бы полюбить ее любой, потому что никого еще не любил, потому что ему было жалко ее и потому что она шла тем же путем, что и он, но вот почему он смалодушничал, не признался ей в своем еврействе, понять никак не мог.

Когда пришла сестра, он сказал:

— Если со мной что-нибудь случится, пожалуйста, напишите дяде: Москва, Огарева, 3, Берлянду С. В. Маме не сообщайте, у нее сердце слабое...

Потом он взял принесенный сестрой компот, выпил и, памятуя, что стеклянной банки под кроватью уже нет, помочился в пустой стакан.

Эпilog

Над городом разливалось зарево. И в этом зареве чертыхался город, перерачивалась жизнь. А они сидели себе в саду «Эрмитаж» и сочиняли заявку.

Соавтор № 4 (*читает*). Лето тридцать шестого. Поляна под колхозом западнее Москвы, ближе к границе. (*Прерывает чтение*.) Поляна не смущает?

Соавтор № 1. Кого может смутить поляна?

Соавтор № 4. Я не знаю, ну, все-таки место действия...

Соавтор № 1 (*смежив веки*). Продолжайте, пожалуйста.

Соавтор № 4 (*продолжая*). Поляна под колхозом. Дед Влас, бывший ефрейтор, учит девушек военному делу, предвидя войну, в которой и девушки пригодятся.

Соавтор № 3 (*вскакивает*). Стоп! Здесь нужен номер. Многоголосье. Хор девушек.

Соавтор № 2 (*подозрительно*). Кто напишет стихи?

Соавтор № 3. Лебедев-Кумач. Шучу. Конечно, я напишу.

Соавтор № 1. Очень хорошо. Дальше.

Соавтор № 4. Все-таки меня смущает поляна...

Соавтор № 1. Далась вам поляна, мой дорогой. Ну, назовите — луг.

Соавтор № 4. Луг еще хуже. Ладно. Поляна так поляна.

Соавтор № 2 (*неожиданно*). Можно написать делянка.

Соавтор № 1. Не смешите.

Соавтор № 3. Так мы с места не сдвинемся. Напоминаю, это всего лишь заявка. Всегда можно переделать.

Соавтор № 2. А заявка — это аванс. Гарантированный.

Соавтор № 3. Тонко подмечено. Чувствуется огромный государственный ум. Все стихи первого акта беру на себя.

Соавтор № 1. Очень хорошо.

Соавтор № 4 (*продолжает читать*). Дед Влас учит военному делу. Парни протестуют, но посрамлены.

Соавтор № 1 (*напевает*). Утомленное солнце тихо светит над нами...

Соавтор № 4. Марья (героиня) не участвует; она забытая, неграмотная, боится сурового старорежимного папаша.

Соавтор № 1. И зеленые волны нам ласкают чело.

Соавтор № 2 (*первому*). Только вы один умеете так перевернуть классику.

Соавтор № 1. А как надо?

Соавтор № 2 (*неожиданно высоким голосом*). И прибой черноморский шепчет нам про любовь... Летом я еду в Сочи.

Соавтор № 1. Сочи — это классика советского отдыха.

Соавтор № 4 (*продолжает читать*). Приезжает на велосипеде письменосец Наташа, жалуются, что в Петровке все Петровы, трудно найти адресата. Здесь мы наметили еще один номер.

Соавтор № 1. Номер?

Соавтор № 4. Номер.

Соавтор № 2 (*обращаясь к третьему*). Вы напишете?

Соавтор № 3 (*нервничает*). Я напишу.

Соавтор № 1. Умением стряпать театральные снадобья мы равны поварам эрмитажным, бывшим, и «Праги», к сожалению, тоже бывшим.

Соавтор № 2 (*насмешливо*). Да уж! Письмоносец Наташа — это так оригинально.

Соавтор № 3 (*в запальчивости*). Придумайте лучше.

Соавтор № 2. Сдаюсь.

Соавтор № 1. А вы знаете, слово «авоська», оказывается, изобрел Ласкин.

Соавтор № 3. В заявке четыре страницы. Если мы будем после каждого абзаца...

Соавтор № 1. Молчу.

Соавтор № 3 (*ворчливо*). Будто мы первый раз пишем заявки.

Соавтор № 2. А он свое изобретение запатентовал?

Соавтор № 1. Ласкин? Нет, он подарил его человечеству.

Соавтор № 2. Какой молодец!

Соавтор № 4. Марья получает письмо от находящегося в армии мужа, прочесть его не может, Наташа предлагает ликвидировать ее неграмотность. Марья отказывается, так как «учиться девушке грех», папаша не велит. Номер?

Соавтор № 3. Номер. Марья — тоска по мужу. Я его почти написал.

Соавтор № 1. А вот я за всю свою жизнь не изобрел ни одного нового слова.

Соавтор № 2. Вам грех жаловаться, мой дорогой.

Соавтор № 1. Нет, нет, я слишком, слишком доверяю старым.

Соавтор № 4. Такое впечатление, что все это нужно одному мне.

Соавтор № 1. Что вы! Это и вам не нужно.

Соавтор № 4. Появляется Иван (герой) с другом Егором Синицей (про-стак). Иван — делающий карьеру летчик, Егор у него под башмаком. Номер?

Соавтор № 3. Я напишу.

Соавтор № 1. Нет, чтоб Бог послал какое-нибудь ерундовое, но полезное в хозяйстве слово.

Соавтор № 2. Делающий карьеру летчик... делающий карьеру... Они там не придурятся?

Соавтор № 3. Но надо же хоть немного остроты, а то боимся, всего боимся. Сколько же можно бояться?

Соавтор № 1. Дальше, пожалуйста. Приближается священное время обеда (*бормочет*).

Соавтор № 4 (*неожиданно смеется*). Простите...

Соавтор № 1. Чему радуется? Не жадничайте, поделитесь с нами своей радостью.

Соавтор № 4. Я вчера одну даму хоронил, жену старинного приятеля, я вам позже расскажу, она в ванне утонула.

Соавтор № 2. Начало смешное. Самоубийство?

Соавтор № 4. Какое там! От старости. Старая, слабая дама. В собственной ванне. Он сам три года, как умер. Спиридонов, может быть, слышали от меня? А она сейчас, Спиридонова Екатерина Алексеевна. И видел-то я ее за жизнь несколько раз, а хоронить больше некому было. Очень одинокая старушка.

Соавтор № 3. Нельзя ли об этом после?

Соавтор № 4. Конечно, конечно. (*Читает*.) Делающий карьеру летчик, Егор у него под башмаком.

Соавтор № 1. Я бы попросил все-таки вас дорассказать.

Соавтор № 4. А, ерунда! Вы же знаете, со мной всегда подобное случается...

Соавтор № 2. Расскажите, если начали.

Соавтор № 3. Но друзья мои!

Соавтор № 4. Не стоит большого внимания, так, чушь собачья.

Соавтор № 3. Это уж наверное.

Соавтор № 4. Выносят ее уже в гробу, это в морге было, загримированную, приодетую, тихая, умиротворенная, а все-таки что-то необъяснимое в ней есть. Вроде она и не она. Приглядываюсь. Вроде у Екатерины Алексеевны нос поменьше был, а лицо, наоборот, покрупнее, посуластее, неужели, думаю, эта страшная смерть так ее преобразила? На всякий случай спрашиваю осторожно: «Вы уверены, что это она?» А они мне: «А вы что, не уверены? У нас никакой другой старухи в холодильнике нет». Смирился, делаю вид, что все в порядке, но только на руки глянул — снова вижу: не она, чужие руки. У той удивительно маленькие детские кисти были, я их запомнил, а у этой грубые, крестьян-

ские. Говорю: «Простите, это не она, у нее руки другие». А они мне: «Руки? Да вы Бога благодарите, что хоть такие, три дня в воде пролежала». Продолжаю смотреть. Всем сердцем пытаюсь не о лице, не о руках думать, а о самой покойнице, но не могу, никого она мне не напоминает, решительно никого. «Как хотите, а это не моя», — говорю. «Ах, не ваша?» «Не моя». «Ну, тогда, — говорят, — идите и сами ищите...»

Соавтор № 2. Мне тоже приходилось. Я друга вместе с гримером в божеский вид приводил. Чтобы родня не испугалась. Под кислородной машиной долго лежал. Надо было бороду брить, огромная борода отросла. Помню — рядом с кушеткой в ведерке полиэтиленовом сердце плавало, распухшее в воде сердце, большое, плоское, как подсолнух. А он лежит на кушетке уже одетый, в шерстяных носках, а на одном носке — дырочка.

Соавтор № 4. Вот-вот. А я в первый раз. И очень мне не по себе знаете. Служитель впереди идет, простыни стремительно приподнимает, идет, не оглядывается, презирает: «Видите, одни мужики, видите, ну, что, удовлетворены?» — спрашивает. «Очень удовлетворен, — отвечаю, — но позвольте еще посмотреть».

Соавтор № 1. Неужели нашли?

Соавтор № 4. Нашел. Обезображенная очень, в самом дальнем углу, но узнать можно. Ну и задал же я им работы... Когда кое-как привели ее в порядок, выяснилось, что одевать не во что, не раздевать же ту, первую? Кричат на меня: «Вам-то какая разница была, сами говорите — ни той, ни другой толком не знали, раз дают — берите». Шум страшный. Хорошо, нашлась одна сердобольная пожилая дама, вошла в положение: «Если вы такси возьмете, я здесь недалеко живу, кое-что из одежды подберем, у меня юбка и кофта старые есть. Рисунок, правда, веселенький, довоенный, вас не смутит?» «Благодарю, не смутит», — говорю.

Соавтор № 2. Да...

Соавтор № 1. Так в веселеньком и похоронили?

Соавтор № 4. Так и похоронили.

Соавтор № 1. Пусть ей земля будет пухом. А не переделать ли нам заявку, дорогие мои, чем не опереточный сюжет?

Соавтор № 3. Вот вы и пишете. У вас мрачненькое очень удачно получается.

Соавтор № 1. Да, я закоренелый мрачновед.

Соавтор № 4. Вы уж меня простите...

Соавтор № 2. Очень забавно, очень.

Соавтор № 3. Куда уж забавней! Дайте мне. (*Забирает заявку.*) Только, пожалуйста, без новых сюжетов. Все устали.

Соавтор № 4. И всегда я так... неловко.

Соавтор № 3 (*читает*). Песня Ивана. Сравнение орла-птицы с соколом-летчиком. Я напишу.

Соавтор № 1. Пишите.

Соавтор № 3 (*читает так, чтобы его не могли остановить*). Егор стремится попасть домой в соседнюю деревню, уговоры Ивана побыть здесь отвергает. Влас берется подвезти Егора, идет запрягать телегу, Егор знакомится с Наташей, любовь. Номер?

Соавтор № 1. Номер. Вы напишете?

Соавтор № 3. Да. (*Читает еще быстрее.*) Наташе надо доставить корреспонденцию в деревню, куда едет Егор, но сейчас она ехать не может. Егор решает ее подождать. Иван находит в Марье неграмотное забитое существо, которое не может быть для него подругой жизни.

Соавтор № 1. Рождается в тоске на глубине бездарный замысел-рыба.

Соавтор № 3 (*прерывая чтение*). Что вы сказали?

Соавтор № 1. Правду. Я неисправимый эстет.

Соавтор № 3. Я просто слов не нахожу.

Соавтор № 2. А вообще-то все равно, о чем писать. Кто платит, тот заказывает музыку. Государство нам платит и очень неплохо. Зачем же бунтовать? И вообще самое важное — интонация. Вот Бернес поет, слышите? Думаете, он задумывается о чем-либо? Да никогда. Главное — задушевно.

Соавтор № 1 (*четвертому*). Слушайте, вы самый молодой, сгоняйте в гастроном, купите коньяк, надо помянуть старушку.

Соавтор № 3. Вам бы повод.

Соавтор № 1. Но сейчас он и в самом деле есть. Представляете — на свете все чаще обнаруживаются одинокие люди, невестребованные покойники, вдовцы и сироты. Мое сердце — приют для одиноких, в нем всегда найдутся сочувствие и рюмочка коньяку. Только обязательно армянский, ладно? Вот вам деньги.

Соавтор № 4. У меня есть.

Соавтор № 1. Никто не сомневается, но вам ваши нужны, а мне мои нет. Все мои деньги пропащие, я продую их на бегах.

Соавтор № 3. Что, по-прежнему не везет?

Соавтор № 2. Вы лучше Бернеса послушайте, душевная гигиена.

Соавтор № 1 (*третьему*). Как вы смеете так говорить человеку, позволяющему себе проигрывать на бегах уже более сорока лет? «Не везет!» Человеку, которого знает весь ипподром, и нет там ни одного, кто не дал бы мне взаймы. Но я не прошу. Представьте себе, за все эти годы я ни у кого не взял взаймы.

Соавтор № 3. На что тратятся наши гонорары! Лучше бы вы оплачивали мои алименты.

Соавтор № 2. Я не знаю ни одного старика, который не мечтал бы умереть с репутацией Дон-Жуана.

Соавтор № 3. Это ко мне не относится.

Соавтор № 1. Почему вы не сказали мне этого раньше? Ваши дети — мои дети.

Соавтор № 3. Пожалуйста, не преувеличивайте.

Соавтор № 1. Что вы! Я в фигуральном смысле, моя репутация безупречна.

Соавтор № 3. Знаем, знаем.

Соавтор № 1. У меня великолепная жена.

Соавтор № 3. Мученица.

Соавтор № 2. Может быть, продолжим, на нас уже начинают обращать внимание.

Соавтор № 1 (*читает*) ...подругой жизни. Очень хороший почерк. Влас уговаривает его «рвать, как зуб, иначе больнее будет», прекрасный текст. (*Второму.*) Чей, я не помню, ваш?

Соавтор № 2. В этом динамике и Бернес хрипит.

Соавтор № 3. Какая разница, чей текст!

Соавтор № 1. Иван решает уехать с Егором. Теперь Егор пытается отсрочить отъезд, чтобы дождаться Наташи, но Иван, более волевой, заставляет его уехать. Марья и Наташа — обе как бы обмануты и брошены, реагируют каждая в плане своего характера. Так, в Марье начинается внутренний перелом, она бунтует против отца и заставляет Наташу тут же приступить к обязательной учебе. Вот главное. Читайте. Основа конфликта Иван — Марья — разность вкусов, земля и небо, нежелание Ивана жить с ее отцом и вообще невозможность для него остаться в деревне, в то время как Марья не хочет оставить деревню и не может уйти от отца. (*Неожиданно.*) Смотрите, какое зарево. И почему это всегда наши кульминации сопровождаются заревом?

Соавтор № 3. Случайное совпадение.

Соавтор № 1. Вы думаете?

Соавтор № 2. Дайте мне. Подведем черту. Номеров в первом акте семь, финала нет. Кончают Наташа — Марья на фоне закулисного хора, подхватываемая припев. Конец первого акта. Занавес.

- Появляется четвертый.

Соавтор № 1. Bravo, bravo, bravo!

Соавтор № 4. Приобрел.

Соавтор № 1. Да, да, именно приобрел, открывайте. Стаканчики я одолжу в киоске. (*Отходит.*)

Соавтор № 3. Мы закончим когда-нибудь или нет?

Соавтор № 2. Дорогой мой, конечно, закончим, но зачем же так суесться?

Соавтор № 3. Потому что, если я это сразу не сделаю, то с ума сойду.

Возвращается первый.

Соавтор № 1. Разбирайте. (*Наливает.*)

Соавтор № 3. А как же работа?

Соавтор № 1. Завтра в три у меня. А сейчас помянем рабу Божью, Спиридонову Екатерину Алексеевну. Не чокаясь.

Следующая часть заявки разбиралась уже в квартире соавтора № 1, где он стоял в передней у вешалки в полумраке рядом с красивой дамой, своей женой. Она готовилась уйти из дома, он не мешал ей, просто смотрел.

— У вас блестят глаза,— сказал соавтор № 1.— Вы плачете или собираетесь заплакать?

— Сейчас придут ваши друзья,— сказала она.— Мне уйти?

— Вы вольны в своих поступках,— сказал соавтор № 1.

— Почему вы никого не любите? — спросила жена.

— Есть вопросы, на которые я не отвечаю,— сказал соавтор № 1.

Жена ушла.

Соавтор № 1 подошел к окну и долго смотрел, как она переходит двор.

— У меня красивая жена,— сказал он.— У нее усталая спина.— Ходит по комнате.— Поляна под колхозом, делянка, луг, Сочи, пейзажи и пейзажики, степь, мужики у костров, ничего не останется, спасибо за память.

Звонок. Это пришел соавтор № 3.

Соавтор № 3. Мое горе знаете в чем? Не умею быть верен.

Соавтор № 1. Кому?

Соавтор № 3. Женщинам, разумеется. Я никогда не был верен женщинам. Даже первой своей любви я ухитрился изменить... без любви, я лишил себя чувства, лишь только оно начиналось.

Соавтор № 1. У вас слишком независимая натура.

Соавтор № 3. Вы думаете?

Соавтор № 1. Я знаю. Вы боитесь лишиться самостоятельности. Хотя, между нами, какая разница: кто лишает нас самостоятельности — женщина или Бог?

Соавтор № 3. Не умею — и все. Хочу, честное слово, хочу, но всегда оказывается, что это просто невозможно, особенно когда клянусь ей, себе, что буду. Изменяю тут же! Как будто кары жду за свое предательство, нарочно нарываюсь. Ни одного дня я не был верен, ни одной женщине. Если не изменял, то к измене готовился. Удивительно! И редко, очень редко мои измены доставляли мне радость. Ведь я человек совестливый, понимаете, я совестливый человек.

— Знаю, знаю,— засмеялся соавтор № 1.— Вы еще и шептунной жутко. Когда вы появляетесь, мне хочется крикнуть: «Всем стоять смирно!»

— Это нервы,— сказал соавтор № 3 и задумался.

— При чем тут нервы, вы же спортсмен!

— Ах, какой я спортсмен? — замахал руками соавтор № 3.— Какой я к черту спортсмен?

Больше на эту тему они не разговаривали, потому что пришел соавтор № 2. Мрачно сопя, он долго возился в передней, потом вошел в комнату.

— Только что шофера рассчитал,— сказал он.— Спрашивает: «Вас на Новодевичьем похоронят, когда умрете? Где вообще таких, как вы, хоронят?»

— Он вас уважить хотел,— сказал соавтор № 1.

— Пусть он к черту идет с таким уважением!

— А между нами,— хитро спросил соавтор № 1,— готовитесь к Новодевичьему?

— Уважаемый коллега,— сказал соавтор № 2.— Вот мы с вами знакомы уже тридцать лет, а вы и не знаете, что мой любимый персонаж — Рип Ван Винкль.

— Это который захотел исчезнуть? — спросил соавтор № 3.

— Не захотел, а исчез.

— Но сейчас невозможно исчезнуть, разыщут!

— Не скажите. Я бы хотел исчезнуть, как мой приятель-переводчик: спустился в шлепанцах на босу ногу в гастроном, гастроном через улицу, летом, маечка под пиджаком, выпить захотел, навстречу старик с бутылкой: «Не угодно ли на двоих? Не надо в очереди стоять», согласился. Старик жил недалеко, пригласил к себе, только по рюмке на кухне выпили, мой переводчик взял и помер, прямо здесь же, у стола, на кухне, старик документы искать, а их нет; он ведь только на минуточку вышел, в маечке, так и свезли в Склифосовского, так и похоронили. Никто не хватился, очень одиноко жил.

— Но вы ведь не одиноки! — засмеялся соавтор № 1.

— Ну, вот пусть и ищут меня всю оставшуюся жизнь! — зло сказал соавтор № 2.

Потом пришел соавтор № 4 с новой бутылкой коньяка, и они вернулись к заявке.

— Уверю вас, это удача, — сказал соавтор № 3, раскрывая папку. — Там есть все, что нужно.

— Никто и не сомневается, — сказал соавтор № 2. — Читайте.

— Конечно, — деликатно согласился соавтор № 4, хотя имел свое мнение или мог бы иметь.

А первый в этот момент ничего не сказал, он опробовал коньяк, это он потом сказал:

— Знаете, не один Ласкин молодец, я тут в библиотеке у себя нашел, был такой поэт-шалун, в двадцатых, я его знал немного, Терентьев Игорь, так вот, он изобрел удивительное слово — ахиниан. Ахиниан! Потрясающе, правда?

— Типичная продукция нашей юности, — сказал соавтор № 3. — Заумь. Если вы о таких изобретениях, то у каждого из нас подобного добра навалом.

— Нет, нет, это не просто! Вы вслушайтесь — ахиниан, здесь и ахи, и ахинея, и океан. Но главное, конечно, — ахиния. Ахиниан. Вы должны это оценить.

— Поаплодируем, — сказал соавтор № 2.

И они поаплодировали, а потом вернулись к заявке.

Соавтор № 3 (*читает*). Второй акт. Сорок первый год, за несколько дней до войны — подмосковная дача, подаренная правительством знаменитому летчику Ивану Петрову... Завтра ему получать орден за перелет через океан, сегодня он отдыхает от репортеров, психопатов. Вставной номер — мужской шуточный дуэт.

Соавтор № 2. Вы напишете?

Соавтор № 3. Нет, уж я только любовные, как договорились.

Соавтор № 2. Милый мой, зачем же с утра так нервничать?

Соавтор № 3. Я не нервничаю, а уточняю.

Соавтор № 2. Зачем же в таком тоне уточнять?

Соавтор № 1. Во мне стихи другие, и на них лежит печать иного бытия. Хороший коньяк, очень хороший. (*Четвертому.*) Вы где брали?

Соавтор № 4 не понял, что обращаются к нему, он уютно пристроился на диванчике и уже несколько минут боролся с тут же напавшей на него сонливостью. Волшебный диванчик! Больше всего он боялся, что соавторы заметят его состояние, и потому улыбался на всякий случай — с поводом и без повода ужасно дурацкой улыбкой.

— Слушайте, чему вы все время улыбаетесь? — раздраженно спросил соавтор № 3. — Опять вспомнили про старушку?

— Да нет, просто хорошо.

— Почему вы все время не высypаетесь?

— О, эта целая история! — сказал соавтор № 4. — Откуда вы знаете, что не высypаюсь?

— Здравствуйте, да вы сами рассказывали: стоит вам устроиться на этом диванчике, и вас сразу начинает клонить ко сну.

— Здесь я чувствую себя в безопасности, — сказал соавтор № 4.

— Приезжайте ко мне, — сказал соавтор № 2. — В воскресенье. Я отправляю своих в Сочи. И гарантирую вам полную безопасность.

— Разрешите, я вас пледом прикрою? — сказал соавтор № 1.

И они продолжили чтение, но уже шепотом, чтобы не потревожить соавтора № 4.

Соавтор № 3 (*шепотом*). Фоторепортерша Мери проникает на дачу сквозь все рогатки и, обманув хозяина, снимает Петрова в домашней обстановке. Вам не кажется, что важный момент пропущен?

Соавтор № 1 (*шепотом*). Нам теперь все нравится.

Соавтор № 2 (*шепотом*). Какой важный момент?

Соавтор № 3 (*шепотом*). До появления этой идиотки Мери я бы сюда лирический романс Ивана внес, пусть вспомнит любимую.

Соавтор № 2. Лирику, кажется, если не ошибаюсь, вы забрали себе?

Соавтор № 3. Да.

Соавтор № 2. Ну и пишите.

Соавтор № 3. Я не отказываюсь.

Соавтор № 2. Ну и пишите.

Соавтор № 1. Какая чудесная заявка, а, друзья? Мы получим много денег, и я приглашу вас в «Прагу», легкие деньги надо тратить легко, мы возьмем с собой пару психопаток, как у нас здесь сказано, и все промотаем. Немедленно! (*Третьему.*) У вас найдется пара лишних психопаток?

Соавтор № 3. Мне бы со своими разобраться.

Четвертый посапывает.

Соавтор № 2. Он и в самом деле уснул.

Соавтор № 1. Спящий гость — высшее доверие хозяину.

Соавтор № 3. Значит, романс вставляем. Иван уезжает, оставив Егора убирать, прибывать, работы по дому. Здесь номер.

Соавтор № 2. Номер?

Соавтор № 3. Номер. Дуэт на тему, кто бестолковей — мужчина или женщина. Вы напишете?

Соавтор № 2 (*недовольно*). Я напишу.

Соавтор № 1. Как вы думаете, что кричали солдаты в сорок первом, когда отступали?

Соавтор № 3. Что они кричали?

Соавтор № 1. Когда отступали, солдаты кричали: «За Родину, за Сталина!»

Соавтор № 3. Червивые шуточки! Зачем вы нам все это рассказываете?

Соавтор № 1. Просто вспомнил.

Соавтор № 2. Давайте дальше, а то я тоже усну.

Соавтор № 3. Ничего себе! Нашли Шахеразаду. Читайте сами. (*Отдает текст второму.*)

Соавтор № 2. Я очки в машине забыл.

Соавтор № 3. Пожалуйста, мои.

Соавтор № 2 (*надевая очки*). Ловко у вас все получается. (*Читает.*) Появляются новые действующие лица — академик Озолин (агрономия) и его жена, соседи по даче. Они должны завтра ехать в Сочи...

Соавтор № 1. Сочи — это...

Соавтор № 3. Слышали уже. Ничего другого в закромах у вас нет?

Соавтор № 1. У меня есть жена, у нее усталая спина, она ушла.

Соавтор № 2. Мне очень нравится ваша жена.

Соавтор № 1. Что тут удивительного, моя жена — красавица.

Соавтор № 3. Все наши жены — красавицы.

Соавтор № 2. Вы какую из своих имели в виду?

Соавтор № 3 (*растерялся*). Любую. Какую ни возьми.

Соавтор № 1. И не возьмем. Ни за что не возьмем! (*Бормочет.*) Он, так сказать, нетвердой рукой лепил из вас другого человека.

Соавтор № 2. Ехать в Сочи. Номер?

Соавтор № 1. Номер.

Соавтор № 3. Здесь должно быть трио. Хотите, я напишу?

Соавтор № 2. В Сочи — это я. Для меня актуальней. В воскресенье отпущу своих.

Соавтор № 3. Вы уже говорили.

Соавтор № 2 (*читает*). Они должны завтра ехать в Сочи — трио о том, что впервые за тридцать пять лет жена добилась согласия мужа на совместную поездку на курорт. Это преувеличение. Если бы моя согласилась, я бы ее там навсегда оставил.

Соавтор № 1. Резко. Она очень милый человек.

Соавтор № 2 (*махнет рукой*). А!

Соавтор № 4 (*просыпаясь*). Интересно, а какую роль мы предложим Ярону?

Соавтор № 1. Григорию Марковичу? Любую.

Соавтор № 4. И женскую?

Соавтор № 1. И женскую. Держу пари, что сыграет!

Соавтор № 3. Ярон сыграет, Ярон все сыграет.

Соавтор № 2. Он сыграет.

Соавтор № 1. Я как-то резко и непреднамеренно устал.

Соавтор № 3. Вы намекаете, что нам пора уходить?

Соавтор № 1. Ни на что я не намекаю. Продолжайте.

Соавтор № 4. Позвольте мне. (*Берет рукопись.*) Знаете, вчера я был в отчаянии, а сегодня, мне кажется, все не так уж плохо.

Соавтор № 1. Угу.

Соавтор № 4 (*читает*). Мери отсылает Егора за город за столяром и домработницей. Приехавших Власа и Марью она принимает за таковых. Ряд недоразумений. Это может быть очень смешно. Если заявка пройдет, я бы взял этот эпизод себе.

Соавтор № 2. На здоровье.

Соавтор № 4 (*читает*). Встреча с академиком Озолиным неожиданно раскрывает, что Марья — выдающийся рационализатор в области земледелия (земля), не менее знатный человек, чем не подозревающий об этом Иван (небо). Профессор, крайне заинтересованный в личном знакомстве с работой Марьи, решает сбежать от жены и уехать вместо Сочи в Петровку — завтра вечером, после того, как Марья получит с утра орден в Кремле, для чего она и вызвана в Москву. Номер?

Соавтор № 3. Номер. Песня Марьи.

Соавтор № 2. Вы напишете?

Соавтор № 3. Нет уж, об ордене напишите вы.

Соавтор № 2. Почему я?

Соавтор № 3. Потому что у вас получается.

Соавтор № 2. У меня? Получается?

Соавтор № 1. Песню об ордене напишу я. И хватит спорить.

Соавтор № 3. Вы? Почему вы?

Соавтор № 1. Потому что у меня нет ордена.

Соавтор № 3. Вы издеваетесь? Это ответственное место.

Соавтор № 1 (*четвертому*). Песню об ордене напишу я. Я старше вас всех.

Соавтор № 3. Ну и что?

Соавтор № 1 (*махнет рукой*). А, ничего! Берите.

Соавтор № 3. Что брать?

Соавтор № 1. Песню берите, песню, я отдаю вам право написать ее, эту песню. Что вы смотрите? Считайте, что я неостроумно пошутил. (*Четвертому.*) И все-таки ахиниан не хуже авоськи, вы недооценили. Если придет моя жена, скажите, что я ушел на минуточку, да, вы все остаетесь обедать.

Соавтор № 3. Куда вы уходите?

Соавтор № 1. Я же сказал: на минуточку. Нижайший вам мой ахиниан. (*Уходит.*)

Соавтор № 4. Сцена встречи Егора с Наташей кончалась бы полным примирением, если б не Мери, которую Наташа имеет все основания полагать дамой сердца Егора. Но главное в конфликте героев не это, конечно, а то, что Иван, не подозревающий роста Марьи, считает, что он поступил неправильно, что он бросил ее, что она не должна погибнуть, и предлагает остаться у него с тем, что он сделает из нее человека. Гордая Марья скрывает, что она не пропала бы без Ивана, отвергает филантропию и жертву Ивана и сообщает ему, что полюбила другого и строит свою жизнь наново.

Соавтор № 3. Дался ему этот ахиниан!

Соавтор № 4. Здесь пора дать живой текст, тогда им будет понятней. (*Импровизирует с выражением.*) Например: вы, значит, высоко летаете, некогда вам пустяками заниматься, а я, значит, без мужа замужняя, сиди и жди, год жди, три года жди, пока у вашей милости досуг найдется из меня человека сделать. А вдруг не найдется? Что же мне, значит, так не человеком и помирать? Не выйдет, Иван Степанович. Я ведь не старуха, есть еще и на меня охотники. (*Останавливается.*) Что-то в этом роде.

Соавтор № 2 (*устало*). Какой жидовский кагал!

Соавтор № 4. Согласен. Но каждая оперетта предполагает скандал.

Соавтор № 2. Какой кагал. Боже мой...

Соавтор № 4. Здесь уже начинается финал второго акта. Влас добивается у Марьи признания, что она солгала насчет своего второго мужа, потрясенный Иван понимает, как дорога ему потерянная навсегда Марья, как он ее любит. Появляются колхозники из Петровки, идет чествование, величание супругов, никто не знает об их полном разрыве. Номер?

Соавтор № 3. Номер.

Соавтор № 4. Вы напишете?

Соавтор № 2. Я напишу.

Соавтор № 4. Иван узнает, что ему предстоит завтра получить орден с Марьей. Иван кончает акт реминисценцией своего романса о Марье: «Помню и вечно помнить буду...» Занавес.

Возвращается жена. Видно, как ей неловко стоять здесь, перед всеми, когда того, к кому она вернулась, нет в комнате.

Жена. А почему вы одни? *(Пауза.)* Где хозяин? *(Пауза.)* Не помешала?

Соавтор № 2. Мы ждали вас. А он на минуточку вышел. Мы здесь говорили о вас.

Жена. Что говорили?

Соавтор № 2. Что вы красивая.

Жена. Ну это мужьям всегда говорят. Чтобы сделать приятно.

Соавтор № 2. Значит, он себе самому хотел приятно сделать.

Жена. А, так это он первый сказал?

Соавтор № 2. Да.

Жена. Плохо дело.

Соавтор № 3. Что значит — плохо дело?

Жена. Плохо и все.

Те же. Дача Второго.

Соавтор № 3. Сущность третьего акта. Та же Петровка, но занятая немцами. Жители организовали партизанский отряд. В отряде этом находятся застрявшие в Петровке Озолин, Мери, жена Озолина (единение в борьбе с врагом всех слоев населения). Отрядом командует товарищ А.

Основа отряда состоит из бывших учениц деда Власа. Появляются Иван и Егор. Выполняя боевое задание, они вынуждены сесть и попадают в родные места. Примирение Егора — Наташи, во время которого, чтобы не мешать им, Иван притворяется спящим. Иван узнает, что немецкая колонна, оставляя деревню, продвигается вдоль шоссе. Он настаивает на попытке уничтожить колонну. Ему говорят, что командир велел пропустить ее. Он скандалит, требует командира. Командир является и оказывается... Марьей. *(Обращается к другим.)* Эффектно, правда?

(Все молчат. За окном — сад. Слышны птицьт. Первый подходит к окну.)

Марья требует беспрекословного подчинения себе как командиру. Впоследствии выясняется, что права Марья — ее план с заготовленной ловушкой даст бескровную победу и уничтожение врага. Синтез земли и неба, снятие личного во имя общего (не конфликтное), а слияние — ручей вливается в поток, делая его еще многоводнее, торжество любви — и вперед, вместе на врага, до полного уничтожения, до полной победы. *(Закрывает панку, встает.)* Ну, здравляю, друзья. Просто «Сильва» получается, лучше «Сильвы», сильней.

— Какая необъятная территория, — сказал соавтор № 1, глядя в окно. — Вот вам и поселок литераторов! У всех по даче на костах острот.

— А вы почему не начнете строить? — спросил соавтор № 2.

— Начну. А пока коплю деньги, я уже много скопил. И сад ухоженный.

— Кто занимается садом — вы или жена?

— Я.

— Это хорошо.

— Я предлагаю назвать так, — сказал соавтор № 3. — «Три встречи». Не будем забывать о жанре. Название идеально-опереточное.

Соавтор № 2. Мне нравится. *(Первому.)* А вам?

Соавтор № 4. Пусть музыку Исаак напишет, мне кажется — ему понравится, здесь все, что он любит.

Соавтор № 3. Композитор — не наша забота. Театр сам решит. И так, решили — «Три встречи».

Соавтор № 1. Оставьте название мне.

Соавтор № 2. Что?

Соавтор № 1. Оставьте название заявки мне. Пусть оно будет для вас сюрпризом. Поверьте, я вас не разочарую и сам отнесу.

Соавтор № 4. Зачем же вам ходить?

Соавтор № 1. Нет уж, я сам и отнесу, вы мне доверяете?

Соавтор № 3. Но почему же плохо «Три встречи»?

Соавтор № 1. Я сам назову и отнесу.

Соавтор № 2. Конечно же, мы вам доверяем.

Он возвращается домой и, оставшись один, сидит, задумавшись. А может, и не думает ни о чем, просто сидит.

Потом достает большой лист бумаги и прекрасным своим почерком заглавными буквами на одинаковом расстоянии друг от друга пишет:

«Посцишка и посцих».

Это название «Посцишка и посцих». Это он придумал такое название. И с таким названием отнесет заявку в репертком. Его никто не остановит. Он будет идти по городу и заглядываться на девушек, а в папке у него будет заявка под названием «Посцишка и посцих».

Это заказ, социальный заказ. Они не обманули ожидания.

Он представил себе, как торжественно кладет папку на стол самый главный, как раскрывает ее...

Соавтор № 1 представляет его лицо, смеется.

Весна, какие девушки, какие собаки! Он всегда мечтал о бульдоге. Когда уйдет от него жена, он купит бульдога и будет разговаривать с ним обо всем. Напрасно думают, что бульдоги ничего не понимают. От хвоста до морды в них течет одна неопределенная мысль.

Бульдог будет сидеть у дивана, на котором он лежит, и смотреть на него. Он будет смотреть на него днем, ночью, всегда, пока соавтор № 1 не умрет. Но и тогда он будет смотреть на него. Интересно, выдержит ли смерть прямой и бесстрашный взгляд бульдога?

Развеян порошок ахиниан.

Ах, чтоб так жить, большой талант не нужен.

Развеян порошок ахиниан

И вряд ли будет скоро обнаружен.

Весна. Удивительные девушки, удивительные. Любимые.

Соавтор № 3 умер, играя в теннис. Выглядел он в этот день прекрасно.

Соавтор № 4 не проснулся однажды у себя над вырезателем.

Соавтор № 2 дожил до глубокой старости, умер на собственной даче.

Соавтор № 1 умирал в больнице, мучительно. Перед смертью ему показали журнал, где за свои ранние произведения он был назван классиком двадцатого века.

— Вы и не догадываетесь, что это для меня значит,— сказал он.

Как там разобрались с вечностью его друзья, он так и не узнал.



Бисерная буква

Святки

1

Я нашла, нашла на святки
рифму каверзную — «прятки»!
Может, мне не будет плохо?
Ведь и так уже сполна.
Может, пригоршня полна
детством в розовых горохах?
Ветер-Питер-петушок
не в стакане поднял бучу,
выколачивает тучу,
что ватиновый мешок.
А зеленый менестрель
солнце красное уронит,
станет фрейлиною ель
в еле гнущемся роброне.
Ты мне сказку почитай:
«Что Москва — Шалтай-Болтай
.....»
Что же сердце? Метроном,
В красной шапке сбитый гном
в сердцевине Белоснежки,
слишком белой, слишком снежной.

2

Чтобы воду мороку
в ступе не толочь,
кто ведет по городу
вороную ночь?

Чтобы после мороку
не играть с огнем,
полоснет по вороту
вороненым днем.

«Полноте, помилуй мя,
что-то то потом»,
облизнулось полымя
синим языком.

Повешенный колокол
Язык-к-кажет.

* * *

Так дождь пальпирует слепой
разгоряченное предплечье,
двояковыгнутой стопой
рассеясь. Речь, нет, междуречье

журчит. Атлантика с разбега
перебирает голыши:
большой... мизинец. Приглуши
свеченье утлого ковчега

на небе. Свет парализован,
нарушен Ветхий здесь Завет —
здесь у зарядов пары нет

и воздух наэлектризован.
Цитата Песней Соломона:
«Вода, она — электролит,
и голубые электроны
с глазных сорвались орбит.
Над нами царствовала корона,
я опечталась — корона
и опечталась в песке».

То содержанье, а о форме —
в тугой попавшая сачок,
нет, отложной воротничок
на шоколадной школьной форме.

* * *

Л. Н.

Зима подходит к аналою...
Вы вышивать велели мне
на целлюлозном полотне
адмиралтейскою иглою.
Мне гладью ткать велели вы;
продеть пеньковые чернила —
овечью пряжу Даниила
для фиолетовой Невы;
И объяснили мне, что персть
есть молью траченная шерсть.
О эта бисерная буква!
Велели мне: «Не прекословь!»
Тогда-то выступила кровь —
такая, вылитая клюква.
Велели речь: «Благословлю,
благословлю, что наказанье —
не *крючковатое* вязанье»,
поддев иголкою петлю.
А там — пудовое табу.
Я мастерю свою судьбу
златистым крестиком...
И анаграмму ставлю — Вера.

Ворожба

Все шепелявит пучеглазая старуха,
Гадая дитятке по царственной руке,—
Так дребезжит в тепле назойливая муха,
Так шепчет ветер на пустынном чердаке.

— Не будешь царствовать в дворцовых ты колодцах,
В зеленых сумерках заброшенных садов.
Дано искать тебе любви по болотцам,
В грязи раскисшей шинных вдавленных следов;

Где девок пень над закатными лугами,
Где меж столбами синь линияет провода
И где в колдобинах, прорытых сапогами,
Цветет несохнувшая глинная вода.

Как коронуют на гранитную потеху,
Когда помажут медным холодом перил —
А вместо рта у ней — асфальтовое эхо,
А за спиною — пара вороновых крыл.

г. Санкт-Петербург

БЫТЬ!

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

ТРИ СТУПЕНЬКИ ВНИЗ

Сын, будучи еще ребенком, часто столь глубоко сосредоточивался на каких-то своих мыслях, будоражащих его детское воображение, что вывести его из этой погруженности могло только прикосновение. Никакие звуковые сигналы не могли пробить броню его отгороженности от мира. Нас, родителей, это настораживало, и мы обратились к врачу. Диагноз был неожиданно обнадеживающим, и мы втайне не могли не испытывать гордости за свое дитя.

— Вашему Филиппу, должно быть, есть о чем думать...

— Это у него наследственное, — на радостях неловко сострил я.

— Да, вы правы, ваша жена производит впечатление тонко думающего человека, так что передайте ей, пусть она успокоится. По поводу же его странного, как вы говорите, отсутствующего взгляда, — здесь, я думаю, мы стоим у истоков формирования глубокой, интересной человеческой личности, которой уже теперь, я повторяюсь, есть во что погружаться. Он мыслит — он живет, это естественно.

Мы успокоились и даже в шутку такие моменты обретения ребенком возможности заглянуть в себя определили как: «Мысли, мысли пошли...»

Однажды Филипп так же самозабвенно «ушел в свою лабораторию», упершись взглядом в одну точку. Я несколько громче, чем позволяло таинство этой минуты, воскликнул:

— Во-во, мысли пошли, мысли...

Впервые услышав мой окрик, ребенок тоном маленького иллюзиониста, удачно закончившего свой фокус, пискнул: «Ушли», — поясняя и то, что они были и было их немало, во всяком случае, не одна, а какое-то множество мыслей.

Что-то очень похожее происходит теперь со мной, когда я, преисполненный рвения, мыслей и решимости воссоздать некоторые отрезки моей жизни на бумаге, подхожу к столу, беру чистый лист, ручку и...

«Ушли».

Почему? Что пугает их? Мое неумение? Белизна листа? Но я не собираюсь чернить его ни графоманскими вывертами, ни потугами на нечто оригинальное и, уж конечно, ни претензией на писательский слог и стиль.

Ничего такого я делать не умею, действительно не хочу, не могу и не буду. Я попытаюсь лишь записать то, что происходило со мной, только это ляжет строчками на белом пятне передо мной.

Ничего, что я буду говорить правду, а? И уж коль скоро я решил обращаться только к ней, то и начну с признания.

Я знаю, почему рой мыслей так поспешно улетучивается, — причина во мне самом. Я хочу поведать о моих попытках поступить хоть в какой-нибудь московский театр в 1955 году, а даже самые облегченные воспоминания того времени вызывают теперь у меня самого сложную реакцию.

То хочется смеяться, хохотать и бить в ладоши над обилием нелепости происшедшего тогда, и хохотать можно было бы довольно долго; смею предположить, что веселье это могло бы продолжаться до слез на глазах и колик в

животе; то, напротив, та неотвратимая безвыходность тогда даже теперь, по прошествии огромного отрезка времени, комком перехватывает горло, и светлая радость, что я вправе считать все осуществленное завоеванным и моим, наполняет все мое существо.

В период подготовки новой работы у артиста порой наступает кризисный момент, когда он не в ладах не только с ролью, пьесой, партнерами, собой, но больше всего с тем эгоистом, который прочно устроился в нем самом. И никакие разговоры, увещевания, обращенные к этому квартиранту, ни к чему доброму не приводят — они бесполезны. Меня довольно часто посещает этот товарищ. С каким бы распрекрасным режиссером ни работал в этот «час пик», едва ли не против своей воли обрушиваешь на него град неуважительных взглядов, мыслей, а порой и реплик, вспоминая которые через какое-то время, буквально корчишься от стыда и раскаяния. А бедные родные — они герои-мученики. Я, например, едва ли не вслух убеждаю себя, уговаривая: «Ну, держи себя в руках», — и в это время у себя дома кого-то из домашних уже стригу глазами и закатываю долгие монологи по поводу холодного чая, что, впрочем, совсем не исключает более повышенных тонов, когда чай горяч и я поношу всех жаждущих сечь мне горло. Виноваты все, во всем, всегда и всюду. Эти мои вывихи дома терпят, стараются не замечать, но все равно это зло не украшает нашей жизни, отнюдь.

Жена попыталась однажды погасить этот ненужный пламень путем подбрасывания сухих веточек в него:

— Да, да, конечно, жизнь не удалась, ты несчастен, у тебя все плохо, и с тобой все ясно и кончено.

— Перестань паясничать, какая ты, право...

— Да, я такая... А ты... посмотри, посмотри на свой пиджак.

— На какой еще пиджак я должен смотреть, когда я сижу в халате и ем совершенно сырые яйца! Просил всмятку, всмятку я просил... так нет же, еще я должен озираться на какие-то сюртуки. Что за дикая фантазия!

— Ты сам почему-то взял сырые, вареные вот.

...Никогда не пойму этих женщин, никакой последовательности.

— А на пиджак посмотри, не лишнее, я сейчас принесу...

Все походили с ума. Там режиссер требует: подавай ему жизнь человеческого духа, видите ли! Причем смотрит на меня так, словно готовится проглотить зонд для пробы желудочного сока, здесь пиджаки какие-то должен высматривать... Все сговорились довести, добить...

— Где газета сегодняшняя?

— А что, там сказано, как ты должен делать своего Иванова? Вот она.

— Там не сказано, как я должен делать Иванова, но там, может быть, я смогу найти ответ, на какой пиджак и зачем я должен глядеть.

— Ты напрасно злишься... Даже в самых дерзких своих мечтах ты не мог и предположить, что грудь твою будет украшать значок премии Ленина, что ты станешь Народным, что будешь необходим, с тобой будут считаться, хотеть работать, встречаться, говорить, видеть. Вспомни, дорогой...

Притащила пиджак и держит на вытянутых руках этакой ширмой передо мной... И молчит!.. Нет, жены — невозможный народ. Знает же прекрасно, что это лауреатство составляет тайную и явную мою гордость. Так нет же, выставила ее и держит вот уже минут семь, как живой упрек: не заслуживаешь, недостойн. Выходит, так. А, Бог с ними, с женами...

Может быть, мой друг и режиссер Олег Николаевич Ефремов прав, требуя от меня повышенной диалектичности движения в «линии» Иванова. Не может же, в самом деле, Иванов все время быть с застывшей маской обреченности вместо живого лица, он же не монумент, не памятник, как вот этот, например.

Вот уже в который раз в состоянии душевного смятения оказываюсь здесь, у памятника. Люблю Гоголя и по возможности перечитываю. Вот он и прост, и понятен вроде, но даже в манере глядеть, сидеть — безмерен и загадочен. Да-а-а, этот мог писать... А тот, на Гоголевском бульваре?.. Должно быть, мог — тоже ведь Гоголь. Оба они, хотя схожи лицом, но нравом разные и оттого совер-

шенно непохожие. Мне лично больше по душе этот Николай Васильевич, тихий, мудро созерцающий остановившихся возле него.

Гоголевский бульвар... Этот Гоголь иной, совсем иной. Если тот думает и пишет, то в отличие от своего уставшего двойника этот уже все написал и теперь лишь наблюдает и проверяет — оттого всегда он прям и бодр.

Надо будет действительно стоять «гоголем», чтобы уж никто не усомнился, что это я и есть тот самый Гоголь, написавший... Или тот, сникший, мыслитель, тихо сидящий в садике своего дома, самозабвенно вникающий в тревоги соотечественников — в их радости и боли?

Бульвар... По сторонам редкие островки старой патриархальной Москвы.

Кропоткинская... С нежной взволнованностью бываю в этих местах. Здесь, именно здесь, в тихом переулке, в течение полумесяца на высоте седьмого этажа я когда-то размышлял над своим «сегодня» и составлял «проекты» на будущее. Это, должно быть, глупо, во всяком случае, напыщенно звучит. Однако вынашивались, грезилась наивные планы сложных психологических ходов, тактических уловок и приемов, возводился ажур «воздушных замков», разрабатывались чудовищные по своей несуразности «прорывы», призванные взять измором, тупой назойливостью. Какое счастье, почти ничему этому не суждено было стать реальностью...

Место это было выбрано мной из нескольких: оно было надежным, удобным и оттого довольно продолжительным пристанищем. От верхней лестничной площадки с квартирами вела еще выше узкая лестничка с полным поворотом в обратную сторону, то есть на 360 градусов, так что, выходя из своих квартир, жильцы не могли видеть меня, и я мог спокойно возлечь на подоконнике замурованного окна у громяхающего, астматически шумящего лифта. Внезапный грохот его поначалу пугал меня, и я, нервно ошестинившись, вскакивал, но потом привык и пробуждался по ночам иногда оттого, что слишком уж он долго не тарарахает, и тревога — «не сломался ли он?» — овладевала мной. Я спускался на шестой этаж, жал кнопку лифта — он громыхал, и я, успокоившийся, поднимался по лесенке «к себе». Ну это ночью, все спят, и нигде никого нет. А днем? Не всегда спустишься и не всегда нажмешь. «Что вы тут делаете, гражданин?» — мог последовать вопрос. У меня же ни прописки, ни работы и вид не так чтоб уж очень обычный. Лето, жара, а я в лыжном костюме. Так что при каждом раздававшемся внизу далеком стуке входной двери я с напряжением вслушивался в шаг, голоса, готовый в любую минуту ринуться по лестнице вниз, чтобы мастера, пришедшие чинить моего сломавшегося сиплого соседа, не застали меня...

Всякие мистические бредни и суеверия меня не коснулись. Я здоров душой и телом. Поэтому совершенно спокоен к перебегающим дорогу кошкам, вещим снам, ни малейшего трепета не испытываю ни перед какими числами, а всевозможные надтреснутые зеркала, вой собак и разнообразные спотыкания вместе с внезапно зачесавшимся носом и пресловутой кофейной гущей вызывают у меня досаду, не более. И вместе с тем я не мог бы поручиться, что этот подоконник у самого чердака шестиэтажного здания был простым, нормальным подоконником и вокруг него не гнездились порой своеобразные биополя и всякие там ауры.

Я хочу рассказать о совершенно непонятном, доселе мне неведомом, обнаружившем себя там, наверху, властно, вдруг и неотвратимо.

После одной из неудачных вылазок в очередной театр поднялся я к своему подоконнику. Ни мыслей никаких, ни возбуждения — хорошо помню — не было, только усталость. Да время от времени грохот и усыпляющий шум поднимающейся кабины лифта. Ничего особенного в звуке этом не было, но необходимость еще и еще раз слышать его вытеснила на время все другие мысли и ощущения. Еще раз, и мерный скрип, скрип «санных» полозьев, успокоил меня.

...Дыхание сквозняка снизу донесло запах чистого снега. Отбросив душную тяжесть дохи из собачьих шкур, шурюсь ясности празднично высокого неба, величаво плывущего вместе с нашими розвальнями. Как много снега! Узкий след полозьев, быстро выскакивая из-под саней, убегает резво прочь, но, сливаясь воедино, вскоре вовсе теряется в белом пиршестве зимы. След этот кажется ясной приметой радости, к которой уносят меня низкие сани. Она где-то. Она бу-

дет! Но скоро ли? И какую будет она? Ответа не могло быть. Только скрип полозьев...

Сани вдруг с силой качнуло, они вздыбились, и полость, резко хлестнув в лицо, перекрыла собой и без того робкую связь с миром. Пение полозьев смолкло, сани стали, и было слышно лишь тревожное фыркание лошади. Бесконечное множество мельчайших белых искр, пронизывающих морозный воздух, заполнило мир.

Неловко придавив меня сверху, заворошился возница, что-то прокричав над толщей шкур. Ему, помедлив, ответил высокий голос издали. Страшно и хорошо. Что будет дальше? Почему остановились? Пытаюсь сбросить мех совсем и, лишь слегка высвободившись, застываю, пораженный...

Сани стояли у края огромной теряющейся в солнечной синеве котловины. Дух перехватило от высоты. Хотелось отползти прочь, но сила, обратная, упрямо удерживала на месте, заставляя неотрывно глядеть в завораживающий, тянувший к себе край земли. Совершенно ясно осознаю тут, что это же все было под Томском, зимой, много лет назад: меня, пятилетнего, увозят из Татьяновки в Красноярск к тетке Наде... Причем само осознание было столь стремительно несущимся, что появилась боязнь — все вот-вот может исчезнуть совсем, навсегда. Неприятным суховеем тоски обдало сердце. Стало страшно до безысходности, и душа старалась уцепиться за то, что все это было давно, а сейчас лишь грезится мне... только грезится. Я словно вновь оказался на небольшой горюшке в окрестностях Томска, на краю обрыва, который разверзся на том зимнем пути из моей деревни в город.

Гулкая пустота. Никакой опоры — провал бесконечной тьмы. Хрупкое, до страха непрочное равновесие. Но и оно вот-вот нарушится, и сознание, не выдержав, угаснет... Был короткий миг, в который промелькнула мысль, что нужно держаться, держаться, не дать этой последней, ничтожно слабой зацепке уйти... иначе уйдет и этот миг.

Рядом грохнуло... С настойчиво нарастающим сипом поднялась кабина лифта...

К этому времени я побывал уже в четырех или пяти театрах, но все это было как-то глухо, вроде и не происходило вовсе. Эти хождения из одной двери в другую были долгими, утомительными и, как теперь я понимаю, просто напрасными — бесплодными. Они ничего не могли изменить тогда, но бередили, ранили душу, озлобляли; многочасовые ожидания изматывали, унижали; все это я чувствовал и в следующий кабинет входил не таким, каким мог и должен был бы войти, то есть самим собой. Не ропщу, ни единого упрека ни в чем и никому, кроме одного, но и тот самому себе: в тридцатилетнем возрасте нужно бы уже знать себя и уметь владеть собой в разных обстоятельствах. Хорошо это или дурно, но временами мне кажется, что и сейчас-то не очень знаю, кто я такой. Если же порой и померещится нечто, то и тогда не сразу сообразишь, что это-то и есть я. Сложно.

Когда же вдруг на улице, у выхода из театра или у подъезда моего дома, меня перехватывают взволнованные юноши, девушки или читаю полные тревоги письма с просьбой совета — как попасть на сцену, стать артистом, — я знаю наверное, что все это было, было, что это именно я проник сквозь жестокое горнило непонимания и выстоял потому только, что шел, зная, чего хотел и что мог. И единственным советом, багажом в этом прекрасном, но и тяжелом пути к самому себе были Вера, Надежда, Любовь.

Главный режиссер одного драматического театра на улице Горького, шумно подхватывая воздух, наслаждаясь когда-то удачно найденной манерой говорить, совершенно не затрачивая себя на это, мимоходом промямлил:

— У меня со своими-то актерами нет времени разговаривать, а где же взять его на пришлых всевозможных приезжих?.. И о чем, собственно, вы хотите говорить со мной.

— Я хотел бы, чтоб вы меня посмотрели, послушали...

— Я и так на вас смотрю, и слушаю, и, простите, ничего не могу сказать вам утешительного... Прощайте...

Другой режиссер, главный в другом театре, был с виду тих и завидно флегматичен. Должно быть, зная эту его черту, секретарша впустила меня к нему в

кабинет одного. Режиссер, очень аккуратный, хорошо выбритый седой человек в очках с металлической оправой, сидел посередине своего кабинета в совершеннейшем одиночестве, и я не мог бы сказать, что он с повышенным интересом ожидал возможности познакомиться со мной. Нет. Совсем напротив, никакого интереса к входившему не было вообще. А когда я уже вошел и сказал «здравствуйте», он все еще пребывал в решении каких-то своих глубоко психологических проблем и только спустя минуты две, перестав следить взглядом за чем-то движущимся между ним и стеной, хотя там абсолютно ничего не было, мельком посмотрел на меня и, подперев лицо рукой, теперь уставился в деревянный подлокотник своего кресла. Он скользнул по мне взглядом так мимолетно, что, казалось, не заметил меня. Тогда во второй раз, но все так же бодро, как и в первый, я прокричал свое «здравствуйте». Все ведь зависит только от настроения, а оно у меня было таким, что это самое «здравствуйте» я готов был выкрикивать до вечера и позже и все так же бодро... К тому же, будучи здоровым человеком, я люблю, чтоб и вокруг меня всех распирало от здоровья и хорошего настроения. Ничего не помогло.

Режиссер уныло продолжал изучать подлокотник, и я решил тогда пустить целую гирлянду «здравствуйте» в надежде все же вывести его из состояния душевной задумчивости, и только я это подумал, как он, не оставляя, однако, научно-исследовательских изысканий по древесине, выдал вдруг такое количество этих самых «здравствуйте», что я опешил: «О, да с ним надо ухо держать востро, дядя-то, как видно, телепат». Он словно прочел мои мысли и посмотрел на меня очень строго, в упор.

— Да, да... Вы из Сталинграда. Как там Фирс?

— Фирс Ефимович ра...

— Да, небось он все кричит и так же рушит?

— Немного есть...

— Сталинград возрождается, а?

— Строят... Мм...

— Спектакли посещают?

— Ну, в общем...

— Я побывал недавно в вашем театре от ВТО и видел ваше «Укрощение строптивой». Смешно вы это делаете, Смоктуновский, лихо. Это Токарев поставил?

Обрадовавшись, что меня знают и наконец есть возможность дельного, вразумительного разговора, я открыл рот.

— О...

— Вы что, так вот просто взяли и приехали в середине сезона, ни с кем не списавшись, не разузнав?

— Я получил приглашение от Софьи Влади...

— А Токарев больше ничего не ставил у вас? Как актеры его приняли?

— А... Я...

— Забито все, голубчик, забито, и ничего не поделаешь.

А ведь как все было просто и, в общем, недурно...

Русский театр драмы в Махачкале летом 1952 года вяло заканчивал свой сезон. До отпуска оставался десяток дней. Скорей бы. За год работы в этом театре я успел «испечь» пять основных ролей, не принесших мне, однако, ни радости, ни истинного профессионального опыта, ни даже обычного умения серьезно проанализировать мысли и действия образа. Многие, что составляет неотложность нашего труда, за этот год я не изведal. И причина, как мне кажется, была не только во мне самом, хотя было и это. Никаких накоплений не происходило, может быть, потому, что большинство актеров театра были обеспокоены куда больше обилием кавказского базара, нежели творчеством в театре. Я это чувствовал, видел, мне был не по душе этот гастрономический ажиотаж, но быть судьей тех актеров я не мог, хотя бы потому, что сам после пяти лет работы в Заполярном театре на Таймыре, получив вместе с робкими ростками профессиональных навыков полный авитаминоз, ринулся на юг — к морю и фруктам. Пляж, базары — хорошо, кто спорит. Но я тогда еще не знал, что это опасно, очень опасно: что это конец. Само помещение нашего театра стояло

(должно быть, и до сих пор стоит) на самом берегу моря, просто на городском пляже, так беспощадно тянувшего к себе из репетиционного помещения, в котором по углам иногда бегали огромные портовые крысы.

Оказавшись здесь, у моря, и привыкнув к нему, я совершенно неожиданно для самого себя был покорен красотой гор Северного Кавказа и в свободное время уходил туда, растворяясь в их мощи, волнуясь настороженностью и загадкой их величия. Жизнь актера периферийного театра меня вполне устраивала. Единственно, что хотелось — и это ощущение было ясным, — объездить как можно больше городов, театров, и чем отдаленнее, экзотичнее и неведомее уголки нашей огромной страны — тем лучше.

Именно это желание в свое время побудило меня поехать в Норильск, затем в Махачкалу и неотступно призывало махнуть на Южный Сахалин. Скорее всего оно бы так и было, не окажись у нас на спектакле брата и сестры — Леонида и Риммы Марковых, актеров Московского театра Ленинского комсомола. Они приехали в отпуск к родителям в Махачкалу, и профессия потянула их вечером в театр. Такие зрители для наших будней редкость невероятная, и, что говорить, мы были взволнованы, но каково же было мое удивление, когда я увидел значительно большую взволнованность этих двух красивых стройных молодых людей, зашедших после спектакля к нам за кулисы. Не стесняясь этой своей взволнованности, они, мягко и мило перебивая и дополняя друг друга, растревожили меня уверениями, что все то, что я делаю на сцене, интересно и что мне непременно нужно работать в Москве по той простой причине, что моя манера (оказывается, у меня есть своя манера) существовать и действовать на сцене своеобразна, неожиданна, а что самое главное — современна.

Неожиданно оказавшись владельцем всего, о чем не смел даже предполагать, я был смущен и все же пригласил этих замечательных зрителей приходить и на другие мои спектакли. Они пересмотрели все с моим участием — мы подружились, нам вместе было о чем говорить, молчать и спорить. В конце концов они заявили, что по возвращении в Москву непременно будут говорить обо мне со своим главным режиссером, Софьей Владимировной Гиацинтовой.

В то же время в йодистых водах Каспия в утренние часы можно было наблюдать огромного, рано поседевшего, красивого человека, который, наслаждаясь спокойствием моря и одиночеством, то медленно погружался в воду, то вновь появлялся над ее гладью, оглашая при этом набережные кварталы трубными звуками, подобными реву морского льва. Львом этим оказался Андрей Александрович Гончаров — замечательный режиссер из московского театра на Бакуниной. Он сбежал в свой отпуск из шумной Москвы.

За неделю-полторы, утолив голод в тишине и одиночестве, он ощутил, видимо, потребность в общении, забрел к нам в театр и пересмотрел все наши спектакли. Окруженный тесным кольцом актеров, переходя изычно взглядом от одного разгримированного лица к другому, вроде бы все еще досматривая спектакль, он как-то симпатично в голос смеялся и говорил почти каждому из нас те или иные оценки, замечания. Посмотрев на меня, ничего не сказал, но так же, в голос, засмеялся. Не зная почему, я тоже захохотал, однако наши актеры неодобрительно скосились в мою сторону, и я, сообразив, что сделал что-то недостойное, умолк. И опять мы безотрывно глядели на «пришельца» из того, другого, непонятного нам мира, мира высокого искусства. Благоговейнейшая тишина чередовалась лишь с переливами грудных обертонных высокого гостя. И только когда в тоне режиссера прослышалось: «Я все сказал» — и он действительно умолк, кто-то из артистов-старейшин, робко осмелев, проявил заботу:

— Удобно ли вы сидели? У нас такой скверный зал.

— Мне всегда удобно. А зал действительно у вас плох, и какие-то кошки бегают по ногам.

Поднялся хохот. Теперь уже смеялись все. После этой прекрасной минуты мы наконец стали самими собой, и Андрей Александрович поинтересовался, нет ли среди нас любителей уплыть в море. Не осознав, что он разумел под «уплыть в море», и не владея никаким стилем в плавании, а лишь умея держаться на воде, я изъявил готовность плыть.

— Прекрасно, завтра утром мы это и сделаем, там и поговорим...

Утром, мощно рассекая воду, он уплывал далеко вперед и ждал меня. Не успевал я доплыть до него, как он вновь торпедой уходил к горизонту, явно намереваясь для начала переплыть Каспий поперек! Видя наконец, что вместе с силами я теряю и плавучесть, он улегся на воду, как в постель, и явно был обрадован, когда я, вытянувшись не хуже его, глубоко задышал рядом.

— Вы на удивление живой артист, Кеша...

Всех этих славных признаний за последние дни было бы с излишком и для сильного человека на суше, но здесь... в открытом море... Я уже было начал свое большое погружение, и только его вторая фраза: «Где вы учились? Что кончили?» — заставила меня всплыть.

— По актерскому ничего... ничего... не кончал...

— Ах, вот откуда эта самобытность!.. Ну что ж, бывает и так. Нужно работать в хороших театрах, где-нибудь в центре. Поезжайте в Москву, здесь ничего не достигнете. Здесь прекрасны вода, утро, пляж и солнце, но театр оставляет... Пяток достойных актеров, а добрую половину труппы нужно будить, остальные вообще... отговорил — и в горы. Нет, конечно, в Москву. Легко, вероятно, не будет — манны не ждите. Но Москва — жизнь, ритм, споры, возможности, борьба — прекрасно, Кеша. Такое количество театров, да хотите, приезжайте в наш — пока молоды, надо. Поиск, творчество — прекрасно.

И, издав мощный рев, шумно ушел в воду. Онемевший, я некоторое время щепкой болтался на воде, потом тоже попытался издать львиный рык, но, по моему, ничего не вышло, и я начал озираться по сторонам в надежде определить, к какому горизонту мне предстоит плыть теперь.

После вялой двухлетней переписки и переговоров с Московским театром Ленинского комсомола вся несостоятельность моих притязаний стала наконец очевидной и для меня. Я вроде очнулся от завораживающего, долгого сна, и мои друзья в Волгограде, где я работал уже два года после Махачкалы, вдруг увидели меня совсем отличным от того, каким привыкли видеть. «Если за пять лет я не смогу сделать ничего такого, ради чего следует оставаться на сцене, — я бросаю театр», — заявил я. Решив, я освободился от тяжести ожиданий, сомнений и послал в Москву телеграмму: «Уважаемая Софья Владимировна готов приехать постоянную работу тчк сообщите когда в чем сможете предоставить дебют тчк уважением Смоктуновский». Ничего скромного в этой телеграмме нет — она, собственно, так и была воспринята. Только думается, что послание это не столько удивило, сколько напугало — ответ пришел на следующий день. «Не ссорьтесь театром тчк приезд дожидитесь отпуска тчк сообщите чем хотели бы дебютировать тчк уважением Гиацинтова».

Через три дня, совершенно и навсегда порвав с волгоградским театром, я предстал перед несколько потерявшейся Софьей Владимировной.

— Как, вы приехали?

— Да, я приехал.

— Совсем?

— Разумеется!

Никакого дебюта, конечно, не было да и не могло быть, а был показ, обычный показ, какие практикуют во всех театрах с тем, чтобы руководство театра имело большее основание заявить навязывающимся в театр актерам: «Извините, вы нам не подходите».

На показ пришло человек двадцать актеров. Я был полон сил, решимости, настроение было прекрасным — я знал, что и как я должен делать, и даже не очень волновался. И вот уж не знаю, чем объяснить, но по ходу этого домашнего показа раздавались аплодисменты и не раз вспыхивал дружный смех. Это — единственный удачный мой показ в Москве, вселивший в меня уверенность, что мой приезд вполне оправдан и что меня обязательно возьмут.

Софья Владимировна, трясая мою руку, взволнованно и как-то безысходно повторила:

— Дорогой мой, дорогой... Что же делать? Что же? Да, да...

— Что делать... Брать надо, Софья Владимировна, брать, — под видом шуток протаскивал я затаенную, страшную жажду.

Софья Владимировна, милая Софья Владимировна — она была первым и единственным человеком, просто и заинтересованно разговаривавшим со мной. Узнав, что мне не только негде жить, но и не очень есть, чем платить за жилье, она предложила, чтобы я снял комнату или угол за ее счет.

Буквально на следующий день я был довольно радушно встречен директором театра, медленно разговаривавшим человеком, из чего создавалось впечатление, что каждое произносимое им слово он взвешивал на каких-то своих внутренних тяжелых весах.

— К подбору актеров мы должны подходить фундаментально, — тяжело качнул он кистью руки, как бы определяя вес и актеров, а заодно и вес того фундамента, который собирался брать за единицу измерения необходимости в актере. И тем не менее наш разговор шел довольно гладко до той поры, пока я не произнес слово «прописка».

И вот здесь все пошло значительно быстрее и без всякого дополнительного взвешивания. Выяснилось, что он готов взять меня в свой театр, но не может в силу того, что у меня нет московской прописки, прописку же я мог получить, только имея постоянную работу в Москве и наоборот...

Этим вот милым разговором и начался тот самый удивительный путь по театрам Москвы, где, воображая, что я иду вперед, я уже шагал по строго замкнутой окружности. Не отчаиваясь, однако, и памятуя наши утренние морские «марафоны», я с легкой душой побежал в театр на Бакунинской. Андрей Александрович, широко разведя руки, с радостью встретил меня:

— Ах, вот куда завела вас ваша... самобытность! Ну что ж, бывает. Работать можно в любом театре, если работать, разумеется... А здесь переизбыток прекрасных актеров. Поезжайте куда-нибудь в среднюю полосу России — замечательные театры, насыщенный спрос на современного актера. В Россию, конечно, в Россию! Легко, вероятно, не будет, манны не ждите, но — ритмы, спор, творчество, поиск, перспективы... Пять-шесть премьер в год, вдумайтесь только — прекрасно... Возможности, каких просто не сыскать здесь... Прекрасно...

Когда все ступени этой долгой лестницы были исхожены и впору хоть начинать сначала, кто-то обмолвился: не попытать ли счастье в Московском театре-студии киноактера? Делать нечего — пошел «пытать». И довольно скоро выяснилось, что «пытать» буду не я, а пытаться будут меня. Но этому всему суждено было произойти несколько позже, а пока, ничего не подозревая, я шел в этот театр-студию, полный светлых, радужных надежд. Люди, у которых я оставил ящик со своими вещами, уехали в отпуск, не сказав мне ничего о своем отъезде, и вот уже целую неделю я хожу по испепеленной солнцем Москве в лыжном костюме. Стеснен ужасно. Несвеж, весь мятлый, хоть бы пасмурный день, а то жарница дикая. Москва давно не помнит лета с такой жарой. Теневые стороны улиц битком набиты москвичами. Приезжий люд, стесняясь и теснясь, заполнил все солнечные стороны. Я был на солнечной стороне, разумеется, — там было проще, по-свойски, никто не замечал моего лыжного костюма и того, что я нездешний.

А вот и это неуютное нагромождение здания Театра-студии киноактера на улице Воровского. Совершенно не представлял, что этим днем начинаю свое нашествие на кино.

Внутри помещения тихо и прохладно — Боже, как хорошо! Вот здесь бы и работать. Прислонясь воспаленно нагретым лбом к холодному гляncу стены, почувствовал, что пришел к своим. Так хорошо и тихо может быть только дома. Не выходной ли у них сегодня? Что-то никого не видно.

— Эй, ты там, хватит подпирать стенки, иди поддержи лестницу! — раздалось вдруг нагло громко.

Молодые ребята-монтеры наверху тянули какие-то провода. «Вот я уже и работаю здесь, — пронеслось во мне, — неплохое начало». Разузнав у мастеров, где кто, и прихватив кусок изоляционной ленты, которую удобно было наматывать на палец одной руки с тем, чтобы здесь же перемотать на другую, приятно преодолевая наивное сопротивление ее клейкости, отправился в директорский кабинет. С такой непроизвольной моталкой рук меня и застал голос секретарши (дом тишины и внезапных окриков):

— К директору? По какому вопросу?

— По вопросу найма.

— Нам электрики не нужны.

— Я не электрик, я артист.

— Да?! А артисты тем более... И вообще директора нет.

Бросило в жар, и на секунду стало тесно, как только что на солнечной стороне. Я ждал, ждал эту фразу и вместе с тем глупо надеялся, что хоть здесь-то она не прозвучит. Нелепо предполагать, что секретари всех театров созвонились между собой: «Мы должны быть едины, отвечая ему, иначе нам конец. Директора нет — и все тут, он уехал».

Поэтому я не удивился, что меня не принимают: его же нет. Что тут удивляться? Вот если бы вдруг сказали: «Он у себя и ждет вас», — вот тут, я думаю, какой-нибудь кондрашка меня мог бы хватить совершенно запросто.

У вас директора нет — понятно, а у меня удивления нет. Это уж вам понимать, но мы квиты.

Я поблагодарил и ушел, ясно слыша голоса из полуоткрытой двери кабинета директора. Я ушел. Надо было что-то менять, и менять основательно, конструктивно, но что именно и как — придумать не мог...

Придя опять в Театр-студию киноактера, я оказался в гуще популярных и просто знакомых по кино лиц. Такого скопища «звезд» я не видел никогда раньше и, помявшись несколько, тем не менее жадно вслушивался в сигналы этой удивительной Галактики. В общем-то это было нечестно, бессовестно — я подслушивал, но узнать тайны творчества, жизненные устремления актеров, приведшие к возможности так полно и явно выявлять себя, — упустить этот, может быть, единственный случай я не мог. Поминутно удаляя испарину со лба, я беспрепятственно переходил от одной «галактики» к другой. Здесь говорят о каких-то катерах, там рассказывают о забавных, острых ситуациях, просто смешно и весело острят: в общем, вели они себя, как обычные пришедшие на профсоюзное собрание люди, но... лишь с той простотой и полной раскрепощенностью, которую могут позволить себе только избранные — баловни судьбы.

Они просто источали уют, удобство и взаимопонимание. Для них, казалось, не существовало невозможного, напротив, все легко и безболно. Секретарь директора, которую я всегда видел с лицом замкнутым, как томагавк (и другой даже представить себе не мог), здесь улыбалась приветливо и мило, была общительна и стала даже привлекательной. А когда кто-то из знаменитостей бесцеремонно шлепнул ее по... ну, по этому... в общем, пошутил с ней довольно грубо и она не обиделась, не оскорбилась, а лишь кокетливо вскрикнула: «Ох, вы, препротивный шалунишка этакий!» — я вмиг понял, что веду себя совершенно неверно. Не надо ничего из себя изображать — ни воспитания, ни повышенной вежливости, тем более что ничего этого во мне нет и никогда раньше не было, — а нужно быть только самим собой, и больше ничего. Захочется шлепнуть — давай шлепай. Это будет только мило и симпатично. И в тот самый момент, когда я воображал, что ухватил наконец нить, столь необходимую мне сейчас, их всех вдруг попросили в репетиционное помещение...

«Второй акт с выхода гостей и до конца!» — прокричала женщина, распахивая двери. Вот те на! Оказывается, все они пришли на репетицию! А никто из них ни словом не обмолвился ни о ролях, ни о каких там творческих соображениях, вроде тех и не существовало. Нет, как бы я ни вслушивался, как тихо и осторожно ни переходил бы от одних к другим, из меня, конечно, никакой шпирон никогда не получился. Смотреть во все глаза и не увидеть главного — такое надо уметь. Расстроенный, я не заметил, как вместе с ними подошел к тем дверям, но странно — казалось, они тоже были чем-то вроде расстроены, во всяком случае, большинство из них. А некоторые актеры совсем сникли и нехотя, не спеша входили в двери. Общая перемена в их настрое была разительной, и ее-то не заметить было просто невозможно... И я вдруг все понял: ай-яй-яй, яй... вот это да-а! Это в их уже завоеванном положении? Невероятно!

У нас, у актеров, существуют всякого рода поверия, и поверий этих, тайн, прелекое множество. У каждого актера они свои, так сказать, индивидуальные. Призваны же они для одного — помогать нам, оберегать нас от провала.

Но есть и расхожие, общие, и одна из таких общих тайн кроется в простой с виду фразе: «Роль слезу любит». О, значит это многое: не болтай о роли, а приготовь ее как следует, не жалея себя, как если бы роль эта была единственная и последняя возможность разговора о необходимом, о жизни. И — молчи. Молчи. Если уж невтерпеж и тебя распирает от желания поделиться, как это у тебя все здорово, талантливо получается, то плачь, хнычь, но не смей похвалиться и предвосхищать то, чем ты собираешься завоевывать и поражать зрителя, иначе — провал. Молчи, только таким жестоким самоограничением сможешь уберечь грядущий успех...

«Звезды» уходили за дверь погасшими, молчаливо — я был поражен. Это был ритуал перед началом работы, требовавшей жертв, дани от своих жрецов. Пораженный, я устался в дерматиновую пухлость двери, ревностно оградившую их от меня.

Войти вместе с ними — я не смел, но побыть хоть где-то рядом было до взволнованности приятно и даже немножечко гордо: вроде я тоже из их среды и имею отношение к их судьбам, к их всегда праздничной, полной поэтической прелести, загадок работе и жизни.

Что происходило на репетиции, к каким пластам глубин человеческих добирались они там?

В стороне от той заветной двери у стены сиротливо стояла яркая двусторонняя заставка от какой-то декорации. Подумалось: а есть что-то общее со мной — тебя выставили, меня не пустили, и вот мы оба здесь, ты у стенки — я тоже. Сперва неосознанно, спотыкаясь, я то и дело задерживался взглядом на ее намалеванной праздничной мозаике. Заставка служила, должно быть, входом во что-то — на лицевой ее створке был вырезан дверной проем, в который откровенно, не стесняясь своей наготы, глядела мешковина тыльной стороны другой, смежной, створки. Вокруг этого дверного проема надменно-иронической рукой бойкого художника была выведена вся прелесть легкой сказки: какие-то фантастической величины и формы цветы, травки, лепестки, цветастые стрекозы и бабочки парили над праздничной свежестью цветов. И все это было сдобрено обилием щедрого солнца. А по еле угадываемой тропинке вглубь уходила девушка в светлом платье...

Передо мной две двери: настоящая, добротная утянутая, как молодой лейтенант, портупей, крепкими, крест-накрест, узкими полосками дерматина, — не впускившая меня, и другая, впрочем, даже не дверь, а вырез, обнаживший серый холст мешковины, за которой была стена — тупик. Но до чего огромный, щедрый мир сулил мне этот лишь кистью намалеванный вход в жизнь, он был открыт, звал и был прекрасен. Чудо.

Москва вместе с отверженностью подарила мне и друзей, которые верили в меня, несмотря на мое затянувшееся созревание. Проводив меня сегодня до самого здания театра, она сказала: «Все будет хорошо, вот увидишь». И сейчас, стоя перед этими дверьми, я засмеялся — она уже говорила это месяцем раньше, но хорошего все не было.

Жила она в переулке Посланников, у серой громады Елоховского собора. Время от времени я бывал у них, и всякий раз перед моим уходом они с матерью приглашали заходить снова, не забывая, говоря, что дом всегда открыт и мне будут рады. Я каждый раз обещал появиться вновь тогда, когда уже чего-нибудь добьюсь, изменю этот нескладный, отбрасывающий меня в сторону ход событий. Но время шло, а перемен не было, и я вновь появлялся у них, снедаемый стыдом и тоской в желудке.

И вот, размышляя, как-то я с неотвратимой ясностью увидел вдруг, что за все это долгое время я не только ничего не изменил к лучшему, но еще больше, глубже увяз в этом глухом непонимании и что выхода, пожалуй, и нет. Эта простая мысль меня поразила. Может быть, я впервые увидел себя со стороны — и потом долго сидел терзаемый стыдом: как мог я обременять собой, своими неудачами добрых, милых людей? И я решил больше никогда не приходить к ним.

Да еще острым укором припомнился мой первый приезд в Москву, когда я ввалился к одним норильчанам, которых едва знал, но которые совсем не зна-

ли меня, если не считать того, что раза два видели меня на сцене Норильского театра. Три дня я пробыл у них и понял, что если тебе дают адрес и мило говорят что, мол, будешь в Москве — заходи, то это еще совсем не значит, что ты так же мило можешь заходить. Тебя пригласили, с тобой были любезны, ну и будет. Тогда я ничего этого не понимал и пожаловал к ним с вещами. И впечатление, которое я на них произвел тогда, было куда более волнующим, я думаю, чем то, которое они испытывали, ранее глядя на меня из зрительного зала. Должно быть, творчески я уже здорово окреп и мог запросто потрясать обычным своим появлением в дверях.

Я уже полмесяца не был у них, не видел ее, и теперь она пришла навестить меня к нашим общим друзьям Марице и Валентину Бегтиным-Ганцовским. Очень ясно, до четкости, вспомнилось выражение ее лица. Сама она, я думаю, не пришла бы, но по телефону Марица ей сказала, что я попал в беду, приходи, мол, проведай.

— Да что случилось? — мягко домогалась она.

Марица, жена Валентина, приютившая меня в эти дни, хохоча в трубку, сказала:

— Ничего особенного, но это лучше видеть.

— Хорошо, я приеду.

Марица осторожно подносила трубку телефона к моему опухшему, ставшему разноцветным, бесформенному лицу — и я все слышал...

Накануне вечером мы с Валентином ехали в троллейбусе. Зная, что у меня был нелегкий день, он спросил меня, почему не сажусь. Я стоял около какого-то дремлющего парня в очках, у окна рядом с ним место было свободным. Нам скоро нужно было выходить, и я, совсем не желая обидеть или, Боже упаси, оскорбить этого молодого человека, ответил Валентину, но, наверное, несколько громче, чем следовало:

— Вот сейчас попрошу этого очкарика подвинуться и сяду. Подвиньтесь, пожалуйста. Пожалуйста,— повторил я, но молодой человек моих излияний вежливости не услышал или не оценил, зато слово «очкарик» в него запало, должно быть, глубоко. И, воодушевившись, он кликнул своих товарищей — их оказалось в троллейбусе человек шесть, они избили меня. Причем били долго, дружно, не стесняясь, все — в очках и без очков.

И вот теперь она пришла. Через оплывшие щелки век я немного видел, но ей, очевидно, было непонятно, вижу я или держу лишь лицо кверху, чтоб не свалились примочки. Она молчала и, постояв, как в почетном карауле перед скончавшимся, ушла в прихожую, откуда донеслось:

— Марица, руки помыть можно?

— Конечно, ну как ты его нашла?

Ответа не было.

— Да-а, славно поработали ребята,— выдохнула она, вернувшись, и наконец улыбнулась.

— Ничего, мы молодцом, глаза и зубы целы, и прекрасно,— проговорила Марица бодрым тоном врача, скрытно знающего, что с этим пациентом все кончено.

Не сообразив, что возражает Марице, она осторожно сказала:

— Да нет, все будет хорошо... все будет...

Наивность этой домашней самостоятельности рассмешила меня, но вместо смеха вырвались какие-то ключья рваных всхлипываний. Она отпрянула, улыбка сошла с лица, и, странно кривя губы, она медленно выговорила: «Ты опустил бы голову, тебе неудобно».

Едва не физически я ощутил, что все страшное позади, что есть, есть она, человечность, есть любовь и ее так много в этом худеньком человеке, что она буквально заливает, топит меня, она пришла: столь долго отыскиваемое мною человеческое внимание, тепло клокотало в ней болью, тревогой за меня. Хотелось спросить и сказать, но, прохрипев, я замолк и, ничего не видя, стал неотрывно глядеть в пол. На все обращения ко мне я упрямо молчал, стараясь как можно больше прикрыть лицо руками. Если даже я пытался бы, то не смог бы сказать ни слова — я выстоял, нашел, может быть, ценой слишком не простой, долгой и жестокой, но нашел, и теперь ничего не страшно. Она пришла.

Взволнованный ее сегодняшней мягкой решимостью и знакомством с людьми, скрывшимися за черной дверью, я стоял и улыбался. Было хорошо.

Москва-то и вправду добрая, уютная, и никакой я не чужой в ней. Никто, оказывается, не замечает моего зимнего лыжного костюма. Неужто я и впрямь мог злиться на белоснежную легкость рубашек москвичей?.. Мир стал иным. Свежая нежность утренней дымки. Выходя из тени дома, окунаешься в плотность лучей июльского солнца и хочется лечь на них. Останавливаюсь у нагретой этим чудным утром стены, задрал голову, подставляю солнцу лицо с закрытыми глазами. Мыслей?.. Никаких! И сожалений нет. Скорее ощущаю, чем слышу, мчащуюся рядом, ставшую вдруг тихой и своей Москву.

Как хорошо, до удивления хорошо просто жить, дышать, видеть в прикрытых веках собственных глаз спокойно розовый ответ с падающей и вновь вверх подпрыгивающей вязью кружков и паутинок! Как знать, была бы эта радость жизни сейчас, если бы пройденное не набросало на глаза этой плавающей «вуали», стремящейся оградить окружающее от моего не совсем еще осознанного «я», но ни это, ни что другое не смогло огорчить меня, я был растворен в робкой радости утра, в солнце, в воздухе, в теплой стене за моей спиной — во всем. Я был страшно малой, но все же составной частью этого огромного, напоенного солнцем мира, и со мной не считаться нельзя — я есть, я буду, потому что пришла она.

В Московском театре имени Ленинского комсомола, где она работала, шел какой-то спектакль. Дверь из ложи отворилась. Я тогда впервые увидел ее. Мгновение задержавшись на верхней ступени, двинулась вниз.

Тоненькая, серьезная, с охапкой удивительных тяжелых волос. Шла не торопясь, как если бы сходила с долгой-долгой лестницы, а там всего-то было три ступеньки вниз. Она сошла с них, поравнялась со мной и молча, спокойно глядела на меня. Взгляд ее ничего не выспрашивал да, пожалуй, и не говорил... Но вся она, особенно когда спускалась, да и сейчас, стоя прямо и спокойно передо мной, вроде говорила: «Я пришла!»

— Меня зовут Иннокентий, а вас?

Она продолжала молчать.

— Вас звать Суламифь, это так? Я не ошибся?

— Да, это именно так, успокойтесь, вы не ошиблись. Что вы все играете, устроили театр из жизни — смотрите, это мстит.

Ну вот поди ж знай, что именно этот хрупкий человек, только что сошедший ко мне, но успевший, однако, уже продемонстрировать некоторые черты своего характера, подарит мне детей, станет частью моей жизни — меня самого...

Директор тот, оказывается, говорил короткими броскими фразами с неожиданными паузами, которые он расставлял так странно и по-своему, что определить, закончил ли он говорить вообще или это только перерыв в его мыслях и монологе, было далеко не просто. Директор говорил со мной на ходу. Начал он у двери своего кабинета, куда я, увидев его, подбежал, и закончил на лестнице — вот той самой удивительной фразой, заставившей меня многое переосмыслить в моей жизни.

— У нас театр... — Здесь он сделал свою первую паузу, а мог бы и не делать, я и без того знаю, что у них театр, а не конюшня.— Студия киноактера, понимаете, киноактера,— продолжил он, давя на «кино», и поднял при этом указательный палец, да так, что исключил малейшую возможность пребывания кино в другом месте — оно должно было быть только где-то там, в высях. Я доверчиво задрал голову в надежде увидеть, понять, каким это образом оно там оказалось — зеленоватые разводы от сырости прохуdivшейся крыши, и никаких кино там не увидел.

Но директор продолжал так пронзительно смотреть, а один глаз его вдруг начал вроде приближаться ко мне!... Невероятно... самостоятельно, едва ли не выкатываясь из глазницы. От неожиданности я взглядом онемело впился в это феноменальное, самодвигающееся око — не выплюнулось бы на ступеньки лестницы между нами. Палец по-прежнему застыло указывал вверх. Лицо директора не шевелилось; однако глаз, судорожно дернувшись в сторону, стал

вбираться обратно, восвоеси. Казалось, око уходит холодно, безразлично, ни разу не обернувшись. Так, я думаю, удалялась тень отца Гамлета прочь от своего рефлекслирующего сына, по ходу бросая в бездну вечности: «Прощай, прощай и помни обо мне».

Время остановилось — я обомлел. Как только вспоминаю — меня бьет озноб, а тогда я просто стоял и смотрел, не смея звука молвить, не то что слова вымолвить.

Неделей позже, когда оторопь прошла, я вновь появился таким зыбким силуэтом на его пути, но теперь уже в кабинет...

Тихо, доверительно, но уж слишком четко он выговорил, отчего вынужден открыть мне глаза, почему он так долго не принимал да никогда и не примет меня в Театр-студию киноактера. (Правда, через месяц я уже работал в этом театре, но это уже скучная деталь.)

Он удивил меня, говоря сплошняком, без своих пауз, на которые я надеялся, и мне с превеликим трудом удалось вставить лишь:

— Видите ли, я актер...

— Что вы все заладили: актер да актер,— у нас кинопроизводство, понимаете?

И опять кино оказалось в высях. Наверное, между перстом и глазом существовала какая-то тайная связь — палец полз вверх, глаз выкатывало вперед. Я незаметно изготовил ладонями двойную пригоршню — ловить око.

— Ну, а ваше лицо разве можно снимать?

Стоя с ковшиком рук и совершенно перестав что-либо соображать, я все же нашел в себе силу и основание выхамить фразу:

— А почему нет?

И вот он, апофеоз моих хождений и тревог. Я думаю, все верно. Верно, стоило ждать, терпеть, надеяться, чтобы услышать такое.

— Лицо у вас не то... некиногеничное...— Здесь он сделал наконец свою паузу.— Лицо.

Все — конец. Дальнейшее молчание. Не надо утруждать себя и задавать вопросы: быть или нет быть,— все ясно. «Некиногеничное лицо». Я слышал этот технический термин и раньше, но никак не мог предположить, что именно ему суждено будет обрушить на меня всю современнейшую армаду советского кинематографа с дотошными фотографами, художниками, операторами и примерами, чтобы как-то бороться или хотя бы временно противостоять этому злу на моем лице, року, этой, честно говоря, совершенно мне ненужной и неизвестно откуда взявшейся некиногеничности.

Не думаю, чтобы он уж слишком долго стоял надо мной и втолковывал, какое у меня ненужное лицо, наверное, он вскоре ушел — я не видел. Хотелось пить, только пить... странно: сейчас, должно быть, полдень, а сумерки. Вверх угадывались ступени лестницы, каждая ступенька затянута каким-то толстым войлочным материалом, прочно прижатым светло-желтой полоской меди... Не просто, должно быть, пришлось потрудиться, чтобы долгую лестницу эту одеть. Полоска медная, а винты в ней из обычного металла — стальные вроде, — некрасиво, не сочетается.

...Холод внезапно завлажневших рук... Нехорошо. Однако сколько воды в реках утекает в разные моря и водоемы, а они все не выходят из берегов — наоборот, даже мельчают. Какое уймище воды в Байкале, а Ниагарский водопад — тьма. И домик наш — флигель на пригорке... К воде спускаться нужно очень осторожно по крутой, неровной тропинке: оступишься — и в крапиву: не смертельно, а больно — жуть как. И никакой там не водопад, а река Енисей и собор огромный, белый собор, в нем еще контору «Сибпушнины» сделали. Летом, после того как вода спадет, можно бегать по полянке в одной рубашке и никто ничего тебе не скажет, а хочешь — в мелкой, мутной Каче пескарей лови...

Это откровение директора о моем лице меня прямо-таки подкосило — дня два я мучительно соображал, как же быть теперь? Но ответа не нашел. Видя мое раздумчивое состояние, Суламифь через друзей своих сделала возможной встречу и разговор с Иваном Александровичем Пырьевым, кинорежиссером и в то время директором «Мосфильма». Проводив меня до студии, она вдруг делово, конкретно сказала:

— Будь прост, серьезен — это многое решит.

Раздосадованный, что она видит во мне какого-то фигляра и обращается как к недоразвитому, я спросил:

— Как ты думаешь, очень будет неудобно, если, заволновавшись, я вдруг забуду, как меня зовут?

— На неудачи не жалуйся, не приbedняйся и не скромничай — ты одаренный человек и нужен им, нужен много больше, чем они могут предположить пока.

— Так ему и сказать, что ли?

— Хватит игрищ, будь самим собой наконец! — И, увидев выворачивающий из-за угла троллейбус, не простившись, не сказав ничего больше, она поехала к остановке.

В самых важных, ответственных моментах жизни человека все от него бегут, и он остается один как перст, и не на кого ему положиться.

И поэтому я был поражен и чуть не вывалился из окна приемной студии, увидев, что она ждет, вышагивая у проходной «Мосфильма».

Серьезно, как врач, смотря на меня, время от времени записывая что-то, слушал меня Иван Александрович. Сейчас-то я понимаю: выкроить полчаса из управления сложным, эмоциональным организмом «Мосфильма», даже в конце рабочего дня, мог только человек, или умеющий думать о завтра, или безмерно добрый. Совершенно не зная его, но лишь ощущая в неторопливом, сухощавом человеке силу и масштаб, я, хоть и говорил все дельно и по существу, взмок весь, и, когда Иван Александрович, дав мне письмо, предварительно запечатав его, протянул на прощание руку, я, даже страшно вспомнить, подал ему холодную, как лягушка, мокрую свою длань. Кошмар!

Что написано в письме? Мы вертели, крутили, стараясь прочесть его на просвет, смастерив для этого из настольной лампы подобие рентгеновского аппарата, строили различные предположения о содержании письма, и, чтобы наконец покончить с неизвестностью и домыслами, кто-то посоветовал распечатать письмо, осторожно прогладив его горячим утюгом, но эта «великая идея» была тут же отменена.

Так и не узнав, что там, в письме, я отнес его в Театр-студию киноактера той самой, хорошо знакомой мне секретарше, сказав:

— Иван Александрович просил вот передать вашему директору.

— Какой Иван Александрович?!

И вдруг мне пришла шальная мысль воспользоваться ее перепуганно-наивным вопросом и посмотреть, как это может выглядеть:

— Как, вы не знаете, кто такой Иван Александрович, дядя Ваня?

— Дядя Ва... Позвольте, вы что же... Что, Иван Александрович Пырьев ваш?..

— Да, да, да, вы правы, Иван Александрович Пырьев, наш именно он... и именно наш... — перебивал я, стараясь избавить ее от излишней конкретности толкования моей родословной, тем более что я и сам-то ее точно до этой минуты не знал.

Бедная женщина — мне было жаль ее, однако отступать было поздно и я скромно, как делал это раньше, еще не будучи племянником, сказал:

— Днями я зайду опять, до свидания.

Дня через четыре по телефону меня пригласили оформлять документы. Все вокруг оказались милыми, отзывчивыми людьми, полными внимания и чуткости. Но, правда, с меня взяло слово, что я никогда не только сниматься, но даже стремиться сниматься в кино не буду, а только работать на сцене. Памятуя о своем лице, я с легкостью согласился никуда не стремиться. И честно держу это слово до сих пор.

О ДРУГЕ

Совсем не в далекие от нас времена в театрах бытовало этакое расхожее мнение, что, мол, публика — дура. Не думаю, что кто-нибудь из работников сцены или околотеатральных кругов мог бы заявить это сейчас. Иные времена —

другая аудитория. Если кто и способен на такое умозаключение теперь, так разве что... от переизбытка самомнения или от собственной недостаточности, что, может быть, одно и то же.

Однако даже и теперь далеко не все могут представить себе, что такое спектакль на самом деле, то есть не могут даже близко предположить его полигоном разумных, духовных, физических напряжений, усилий артистов, занятых в этом «побоище». А это именно так. Порою приходишь на спектакль и явно чувствуешь, что вот сегодня-то ты ну никак не можешь рассчитывать на эфемерную, осознанно временную, в общем-то добрую власть над полутора тысячами судеб, характеров, нравов, привычек, профессий, сиюминутных настроений, наклонностей и разнообразных по полной несовместимости мироощущений. И вот здесь-то и начинается потаенная, скрытая, никем из зрителей не подозреваемая борьба: борьба за умы и души, за возможность взять, подчинить, если хотите, подавить добровольно собравшихся мило и славно провести время и увести за собой в мир драматургии. Должно быть, именно за эту доверительность театру те досужие умы прошлого и нарекали заполнившую зрительный зал публику неразумной. Однако спектакль объявлен, все пришли.

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит...

И действие должно состояться, и желательно на том уровне, который обещают фамилии, так четко и ясно напечатанные в программе зрелища.

Как тут быть?

Видите, как это близко к вечному:

Быть или не быть?

И как здесь важно, как невероятно важно, кто с тобою рядом в эту непростую минуту. (Нет уверенности, что все, читающие эти строки, поверят мне, и тем не менее это именно так.)

...Заходит. (У меня грим сложнее, и со мною больше и дольше возьмется художники-гримеры, не оставляя никаких свободных минут до самого выхода на сцену.) спрашивает:

— Как ты?.. Впрочем, вижу... Нездоров, что ли?

— Да-а, сил вот что-то нет... Где их брать на такую махину?

Имеется в виду роль Иванова, которая по трудоемкости уступает лишь князю Мышкину и, конечно, царю Федору Иоанновичу, да еще на этом космодроме, где впору устраивать смотр войск, баталии или какие-нибудь гала-концерты, оперные или балетные представления... Но Чехов с его душевностью, с его боязнью спугнуть собеседника неосторожным или слишком громко произнесенным словом... Не в добрую минуту пришла кому-то мысль учредить здесь сцену Художественного театра. Нет, не в добрую.

— Да-а-а! Здесь уж ничего не попишешь: есть — так есть. А нет — так уж... все равно надо, — неожиданно вывел он, решив закончить чем-то вроде остроты.

Ответом, должно быть, была какая-нибудь неопределенная реакция или вздох, сказавший тем не менее о разбросанном состоянии. Стоит, молчит, курит и дым к потолку пускает, чтобы не раздражать, не мешать.

Стал вдруг маятником ходить за спинкой кресла. В зеркало было видно, что моментами думал не о том, о чем только что говорил. Остановился на старом месте, опять шумно обдал дымом потолок и вроде вообще забыл обо всем.

Но вдруг мягко и по-доброму:

— Старики учили переключивать это свое состояние на своих персонажей. Попробуй — тем более что по сути, по настрою оно близко к ивановскому. Попробуй. Другого-то выхода нет. Во всяком случае, хуже не будет.

— Да, ты прав, хуже не будет — некуда...

— Ну вот, ты уже и остришь, и глаз вроде появился...

Очередной звонок к началу спектакля прервал нашу не очень веселую разминку. Он вышел.

Не помню, как прошел тот спектакль (хотя очень просится написать: зашел, подбодрил, поддержал — однако это было бы уж очень по-дилетантски упрощенно, да к тому же я действительно не помню). Спектакль этот шел довольно часто, и он по себе знал, что дается «Иванов» непросто, нелегко. Долж-

но быть, потому и заходил, и стоял, и, шумно обкуривая потолок, думал, чтоб потом, на сцене, вместе, достойно и по-человечески пытаться быть.

С Андреем Алексеевичем Поповым на сцене было просто, спокойно. Во всех работах своих, как бы различны они ни были, он был основателен и серьезен, даже если герои его отличались наивностью и непосредственностью. Эта двухметровая обаятельная махина неизменно вызывала к себе доверие, располагала; думаю, на него просто хорошо было смотреть, а одно это уже немало для человека, вышедшего на сцену поделиться ли раздумьем, поспорить ли, задать ли вопрос, либо заявить о своем человеческом достоинстве и побороться, отстаивая, защищая его.

Что говорить — сколько актеров (они есть всюду и в Художественном театре), не то все перепугав, не то просто по незнанию, а скорее всего по лени, дурновкусию или по отсутствию дара чутья, а может, по забвению обычного такта не только к публике, но и к образу, который ими прослеживается, подменяют процесс жизни на сцене пошлым, банальным, штампованным, не имеющим никакой творческой ценности ужирненным обозначением — педалированием. Они не только наигрывают, но и заигрывают, заискивают, плюсуют, пускаются во все тяжкие, чтобы заполучить расположение публики (и, увы, у какой-то, и немало), часто аудитории добиваются желанного отклика — понимания), и не делают лишь одного (а именно только это одно они и обязаны делать) и, что самое страшное, даже не пытаются — не пытаются жить! Высказывая такую «крамолу», я подвергаю себя риску стать объектом нападков, фраз, реплик, стригущих глаз... Но что же делать, если само время диктует иное.

На сцене сейчас оно просто требует жить. Правда, это нелегко. Жизнь на сцене сопряжена с действительными нервными затратами, с учащенным, порой до мятущегося пульсом, с болями в затылке от принуждения и даже оголенным ощущением стенок собственного желудка. Все это настолько неприятные вещи, что об этом тяжело и противно писать. Но если мы не только декларируем и безответственно болтаем о системе Станиславского, Немировича-Данченко, а действительно хотим свято и неуклонно следовать им (а это единственный путь быть живым на сцене) — то, пожалуйста, будьте любезны жить!

Андрей Алексеевич не только знал, чувствовал все это, но был апологетом, проводником этого непростого умения, он был подвижником, истинным жрецом удивительной науки умения владеть собой, забывая себя среди правды жизни на сцене того образа-характера, который представляет сегодня артист Андрей Попов.

Лебедева в «Иванове» он проживал. Проживал не без увлеченности. Не эта ли увлеченность и является, по существу, единственным стимулом в тех совершенно бескорыстных тратах самих себя, с виду нормальных и психически здоровых людей — актеров.

Аналогов подобной «бесхозяйственности жизненных сил в биосфере деятельности человека» сыскать затруднительно, а может быть, и невозможно.

Уж не знаю, что причиной тому, однако довольно часто в разговорах об «Иванове» и вообще о Чехове у Попова нет-нет да и промелькнет сожаление, что ему не пришлось работать над образом графа Шабельского — его-де он мог бы проследить (он так и говорил) куда полнее, интереснее, а следовательно, правильнее. О других исполнителях роли Шабельского в спектакле он не говорил, однако было достаточно ясно, что ни с одним из них он согласиться не может. И видит ключ к Шабельскому совсем в иной, едва ли не противоположной направленности.

«Шабельский,— говорил Попов,— один из наидобрейших персонажей драматургии Чехова».

В самом деле образ Шабельского так легко, без потуг и скидок ложился на добрую детскость природы самого Попова, что подобное совпадение не могло не подарить зрителю праздник театрального пиршества. Возможность подобного праздника в свое время блестяще доказал К. С. Станиславский. До наших дней дошли восторженные отзывы об исполнении им образа графа Шабельского. Пьеса эта (вернее, спектакль по этой пьесе) не очень вдохновляла критическую мысль знатоков театра того времени и даже приверженцев Чехова. Отклики бледны и малочисленны. Причем даже Иванов, центральный персонаж, едва ли

не всюду вызывал нарекания или авторы статей вообще оставляли его за пределами внимания, отдавая ему дань лишь чисто информационную: «Основную, заглавную роль в спектакле исполнил г. Качалов...» — и все?! Прямо скажем, для центрального персонажа немного. Что же такое было в Шабельском Станиславского?! Не без дерзости, однако теперь уже зная пьесу, осмеливаюсь предположить: последние, уходящие отголоски той патриархальной, доброй, ничего уже не могущей помещичье-дворянской среды старой России с ее немножечко смешным достоинством, наивом, беспомощностью были мощно, со знанием жизни тех лет, высоко по нравственно-этическим требованиям социальных различий прожиты-прослежены чистой, непосредственной личностью К. С. Станиславского. Думаю, это так. Фотография Станиславского в роли Шабельского красноречиво об этом говорит.

Подобными качествами характера располагал и А. А. Попов. Он в жизни был таким современным Шабельским, и порою в его обычной речи прослушивались обертоны избалованного ребенка. А что бы еще привнес простой по объяснению, однако почти всегда до удивления насыщенный в выявлении творческий поиск — находки, предложения!

Все чаще прихожу к выводу, что есть, должно быть, особое, до непонятного бескорыстное и оттого, очевидно, вымирающее племя творческого люда на Руси — оно немногочисленно, — как говорят в народе — раз, два и обчелся, однако племя это столь могучно, что щедро заряжает время и современников своей одухотворенностью и началом созидания, и, пока мы находимся во власти этого влияния, мы творчески сильны и богаты.

Вспоминать об Андрее Алексеевиче Попове непросто. Не могу сказать, чтоб он был уж очень общителен, разговорчив и ясен всегда и везде, — такого не было. А тем не менее он был прост. Вот тут и пойми. Порою случалось удивляться тихому его молчанию. Сидит, бывало, в гриме в актерском фойе второго этажа (там у нас «скользящий» клуб, то есть актеры, уже готовые к своему выходу, две, три минуты пережидают, слушая радиотрансляцию со сцены, и наши острословы и сказители из тех же самых ожидающих актеров чем-нибудь занятным, смешным или просто интересным тешат слух своих друзей, да, пожалуй, и сами получают не меньшую радость от возможности рассказать, посмеяться, развлечь), сидит тихо, созерцает — и непонятно, слушает или только присел подождать выхода на сцену. Может быть, то было проявлением самодисциплины — ему не до занятных историй и развеселых рассказов, когда на сцене, в «Иванове», решалась судьба своенравной дочери. Не знаю. Однако временами он был одиноко тих и покойно молчалив.

Как-то я спросил его: не горюет, не скучает ли он по режиссуре? Не помню точного ответа, но суть сводилась к тому, что совсем нет, что даже и теперь, по прошествии довольно внушительного отрезка времени, он все еще только отходит, отдыхает от этого милого занятия. И лишь изредка нервные подергивания плечом выдавали утраты и сложности прожитого...

Вместе с тем помню его и самозабвенным рассказчиком.

Забавно и горько звучала в его изложении одна история. Должно быть, происходившее когда-то обожгло его: будучи искренним (хочется написать слово «правдивым», но, право же, применительно к Андрею Алексеевичу прекрасное слово это едва ли не лишнее), он не мог предполагать в другом человеке и тени того затаенного вероломства, которое вдруг ни с того, ни с сего обрушилось на него, хоть и проявилось оно в пустяке. Своей выстроенностью и центральным персонажем рассказ тот очень походил на анекдот, но Попов отстаивал его правдивое происхождение. Однако нас здесь больше интересует не природа сего повествования, а наличие этого милого недоразумения в арсенале прямого общения со средой Андрея Алексеевича. А это само по себе уже не без загадки.

Вот она, эта неброская и, по-моему, во многом знакомая ситуация.

Его, рядового Попова, по совершенно непонятным причинам невзлюбил старшина того маленького подразделения, где отбывала службу «эта стоеросовая дубина, которая никогда ничего не может ни выполнить, ни сделать по-военному». Да еще, на беду, до сведения того вершителя судеб их подразделения дошло, что этот самый нерадивый рядовой Попов является ни много ни мало

сынком какого-то «большого начальника». Вот тут-то на этой почве, должно быть, и дали всходы фантазия и изобретательность того славного старшины. А надо честно оговорить, что служака тот ни Спинозой, ни Сократом не был, интеллектно обладал, как выражался рассказчик, на уровне полена, и именно этим, думаю, можно как-то объяснить его слабость к частому употреблению им не столько древних замысловатостей стеноклинописи, сколько простых (упрощенных до грубого), встречающихся и теперь всяких заборных надписей.

А рядовой Попов, как это нередко встречается в жизни, имел неосторожность не только быть сыном своего «большого начальника» папы, но и, будучи от рождения полной тьюхой, на уставной окрик старшины: «Рядовой Попов!» — вместо четкого, простого и однозначного «Я!» позволял себе спрашивать «А?». Вот и вся поеха, ан поди ж ты! (В этом непосредственном «А?», на мой взгляд, есть какое-то доброе желание продолжить разговор: «Простите, не смогли бы вы повторить вопрос свой? Только боязнь обременить вас заставляет облечь просьбу мою в односложное «А?». Нет? А мне показалось, что все это здесь есть, наличествует... Ну, да ладно».)

И что же? В течение долгого времени «нерадивый» рядовой Попов вместо «Я!», словно у него самого никогда в жизни не было и не предвиделось впереди этого собственного «Я», отвечал вопросом «А?», за что с тем же завидным постоянством каждый раз получал «два наряда внеочередь!».

Самое невероятное во всей этой поучительной истории (не знаю, правда, кого и чему она учит, но вот так вдруг написалось) — так это то, что проступок-то один, а наряда — два!

Больше всего Попова ввергало в уныние то, что старшина не оставлял никаких возможностей для подготовки, чтобы сообразить, собраться и ответить правильно. Бывало, тихо, по-домашнему, неторопливо говорил тот с кем-нибудь и смотрел-то, казалось, совсем в другую сторону, и заботы у него были иные... и вдруг неожиданно как бы из-за угла, тем же тихим голосом, но только явно злонамеренно и четко, с радостной вкрадчивостью:

— Рядовой Попов!

— А?

— Х... на! Два наряда внеочередь!

Все, цель достигнута, спектакль окончен.

Старшина был поразительно стабилен, и как всегда первым у него следовало слово из заборной клинописи, а затем уж шел приговор о двух нарядах. И Попов сокрушенно шел чистить картошку, а потом в силу того, что нарядов было два, шел чистить и... ну, надо ж было кому-то чистить... это. И чистил.

Андрей изнемог от вечной настороженности, часами твердил про себя: я, я, я, я, я,— укладывая в память, в сознание, в гены. Недоумевал от количества нарядов: почему же два, когда «преступление»-то одно?! И вот однажды... Впрочем, все развивалось, как обычно: и отвлекающий маневр того служилы, и голос тихий, и глаз прикрыт, и никаких там чертиков не прыгало, и даже с самим Поповым говорил по-доброму и просто, потом пожурил там кого-то потешески, и, уже уходя, всем пожелав «покойной ночи» и едва ли не зевая, вдруг четко, исподтишка и истерически завопил:

— Рядовой Попов!

— А?

— Х... на! Два наряда внеочередь!

Это было нечестно, вероломно и так предательски и... опять два?! Старшина торжествовал. Попов стоял и иступленно клял себя, что опять так поглупому лопухнулся,— скажи он это проклятое «Я!», и не было бы этих унизительных наказаний. И Андрей не выдержал. Он двинулся на старшину, полный решительности выяснить наконец: почему же два?! Видя надвигающуюся решимость, тот вдруг беспомощно заморгал глазами и в полном недоумении, что ж сейчас такое будет, что произойдет, открыл рот... Андрею стало жалко несчастного, ему показалось, что у старшины вот-вот брызнет слюна изо рта, и он отправился чистить... второе...

В недалеком прошлом Андрей Алексеевич Попов вел огромный коллектив творческих индивидуальностей. Что это такое, полно и прочувствованно знают, пожалуй, только дрессировщики хищных зверей. Сам порою принадле-

жу к этому виду «фауны» и не могу сказать, что дело в характере или в каком-то там дурном норове,— нет; специфика работы порою принуждает к некоторым нежелательным проявлениям — нервы, нервы. А он вел тот, по выражению одного из известных «звероящеров слова», «террариум единомышленников» довольно долго и небезуспешно. Одно это позволяет предполагать в человеке выработанное годами и положением (тому масса примеров) явно ощущаемое осанистое самомнение, что, впрочем, сродни уверенности в себе, но лишь не подтвержденной делами да к тому же запутавшейся в тенетах чванливости и спеси... Ничего подобного даже в малой степени не было в Андрее Алексеевиче. Понимаю всю самонадеянность подобного заявления и все-таки утверждаю: семь лет работы бок о бок с Поповым позволяют смелость в оценках некоторых его человеческих черт и качеств.

В Художественном театре актеров, отмеченных общественным мнением, высоко оцененных народом, на спектакль в театр и по домам уже после работы развозят на машинах. Это никакая не привилегия, а обычное беспокойство администрации о четкой, бесперебойной работе театра. Сохранишь силы и здоровье своих не очень молодых именитых «работяг», и спектакли будут идти в русле ранее объявленного афишей. Здесь все взаимосвязано. Простудился, слег актер, принявший после спектакля душ и направившийся домой пешком,— нужно отменять следующий, уже назначенный спектакль с ним. А это бывает неудобно: Художественный театр — марка. Порою с больничным листом, с температурой, когда глаза слезятся и их выворачивает грипп или горло душит ангина — ни глотнуть, ни молвить,— все же приходится работать: сохранить настроение уже пришедшего зрителя, укрепить его доверие к театру — для нас не пустые слова и стремления, это наш долг, наша профессиональная, гражданская да и просто человеческая этика.

Андрей Алексеевич приезжал на спектакль раньше меня (он начинал чеховского «Иванова»), и, доставив его в театр, машина шла за мною. Со спектакля же мы всегда или почти всегда ехали вместе. По пути завозили меня и потом уже везли его одного. Часто получалось, что Попов сидел и ждал меня в машине. Образ Иванова выстроен на редкость трудоемко, и «протащить, проволоочь» эту роль в спектакле ох как непросто: в глазах круги, руки проделывают какие-то странные тремоло, очень хочется сесть, а не можешь — из одного конца гримуборной в другой дергано вышагиваешь, словно на шарнирах,— а наши добрые друзья-костюмеры ухитряются стаскивать прилипшую к тебе мокрую рубашу. И ты, как рыба, выброшенная на лед, немножко подхватываешь воздух и не сразу соображаешь, если тебя о чем-нибудь спрашивают в этот момент. Если зрителю, только что ушедшему со спектакля, показать, что происходит с актерами за сценой, вернее, что остается от них, думаю, это было бы ему не менее интересно, чем фокусы всяких удивительных Кио. Ну да не об этом речь.

Наконец душ принят, дыхание нормально, бегу к машине.

На переднем сиденье, ушедший в себя, нахолившись, сидит Попов. Сердится, должно быть: я опять задержался, а ведь нигде не останавливался, все вприпрыжку. Вот до сих пор дергает. О чем он думает, по спине заключить трудно. Едем. Темно и тихо, только мерный шум мотора и вялость полного расслабления. Как гладиаторы, страшной ценой отстоявшие себе жизнь до следующего побоища, едем молча. Лишь изредка какая-нибудь незначащая фраза на короткие мгновения свяжет осознанность двух, чтобы затем, снова отключившись, погрузиться в тепло целебной тишины и молчания. За окнами плывет засыпающая Москва и одиноко высветенными окнами встретит и проводит машину с молча сидящими в ней людьми. За подаренное зрителем время вместе с нервами и силами отдана очень маленькая, но часть человеческой жизни. Все, что нужно сказать, было сказано. Уже ночь; чтобы думать, нужны силы, нужно напрячься, едем молча. Только ненавязчивая забота родных, тишина и покой дома могут вернуть ощущение ценности этих чудовищных затрат и реальной значимости жизни.

Он сидит спиной ко мне, и, о чем думает, знает только он. Тихо и очень спокойно, чтоб не вспугнуть, произношу:

— Андру-у-уша?

— А?

В другое время наверняка ответил бы ему заборной клинописью старшины, но минута не та, совсем не та: давит усталость. По лицу понимаю, что отвлек его от не очень-то радужных размышлений.

— О-о! Извини, я думал, ты спишь!

— Ну-у, какое там...

Вот так же он сидел, молчаливый, бледный, отрешенно-странный, чужой, в самолете, когда театр летел на гастроли в Алма-Ату. Несмотря на технические революции и всякие там научные прогрессы, полет из Москвы в Алма-Ату — занятие долгое и утомительное, и, используя эти редкие свободные минуты, актеры с разрешения экипажа самолета, сочинив на скорую руку какие-то сэндвичи и с добрым тостом за завершение минувшего сезона на основной сцене МХАТа, выпили по глотку водки (пусть будет стыдно тому, кто худо подумает; у нас с этим вопросом столь строго, что трудно выговорить, да и охотников до возлияний, прямо скажем, — единицы, а здесь, чтобы быть точным, — пол-литра на двадцать—двадцать пять человек). Андрей Алексеевич все так же замкнуто сидел, не принимая участия в этой нашей разудалой самодеятельности на высоте 10 000 метров. В этом странном поведении его, пожалуй, ничего такого, из ряда вон выходящего, не было: не хочешь пить — да не пей, пожалуйста, кто тебя заставляет. Хочешь сидеть сложа руки или делать вид, что тебя очень беспокоят судьбы человечества, пожалуйста, сиди себе втихомолочку, строй из себя Переса де Куэльера какого-нибудь — твое дело... Никаких упреков: МИР, СВОБОДА И ДЕМОКРАТИЯ! Все!

Вопросов нет! А мы все, собравшись в кучу, несколько повышенными голосами будем орать друг другу в ухо, какие мы прекрасные актеры, и усталость прошедшего сезона нам будет казаться не столь явной, не такой уж изнуряющей. У каждого своя психотерапия: ты сидишь и молчишь, а мы стоим и орем. Только-то и различия...

А вот уже по прилете в Алма-Ату он повел себя совсем странно, нехорошо, прямо скажем, плохо себя повел наш дорогой Андрей Алексеевич. Мы стоим (опять), мы ждем распределения номеров в холле гостиницы, а он вдруг куда-то, видите ли, исчез. И только через какое-то время появляется — легко и свободно сбегая по лестнице и по-прежнему, как ни в чем не бывало, славный, уютный и свой! словно это совсем не он так оголтело-бессовестно с брехтовским отчуждением на лице бойкотировал наш минисабантуй в самолете. Хорошо, конечно, быть «своим» и обаятельно спускаться по лестнице, однако торчать столбом у его чемоданов после длительного перелета — не лучшее время препровождения, а тут еще голова трещит после этой дурацкой водки: пристали в самолете, нашли время... Какие-то совсем незнакомые люди, видя наши ухищрения с бутербродами, ни с того ни с сего настаивали, чтобы я ясно и вразумительно ответил наконец, уважаю я их или нет, и по мере моих искреннейших клятв в уважении, их всё прибывало и прибывало; плотно обступив меня, они требовали вещественных доказательств уважения, подтверждения этого самого уважения... И затем помню только, что кто-то из членов экипажа, проходя мимо, много раз подряд говорил: «Нехорошо, нехорошо!»

— Попов, у тебя, что, живот схватило, что ли?

(Вот уж воистину — у кого что болит, тот о том и говорит.)

— С чего ты взял? Нет... Разговаривал с Москвой... Тебе привет от Ирины!

— Невероятно... Попов, ты прекрасный муж, но и тем не менее мне как можно скорей надо отбежать в сторонку, потому что...

— Какой там муж!.. Совсем нет. Мне показалось, что сегодня я должен был разбиться, и, прощаясь с Ириной в Москве, неосторожно обмолвился о своем опасении.

— Как разбиться? Каким это образом? Ты что, рехнулся? Где?.. Мы что... тоже должны были все шмякнуться, что ли?.. Или ты собирался выпрыгнуть из самолета?

— При чем здесь вы? Я о себе говорю, о своем предчувствии...

— Да, но мы ведь тоже летели этим самолетом.

— В общем, да, наверное, все бы вместе... Поэтому тебе тоже было бы нелишним позвонить в Москву!

Резонность его довода была ошарашивающей. И, одурев окончательно, застряв на мысли, почему бы действительно и мне не поговорить с Москвой, схватив чемодан, я ринулся на свой этаж, в номер, к телефону.

В «Иванове» в каждом представлении приходилось безотчетно менять мизансцены, то есть не совсем безотчетно: эта минута этого спектакля требовала выстраивать внешнюю жизнь моего персонажа таким вот образом, однако эта же сцена, но в другой раз могла заставить не только быть где-то в другом месте, но и по сути, по настрою, по степени эмоциональной возбудимости совсем не походить на ту, что была вчера или когда-то раньше. И, естественно, эти неожиданные сюрпризы партнерам захватывали в свою орбиту и Лебедева—Попова. Подобное поведение актера рядом — не самое удобное самоощущение, так как отсутствует уверенность, что этот каким-то чудом оказавшийся сейчас здесь товарищ в следующее мгновение не переметнется еще куда-нибудь в совершенно непредсказуемое место и положение. Но никогда, никогда Андрей Алексеевич Попов не сделал ни одного недовольного или, того хуже, раздраженного, гневного замечания. Налицо или удивительный такт, или полная безнадежность что-либо исправить в этом случае, или, и скорее всего, третье: все живые неожиданности были ему самому в высшей степени по душе...

Человек с огромными, мягкими, добрыми руками, которые он, будучи в хорошем настроении, складывал ладонями вместе в объемную двойную жменю и умело сжимал их, со знанием дела всасывая внутрь со свистом и писком вырывающийся наружу воздух, легко и свободно воспроизводил таким образом три-четыре знакомые всем мелодии. Это было смешно, мило и уж очень забавно.

Увидев это, вернее, услышав, я точно решил попытаться выявить музыкальную умелость собственных ладоней. Однако, кроме противного писка и сипа, ничего не выходило. Заметя мои усилия, Андрей Алексеевич сказал:

— Так, вдруг, не получится, шалишь, нужна школа, практика.

— И что, ты сам долго практиковался?

— Всю сознательную жизнь... Вот выгонят и из Художественного — пойду на эстраду!

И тут же на своем «свистофоне» (правда, он называл его не столь благозвучно) Андрей Алексеевич «протискал» очень смешно и похоже кусочек увертюры к «Кармен» — к явному удовольствию окружающих его товарищей коллег.

В приоткрытую дверь гримерной просовывается славно-наивная рожица Лебедева — Попова и тоном доведенного до крайности человека (в котором без труда слышится отчаянное: «Ну когда же наконец ты будешь вовремя выходить к машине?!») нежно вопрошает:

— Тебя сегодня ждать или как?..

— «Или как», Андрушкин, дорогой. Пройдусь, дыхну. Ире мой поклон...

— Ну да, как же, мне больше делать нечего, как только о твоих поклонах заботиться и думать.

Голова у притолоки двери застывает в беспомощном недовольстве, но так же непроницаемо-серьезна.

— Ирина с рынка каждый раз тащит редиску... Вот, говорит, опять для твоего Смоктуновского надрываюсь, а его все нет!

— Представляю, сколько ее у вас там скопилось!

— Как это? Как это?.. Мы тоже ее любим — едим за милую душу.

— Андрушкин, когда же, дорогой?.. То одно, то другое...

— Понима-а-а-ю, у самого невпроворот... Ах ты, Боже ты мой, — с шумом выдыхает он.

С лица Андрея Алексеевича словно сбегает выражение шутки, секунду другую спокойно смотрит на меня... Вижу — не видит, весь в себе... Еще посто-ял, решая что-то, потом, прервав немой диалог с самим собой, вроде очнувшись, говорит:

— Ну, так я уехал, прощай!

— Прощай, брат!

Спектакль окончен. Тяжесть сброшена. Свободно, легко, но и до ненужности пусто... В подобные минуты иногда задумываешься: а стоит ли все это?.. Не в те же ли вопросы многогим раньше уходил и Андрей Алексеевич? Хочется сказать: люблю эти минуты послеспектакльного освобождения, но это было бы неправдой. Эти минуты, как темный, завораживающе-вероломный омут, тянут в себя, вроде даря самозабвенное отключение от неизбежной накипи окончившегося дня, но порою вдруг выворачивают в такие безответные глубины тупика, что, вспоминая «посещения» эти, еще задолго до окончания спектакля кричишь: «Андрюшкин! Сегодня я с тобой еду. Подожди, пожалуйста, не злись — я быстро!»

Художественный театр выезжал на очередные гастроли в Среднюю Азию в летнее время. Несведущим в нашей работе фраза «летнее время» может показаться обычной, ничего не значащей, ее просто могут не отметить сознанием. Однако климатические перепады со средней полосы России и тоже на Среднюю, но Азию: давление, жара, не всегда легко переносимая и местными жителями, иная влажность воздуха — все это дополнительная нагрузка на сердце (а работа актера подразумевает именно четкое, послушное поведение — жизнь нашего сердца). «Территориальные и климатические эксперименты» гастролей могут обернуться стрессовой реакцией. Спрашиваю, много ли у него спектаклей за месяц работы в Средней Азии.

— Да. Восемнадцать... тяжело...

При обычных условиях, с нормой двенадцать спектаклей, и то не совсем соображаешь, как распределить себя. А тут — восемнадцать, в горах, воздух расплавлен, все живое переживает ту полосу года, как говорят, «в тени» — трудно невероятно.

— Просил поменять хотя бы спектакля на три-четыре, говорят — не кем, — сожалеет Андрей Алексеевич.

Но ни раздражения, ни обиды — говорит по-доброму, спокойно.

Вообще он был легким человеком, с ним было просто даже тогда, когда обстоятельства не сулили этой простоты...

Где-то на третьем году нашей совместной работы во МХАТе он вдруг, без всяких недомолвок, психологических пристроек, чисто и честно признался, что не ожидал встретить во мне человека, а уж тем более товарища.

— Я говорю Ирине: «Вот странно... Как ты думаешь, с кем я больше всего сошелся во МХАТе?» «Ну, не знаю, — отвечает, — судя по тому, что тебя не только взял в театр, но и сразу дал работу, — с Ефремовым, наверное?» «Это все так... но это в работе. А вот по-человечески?.. Поразительно... со Смоктуновским!»

Далее следовало несколько определений того, что он так неожиданно удачно открыл во мне. Определений не то чтобы там в каких-то повышенных, превосходных степенях, нет, — простая оценка того, чем или все-таки лучше сказать «кем», собственно, я и являюсь. И тем не менее слышать о себе самом эти высказанные серьезно, даже с некоторым оттенком удивления, признания того, что ты, оказывается, никакой не укушенный, не прокаженный и уж совсем не гадина и не подонок, — согласитесь, даже от друга несколько неуютно. (Он, наверное, был отвлечен дорогой, мы ехали в машине, он сидел за рулем, подвозил меня к дому.) Природа так славно зародившегося доброго отношения ко мне, помню, не очень обрадовала меня, и, подавив всколыхнувшееся, недобро заворочавшееся чувство обычной человеческой обиды, я спросил:

— Андрей, погоди... Почему я должен был быть каким-то там недоноском, одноклеточным и негодяем?.. Не понимаю.

— Ну, как... Ты же знаешь, что о тебе такое идет, что подчас и не выговорить.

— Да?

— Можно подумать, что ты в первый раз слышишь или не догадывался.

— ?!?!

Трудно представить себе, как ты выглядишь со стороны, а в такие редкие минуты самопознания — тем более. Но на этот раз я, наверное, был похож на человека, только что познавшего конечные цели мироздания.

— Ну, вижу, я огорчил тебя... Вот всегда так — делаешь хорошо, получается плохо!

Чувствую некоторую неловкость, что в воспоминаниях об Андрее Алексеевиче Попове мне приходится часто и немало говорить о самом себе. Однако как же рассказать о нем, о тех встречах, разговорах, которые сопровождали нашу жизнь, работу, наши взаимоотношения коллег, товарищей, партнеров и просто собеседников? Наверное, можно, но я-то не умею, у меня другой навык, я только пытаюсь, пробую писать.

Чувство дружбы, обычного человеческого доверия, душевной расположенности в нашем возрасте приходит нечасто, и, что говорить, он тем своим непосредственным признанием, неуклюже ошарашив меня, сам был смущен. Смущен настолько, что днями позже, встретив меня в театре, схватив за рукав, тихо и проникновенно заговорил:

— Послушай, Иннокеша, я что-то давеча наплел, хотел сказать о своей радости, что мы вместе во МХАТе, получилось же, что ты едва ли не чудовище...

— Андрюхин, все в порядке... я понимаю! Мы все временами немного зверье.

По еле угадываемым, мерцающим в темноте меткам люминесцентных красок, указывающих края ступенек лестниц, добираюсь с нижнего куба оформления спектакля «Обратная связь» до самого верхнего. Здесь будет следующая сцена. В темноте нащупываю стул. Перед тем как сесть на него, необходимо проверить, точно ли и вообще стоят ли его задние ножки на твердой поверхности куба. Предосторожность эта необходима, так как за краем, на самой границе которого должны стать ножки стула, провал двухметровой высоты, и, если оступиться, будешь лететь недолго, но шею, руку, ногу сломаешь совершенно определенно: внизу, вперемешку с лестницами, острые деревянные углы нижних кубов... Обхватив большим пальцем ножку стула, другими пальцами нащупываю самый край, обрыв и... от неожиданности резко отдергиваю руку — теплое прерывистое дыхание неизвестно откуда взявшейся собаки осталось на руке...

— Что-о, испугался? — долетели шепот снизу и легкий смешок.

Из темноты появляется улыбающийся Попов. Дали общий свет, улыбка соскочила с его лица, и уже дальше он шел серьезно озабоченный, готовый в пух и прах распечь зарвавшихся руководителей, среди которых был и я.

...В тот день Художественный театр в чешском городе Брно давал «Чайку» Чехова. Было беспокойно... Мы ждали, ждали сообщений из Москвы о послеоперационном состоянии Андрея Алексеевича. Мы страшно хотели, мы надеялись, мы ждали. Отыграв свой выход, я ушел со сцены в коридор. То, что я увидел там, оборвало сердце... Заместитель директора Эрман пытался найти какие-то слова и, не находя их, потерянно смотрел на рукав пиджака виновато стоявшего здесь же директора...

Я понял и, боясь услышать подтверждение увиденного, бросился обратно на сцену. Дверь, только что легко и послушно открывавшаяся, преградила дорогу стеной. Я толкал ее, потом, сообразив, потянул на себя и провалился в спасительную темноту сцены. Кто-то шел навстречу. Уклонившись и пропустив силуэт, оказался за задником (нужно уйти подальше, никого не хочу ни видеть, ни говорить). Тусклая лампочка на противоположной стороне сцены безразлично, с тоской, уныло звала к себе. Вытянув руку вперед, направился к ней. Зачем — не понимаю и не помню. Рядом вдруг приглушенно прозвучало: «Кем я его заменю-у-у?» Голос вроде знакомый, но кто — не мог сообразить... Стою... Привыкнув к темноте, буквально перед собой увидел Ефремова, он сидел на чем-то низком, лицо его было где-то внизу, он тупо, как заведенный, покачивался. Я сел рядом. Он скользнул взглядом, дескать, вот ведь как бывает, — и опять стал делать эти маленькие поклоны в угол сцены — вперед-назад, вперед-назад. Таким я его не видел. Его было жаль.

«Кем я его заменю-у-у?» — еще раз прорезало темноту.

Горькое «у», прозвучав, ушло, потонув в общих звуках, населявших спектакль. Я молчал... и вскоре так же молча ушел на мой выход.

На сцене продолжался спектакль. Там ценой невероятных усилий Лаврова буквально по складам выговаривала слова текста. Казалось, еще мгновение — и она, сломавшись, онемев либо, отчаянно вскрикнув, упадет навзничь (почти так и случилось минутами позже, когда она ушла со сцены за тюль). Владлена Давыдова, заменившего Андрея Алексеевича в роли Сорина, трясло, ему не удавалось подняться на кушетке, он долго пытался и, вывернувшись наконец, как-то боком, страшно встал (хотя должен был только сесть) и стоял седым, виноватым укором, тяжело дыша, с красным, воспаленным лицом, закрыв глаза... «Уведите куда-нибудь... Ирину... Уведите куда-нибудь... Ирину,— боролся я с собой,— Ирину Николаевну... дело в том, что Константин Гаврилович... застрелился!»

Общий свет погас, и только острый луч скальпелем вонзился в Вертинскую. Стоя в надвигающейся, как ледник, беседке, она пусто, холодно, без слез, как в бездну и в последний раз, посылала в вечность: «...А до тех пор— ужас, ужас...»

По окончании спектакля в поклонах актеры не поднимали голов, они смотрели в себя, сердцем прощаясь со своим товарищем.

ГАСТРОЛИ

(«Ненавижу войну!»)

Отцу моему Михаилу Петровичу Смоктуновичу, погибшему на фронте в 1942 году.

Не могу сказать, что я привык бывать в Варшаве,— нет. До нынешнего прибытия было всего два скороспешных, несколько перенасыщенных по программе и оттого довольно нервных пребывания в столице Польши — вот, собственно, и все, похвастать, как говорят, нечем. На сей раз в составе огромного коллектива МХАТа лечу в эту страну на гастроли, где, по существу, занятость моя не так уж и велика, всего в двух спектаклях, поэтому я заранее знал, что свободного времени у меня будет предостаточно и я, просто отдыхая, буду бродить по картинным галереям, прекрасно восстановленным улицам Старого Мясца, с затаенным дыханием постою, призывая все свои душевные силы продлить жизнь хотя бы в памяти моего зашедшего в горе сердца всех тех, кто не смог выйти из-за стен Варшавского гетто. Буду праздно бродить по новой, возрожденной Варшаве, всматриваясь в лица прохожих и зная — станет радостно и тепло от сознания, что в этой славной кутерьме варшавян, живой человеческой суматохе дня, есть и моя ничтожно малая доля усилий, добрых порывов, устремлений.

В январе 45-го — а на подступах к Варшаве еще раньше, в октябре — декабре 44-го, — я был участником битв за освобождение Варшавы, чем, естественно, горд, но за давностью событий не очень с кем откровенничал по этому поводу, а может быть, из боязни показаться нескромным или, чего доброго, хвастуном. Да и что говорить: я же не один тогда боролся за жизнь Варшавы. Этой высокой миссией были охвачены огромные советские и польские войсковые соединения. Однако множественность эта отнюдь не смущала меня, напротив, рождала тогда да и теперь при воспоминании об этом чувства истинного, доброго братства, душевности и сплочения.

Подлетая теперь к Варшаве, я, должно быть, самозабвенно ушел в себя, поглощенный этой великой общностью устремленных к одной прекрасной цели людей.

— Репетируете, что ли?.. Вот уже минут пять наблюдаю, как вы выделяете всякие рожицы с закатыванием глаз,— вернула меня к реальности мой друг, замечательная актриса нашего театра Екатерина Васильева.

— Ну, что вы! После всех этих чудовищных передрыг с моим юбилеем меня долго еще на любые репетиции калачом не заманишь. А здесь тем более. Надо отдохнуть. Просто жить, радоваться обычному бытию, созерцанию, черт

побери, так, кажется, называется это. Надо же когда-нибудь узнать, что это такое. Меня здесь никто не знает, никому я тут не нужен, и глупо не воспользоваться этой возможностью. Наконец-то смогу быть самим собой — принадлежать своим мыслям. Да здравствует Польша, свобода, отдых, доброе настроение и ма-а-асса свободного времени!

...Варшава встретила нас, пожалуй, более сдержанно, чем мы предполагали. Пять-шесть человек, недурно говорящих по-русски, тактично улыбаясь, вручили кое-кому букеты цветов. Погода была пасмурная, это, очевидно, сказывалось на общем настрое, и оттого, должно быть, никто не обнимал и уж, конечно, не бросался с поцелуями, что, кстати, не могу отнести к недостаткам этой встречи, скорее напротив. Дни советской культуры в Польше — стало быть, приехали культурные люди и встречали их в центре Европы, в своей столице, Варшаве, тоже воспитанные, с университетским образованием, тонкие, предупредительные, интеллигентные люди. Ну, и нечего набрасываться друг на друга. И так все ясно, а главное — достойно и просто. Поэтому после бодрых, дружных рукопожатий все наши так же быстренько и дружно позалезали в автобус, и я даже заметил на лицах польских друзей некоторую растерянность, что-то вроде: «Тех ли мы встретили-то?» Оно конечно, коллектив коллективом, а захватить себе хорошее место у окна автобуса — крайне важно, чтобы наблюдать проплывающую мимо незнакомую страну, и теперь все сидят с чувством выполненного долга.

Путь из Варшавы до Вроцлава неблизкий. Мне, должно быть, как одному из старейшин театра (8 апреля МХАТ в Москве торжественно отметил мое 60-летие, вот об этом-то юбилее я и говорил ранее), нетеропливому, несуетящемуся человеку, осталось место, которое никому, наверное, не понравилось, в конце автобуса, там, где всегда почти непременно пахнет бензином. Я не очень люблю запах бензина. Мне больше нравится дух свежее выпеченного хлеба, ароматы леса после дождя и по весне — паров прогретой солнцем земли или запаха скошенной под вечер травы, совершенно ведь неопишуемые, но оттого не менее чарующие. Чудо, как хороши! Замечательно!

А здесь — бензин! Но и это еще было бы ничего. Дело в том, что оставшееся мне сиденье располагалось как раз над задним колесом, и колесо это, должно быть, было очень большое, потому что для ног внизу места не оставалось никакого, то есть оно было, но по высоте почти вровень с сиденьем. И стоило мне лишь легонько поместить ноги на это место и попробовать присесть, как мои колени оказались на уровне ушей.

Проехать так две-три автобусных остановки, пожалуй, и можно, но сидеть такой заковыкой триста километров пути до Вроцлава — много сложнее. Однако я вспомнил совершенно успокоившую меня мысль из Дарвина: что ни говори и как там ни крути, а человек произошел от обезьяны, и хочешь ты этого, нет, а дань своим предкам порою отдавать необходимо.

И, странное дело, мне сразу стало легко-легко. К тому же жена моя, Суламифь, перед отъездом говорила: «Твои большие спектакли театр в Польшу не везет, у тебя только две небольших и в общем-то нетрудных роли, там ты и отдохнешь». И теперь, сидя на колесе, естественно, я не стал противиться доброму напутствию моей жены и, про себя сказав ей спасибо, а самому себе — «три-четыре», начал отдыхать...

Как всегда, какие-то организационные неполадки не позволяют нам тронуться в путь. Кого-то, видите ли, нет, их ищут, они изволят гулять-с-с! Ох, уж эта театральная публика! И так вечно: кого-то ищут, кого-то ждут! Ладно, будем добрыми, терпеливо-разумными и возьмем себя и свои нервы в руки. Будем ждать и мы. «Три-четыре. Начал ждать». Наконец там, на свободе, вне автобуса, где люди ходят прямоком, стало проявляться некоторое беспокойство, даже нетерпение: да где же он в конце концов? И в это же время кто-то неуважительно, грубо забарабанил в окно автобуса прямо возле меня. Высунув нос, я увидел нашего заместителя директора Эрмана Леонида Иосифовича, который не смог да и не пытался скрыть своей полной радости и счастья, заорав: «Вот он! Наконец-то! Берите его!» Оказывается, искали и ждали меня одного, и, действительно, меня быстренько «взяли», усадили в уютную, чистую, свободную легковую машину да еще спросили: не будет ли мне скучно одному? На что я, естественно, закричал: «Ни в коем случае! Наоборот, чудно!»

И вот мы катим по прекрасной дороге. Вместо одного большого колеса подо мной целых четыре, и они не только маленькие, но, что много существеннее, нормально расположены подо всей машиной, и ноги мои вместе с коленями находятся там, где и должны находиться, и я могу их вытягивать, если на то будет охота.

Снаружи продолжал накрапывать мелкий весенний дождь, теплый ветер весело настаивал на своем трепетном порывистом желании — непременно разбудить природу, так долго дремавшую зимой, а машина, окончательно уверившись в доброте и честности своих пассажиров, плавно скользила по мокрому асфальту и легким, умиротворяющим шорохом шин как бы призывала все окружающее к тишине, чтобы не вспугнуть поселившиеся в ней искренность и простоту. За окнами, радуя глаз, пробивался первый зеленый дым листвы. В Москве мы еще только ожидали его. Две весны кряду? Когда такое еще может быть? Все прекрасно, и я — отдыхаю!

И всего этого могло не быть — ни этих ухоженных, чистых, уютных домов, участков, ни этой бодрости трудового утра у всех, копающихся в поле и около дворовых построек, несмотря на накрапывающий дождь. Да просто-напросто меня самого могло не быть. Как дурное ощущение, припомнились программные идеологические вывихи нацистов, их антигуманные, человеконенавистнические цели — постепенное уничтожение многих десятков миллионов славянских, да и не только славянских, народов с целью ослабить, подорвать навсегда их количественную мощь и сведение оставшихся до положения рабов.

Какое уродство, какая чудовищная гниль в сознании и действиях! Нет, такого не могло быть! Такое не должно было жить — вот уж, действительно, не имело права.

Рядом со мной в машине поместился один из польских товарищей, встречавших нас в аэропорту. Это все для того, чтобы я не скучал, и машина уносила нас вперед к Вроцлаву. Было приятно видеть где любовно уже запаханную, обработанную землю, где лишь аккуратно разбросанный навоз. Как редкую диковинку заметил быстро перебегающего дорогу длиннохвостого фазана, а несколько позже — совсем промокшего, какого-то несчастного на вид зайца, который некоторое время скакал в одном направлении с нашей машиной, потом, вроде сказав самому себе: «С чего вдруг мне развлекать его?» — остановился, даже не взглянув в нашу сторону. Но он на самом деле был уж очень мокрый, как лягушка, и ему было явно не до меня.

Машина отсчитывала километр за километром, было хорошо, уютно, тихо и тепло. Соседом моим оказался прекрасный человек, и, если был у него какой ясно выраженный недостаток, который можно было бы выявить за столь короткий отрезок времени, так это не то, что он страшно много курил, а то, что каждый раз, желая закурить, просил разрешения проделать это, несмотря на то, что я дымил вместе с ним... Звали этого замечательного человека Ян. Вероятно, он один из тех добрых людей, которые даже не подозревают о своей доброте. Осознание подобными людьми этого редкого их дара вроде как бы и не обязательно, просто они бывают сами собой и другими быть не могут — и все тут!.. Под ровный, легкий шум машины я вкратце поведал ему, что бывал здесь много раньше и даже прошел пешком с автоматом в руках по большей, как мне казалось тогда, части Польши во время войны.

— Позвольте, так вы что же, воевали, сколько же вам тогда было?

— Немного, около двадцати. Я уже не молод, а сейчас если и выгляжу нехудо, то только благодаря тому, что в Москве перед вылетом тщательно побрился.

Он не то не понял мою остроту, не то не принял, а, серьезно посмотрев на меня, тихо, продолжая оценивать что-то, связанное со мною, выговорил: «Ах, вот оно что-о-о!» И, конечно, тут же, показав мне на сигареты: дескать, после такого не закурить просто невозможно, — задымил. Я присоединился к нему. А потом без затей поведал, что в конце 44-го года 165-я гвардейская стрелковая дивизия, в составе которой я воевал, брала основательно укрепленный немцами город-крепость Седлец, что особых подробностей не помнится, кроме одной, пожалуй, страшной, как наваждение...

И в первый раз подумалось: почему именно этот случай так глубоко и больно продолжает ранить память и сердце? Не оттого ли, что все в нем выхо-

дило за пределы дозволенного даже войной? Если вообще само состояние войны можно считать позволительным.

Город, должно быть, предполагали взять внезапно, налетев вихрем большого кавалерийского соединения, и оно на исходе ночи в долгой веренице однообразных приглушенных звуков быстро мчавшихся лошадей стремительно пронеслось мимо нас. Всадники были в черных плечистых бурках и в уходящей темноте выделялись доисторическими чудовищами со сложенными крыльями. Лошади, казалось, чувствовали затаившегося впереди врага и неизбежность страшной встречи с ним, нервно, широко раздувая ноздри, неслись мимо. Ни единого слова, ни единого отдельно выделенного какого-нибудь звука. Такое живое устремление силы и воли я видел впервые и не знаю, в чем тут дело, но, глядя на уносящуюся великолепную пружину эту, ясно помню ощущение жутки, тоски. Лошадей было много, и, промчавшись неудержимой лавиной, они надолго оставили в придорожном воздухе запах едкого пота и тепла...

Иное увидели мы днями позже. Сдвинутые на обочины дороги черные, обуглившиеся нагромождения людей и животных. Запекшиеся черные бурки. Застывшие всадники в исковерканных седлах, с приваренными к сапогам стремениами. Задранные головы лошадей с лопнувшими глазами, на черно-маслянистых лицах военных жестко торчали из-под лихого заломленного кубанок спаленные чубы... Как чудовищные экспонаты жестокости войны, немо вопия с обеих сторон дороги, они провожали нас, идущих вперед, к жизни, победе, будущему. Было трудно дышать — запах паленой шерсти, сожженного мяса и сгоревшей нефти долго был нашим попутчиком. Засада фашистских огнеметчиков перед самыми стенами Седлеца сделала свое страшное дело.

Мой сосед от одной сигареты прикуривал новую и только время от времени, не перебивая меня, как бы выдыхая, тихо проговаривал: «Да, да, Иннокентий, дорогой, мы знаем, знаем!»

...Не помню, форсировали мы тогда Вислу или как-нибудь прошли ее стеной. Выдумывать не буду — не хочу. Однако же что-нибудь да осталось бы в памяти сердца от такого события, а вот ведь совсем ничего.

А с Варшавой, вернее, с предместьями ее, память связывает меня совершенно определенно. Что это такое — местность, район ли Варшавы или деревня, хутор, — в общем, не знаю, однако память упрямо удерживает название: Нипорент, — и цепкость эта рождена, разумеется, не самим этим непонятным для меня словом или звукосочетанием, а ясным видением чистого, гладкого поля перед большим и красивым издалека лесом и нас, бегущих густой цепью на недруга, засевавшего в этом лесу... Злой по плотности и ожесточению артналет поумерил и охладил наше рвение — мы залегли. Вынужденные прижаться к земле, мы распластались на ровной, как блюдо, местности, и, не доползи я до воронки от ранее разорвавшейся мины, думаю, что эту шальную и не оправдавшую себя атаку вспоминал бы уже кто-нибудь другой.

Память, пробираясь через толщу времени и нагромождение событий послевоенных лет, была неторопливой, несуетной, и я уже чувствовал, предугадывая, куда выведет мое такое настроение, если я не остановлюсь. Двор и та польская, со зловещим на русское ухо немецким названием — Домирау (домирать, что ли?) — деревня с нескончаемой тоскою ночи среди тел павших товарищей. Нахлынувшее было четко-ярким, даже тяжелым, словно не было никаких сорока лет мирной жизни, волнений ее будней, взлетов в работе, горьких, досадных падений, страшных событий в семье, болей, обычных неудач, даже провалов в работе, счастья, когда в висках стучит радостью вздоха, чуда жизни, словно не было на перепутьях невероятных ошибок, горьких, непоправимых утрат...

Вкратце я поведал Яну о той ночи в феврале 44-го. Он был настолько ошеломлен услышанным, что долго не курил и только время от времени заведенно-тихо проговаривал: «Дорогой... дорогой», — и иногда лишь к этому «дорогому» прибавлял «ты наш». Водитель, чтобы видеть мое лицо, поставил зеркальце машины так, что его удивленные, все переживающие глаза были прямо передо мной, и он, совсем не говоря по-русски, как-то славно, мягко, упершись в одно слово, настаивал: «Далшие, далшие», — и ехал тихо, позволяя длинной веренице машин обходить нас.

Дни, что легкомысленно предполагал провести в свободной бездумности ничегонеделания, плотно насыщены работой: репетиции, встречи с новыми людьми, а это не всегда просто — нервы (кто ты, что знаменует собой, гибок ли ты и серьезен, или творчество для тебя лишь парадная лестница и ты в своем неведении не подозреваешь о муках, а порою и отчаянии в работе, о темных лабиринтах поиска; а отсюда — можно ли позволить себе радость быть самим собой в твоём обществе да и многое, многое другое).

И вот после двух недель мы в Варшаве... Жара не по времени — всех разморило, размолвевшие, с открытыми ртами, сидим на пресс-конференции, духота, помещение низкое. Пресс-конференция прошла «никак», повяло скукотой «мероприятия» — казенно, пресно, и это при таком-то скоплении творческого люда. Все были тут — собрались истоки вдохновения Польши, ее одухотворенная статья, нерв, ум, а все склонялось к обычной сухой информации, было скучно, вяло и до испарины душно.

Спокойно вместе со всеми я выходил на «свежий воздух», и вот тут-то, в более просторном и высоком, чем пресс-зал, вестибюле, на меня вдруг обрушились жаждущие спрашивать, знать, снимать, брать интервью, просто беседовать, писать диалоги для радио, телевидения, газет, журналов, каких-то программ общежитий и студенческих аудиторий. Их было человек двенадцать — пятнадцать, однако напор — значительно большим, чем можно было бы предположить от такого в общем-то небольшого количества интеллигентных и воспитанных людей. Они давили, и создавалось впечатление, что их пассивность на пресс-конференции была лишь отдыхом перед стартом, проверкой силы, желанием сосредоточиться для этого объединенного броска — где если уж давить, то давить наверх. И вот уже четвертый день я только и делаю, что отвечаю на вопросы, беседую, улыбаюсь в телекамеры, переезжаю из одного конца города в другой.

Порою вместе с Олегом Николаевичем Ефремовым я имею честь представлять Художественный театр, и иногда он просит меня даже выступить. Правда, просьбы эти в последнее время угрожающе сократились, свелись едва ли не к нулю, но тем не менее нет-нет да и промелькнет милость. Как правило, Олег Николаевич дает мне слово, когда сам утомлен чем-нибудь очень, или в том случае, когда в него вселяется вдруг какое-то совершенно безудержное озорство: вскрыть, например, во встрече никем до сих пор не предполагаемые темы и всякие такие неожиданные отношения к ним. И все это не оттого, что я обладаю каким-то там даром парадоксального мышления или уж очень самобытного взгляда на вещи, — ничего такого и в помине нет, а просто это своеобразный розыгрыш-вызов: вот вы все здесь говорите и то, и се, и пятое, и десятое — прекрасно, а у нас есть такое, например, и ничего, живем!

Просьбы моего начальника бывают ошарашивающе неожиданными, спонтанными настолько, что своей внезапностью они будят во мне сразу много больше, чем того требует та или иная простая поднятая тема, — здесь и ассоциативный ряд, и образный, а там, глядишь, ни с того ни с сего шекспировская метафора вскопчила в злобу дня, хотя совершенно для того не подходит и не нужна вовсе.

На этот раз жестом Цезаря он указал: дескать, «трибуна ждет — она свободна! Мы благоговейно слушаем тебя», — и застыл в слащавом умилении тем, что я еще только собирался придумывать. Совершенно не представляя, куда меня швырнет и какие будут словеса, и, теперь уже подгоняемый этим его взглядом, я вдруг услышал свой голос, обращенный к министру: «Можно я скажу?»

— Иннокентий Михайлович, — обратился ко мне министр, — с вами как-то не связывается пережитое вами на войне, ваше интервью в «Новостях» — невероятно! — И он на память перечислил почти все города в Польше, в освобождении которых я принимал участие в 44—45-м годах и упоминал в своем выступлении накануне. — Вы, должно быть, светлый человек, — продолжал он, — но вчера в какой-то момент до настороженности, до боли видно было, какой след оставила в вас деревня, где-то под Торунем, кажется? Почему бы вам не съездить туда?

Настроение удавшегося выступления не устояло перед этим внезапным вторжением: я весь обмяк и даже однозначно ответить сразу не мог. В мыслях я не раз бывал у тех двух амбаров, на краю деревни, порою они виделись мне,

но теперь, когда возникла реальная возможность быть там, стало вдруг как-то душно. Я сидел и переждала вдруг поднявшийся внутри гул. Сорок лет, сорок длинных лет не смогла зарубцевать забвением происшедшего той ночью.

— Страшно, — единственное, что удалось, оттаяв, произнести.

— О-о, понимаю! Как скажете, так и будет.

И вот все покатило, набирая ритм и взволнованность. На мне сходились нити доброго десятка людей, вовлеченных в инерцию разматывающегося сорокалетнего воспоминания. Все крутилось, несло и развивалось с таким напором, организационным рвением, что не оставляло никаких сомнений, что раньше все эти люди тем или иным путем были связаны с прессой. То и дело приходилось прерывать, казалось, нескончаемый вал интервью и снова и снова снабжать участников поиска дополнительными данными о деревне.

Все мои старания самому связаться с Яном, дозвониться до него оставались бесплодны. Его телефон был нем. Горничная по этажу и администратор гостиницы пожимали плечами: «Был вчера, полдня говорил по телефону и даже обедал в номере, а вот потом — не знаем... не видели... должно быть, уехал, однако номер числится за ним... появится!» С более или менее размеренной рабочей жизнью артиста российского театра, приехавшего в Польшу с творческим отчетом, было блестятельно покончено. Но даже в этой сгустившейся вокруг меня атмосфере совместная работа с польской прессой все еще продолжала катить, но уже не столь благостно. Ограниченность во времени, несколько повышенный организационный пыл и сама необычность поиска не замедлили сказаться: двумя днями позже в шумном вестибюле гостиницы, увидев меня издали, Ян пошел мне навстречу.

— Иннокентий... Вы не могли бы уделить нам несколько минут?

Неприятно кольнуло и насторожило, что после моего имени Ян не сказал уже ставшее эпитетом в обращении его ко мне слово «дорогой»...

Андрей и Ян из тех прекрасных, гибких, в высшей степени серьезных людей, которые окружали нас в Польше. Андрей всегда тонок, общителен, остроумен, мил; несмотря на некоторую наметившуюся полноту, изящен, подвижен. По-русски говорит превосходно, вызывая наше постоянное восхищение легкой демонстрацией той дополнительной прелести, красоты нашего языка в обычных бытовых разговорах, которая под силу лишь иностранцам.

А сейчас, ни разу не взглянув в мою сторону, он сухо, без всяких предисловий начал:

— Я сожалею... Однако некоторые детали требуют уточнений. Этот несурово огромный лист бумаги, — он кивнул на лежащую перед ним карту, — не позволит ничему ускользнуть от нашего недремлющего глаза.

Ян упорно молчал. Промелькнуло ощущение дискомфорта, но лишь промелькнуло, и я все еще пребывал в состоянии обласканного идиота и не мог взять в толк, что, собственно, уже происходило.

Острые карандаша Андрея, четко опускаясь, фиксировало в разных местах карты населенные пункты.

— Вот Доброва, вот Даброва. Недостатка в деревнях с подобными схожими названиями нет!

Боясь, что явная ошибка в названии может повести поиск по ложному пути, и догадываясь, что эта досадная опечатка явилась причиной перемены ко мне людей, как только мог, я мягко проговорил:

— Та деревня была Дамбровка, — так же робко выделяя букву «м».

Я напугался, что Андрей собирается уходить, однако, порывшись в сумке и достав блокнот, он со всей мощью университетских знаний стал объяснять, как и почему со времен королевы Дамбравы (то есть с того легкомысленного времени, когда так просто и бесхозяйственно направо и налево раздавали имя королевы любой, какая ни подвернется под руку, деревушке) не только в названии деревень, но и в грамматике польского языка в подобного рода словообразованиях исчезла буква «м». Андрей что-то такое еще говорил о хуторах и фольварках у лесных дубрав, которые взяли и нахватили себе названий, схожих по звучанию с именем королевы. Не очень уже сообщая, что к чему, да и в школе-то по русскому — своему родному языку — знания давались мне так, что время от времени требовали прихода моих родителей к учителю, я, вроде согла-

шаясь со всем, что слышал, молча кивал головой, как если бы вслух говорил: «Ну, как славно все это у вас происходило с королевских времен».

— Несмотря на обилие деревьев со схожими названиями, не было ни одной, где бы было именно такое захоронение,— продолжал Андрей.— Взывать же к добропорядочности, просить напрямь память — занятие при отрезке времени в сорок лет едва ли разумно. Это бестактно, нелепо да и бесплодно. События недельной давности мы склонны трактовать, как подсказывает минута, которой мы живем сейчас. Сколько бы времени ни прошло, всегда однозначно воспринимается указание захоронений жертв второй мировой войны. Черный памятник — условное обозначение этих скорбных мест, — поляки помнят и чтут своих освободителей, — рядом цифра: цифры — люди, каждая единица — человек. Пойдем по этому страшному столбцу.

Острие карандаша медленно, не останавливаясь, плыло снизу вверх. Цифры, цифры, цифры... Нескончаемая тропа прерванных судеб, несостоявшихся надежд... Но сколько же там — на великих просторах — осиротело людей, осталось одинокими, сколько горя, слез, мучений, искверканных жизней — карандаш все плыл, плыл... Бесконечный шлейф цифр.

В глазах рябило, и я уже плохо слышал, да и Андрей, видя, что я, не поднимая головы, рывками подхватываю воздух, вскоре умолк. Передо мной на столике оказался стакан воды, и Ян — я узнал его по широкой руке — протянул сигарету. Все наши обиды, ложно понятое чувство достоинства, неприятности и неувязки показались такими маленькими, ничтожными, лишними...

Сутки спустя по-утреннему тревожно поднял меня с постели настойчивый звонок: голос срывался с нормальных обертонов на неустойчивые верха, неуправляемо вырываясь в рваную хрипоту:

— Иннокентий, дорогой... нашли, нашли.

— Простите, это кто, Ян, вы?

— Нашли сто двадцать человек ровно, Иннокентий, и двор, я только что оттуда, в пятистах метрах, Иннокентий.

— Это вы, Ян?

— Что? А-а, нет, это Андрей...

Я по-прежнему не узнавал голоса, давили хрипы или внезапно ворвавшийся фальцет сердил владельца, понуждая бороться с побочными писканиями и, должно быть, болью, и опять взволнованный крик:

— Иннокентий, их эксгумировали, вывезли... здесь недалеко, двадцать один километр... в братскую могилу!

— Сто двадцать, говорите?.. Невероятно! Есть от чего сойти с ума!

— Да, да, Иннокентий, да, простите великодушно... вчерашний выпад... Ян убедил меня ехать в эту деревню с железной дорогой... Я связывался с ними раньше по телефону, отвечали: захоронений нет,— и ни слова о том, что были, это все и осложнило.

— Андрей, спасибо вам, но послезавтра вылет в Москву... Слишком поздно я спохватился и вас всех загнал...

— Нет, нет, Ян все устроит — до продления визы, он замечательный организатор и редкий человек, да и я в одиннадцать-двенадцать буду в Варшаве, и сразу к министру, они все расположены к вам... Все устроим...

Опять машина, и все тот же водитель предупредительно и достойно придерживает дверцы открытыми, пока мы рассаживаемся. Дорога предстояла дальняя не только в пространстве-расстоянии, но и во времени. Молчали все, и я, как первопричина, вина этого вояжа, мог бы испытывать неловкость от этого молчания, но такого не было — все устали от сутолоки двухнедельного людского потока и дел и теперь, свободно и легко отключившись, отдыхали каждый сам по себе.

Когда мы приехали в Быгдыш, дела пошли просто приятные и приятные во всех отношениях: мне вручили прекрасно сработанный ларец (подобие наших старинных больших сундуков, только маленький), огромное, такой же красоты блюдо и немногим меньше в диаметре этого фарфоро-фаянсового чуда увесистую бронзовую медаль, которая меня возводила (если я чего-нибудь не перепутал, как часто со мною бывает, переспрашивать же в столь торжественный момент было бы, как мне показалось, верхом неучтивости) в ранг почетного гражданина города Быгдыша.

Ничего и приблизительного не предполагал. Я просто без затей хотел посетить места, некогда бывшие полем боя, теперь воочию мирно всмотреться в них, в долину, откуда расстреливали нас, притронуться к жженой буреости амбаров — наших защитников: они помогли выстоять, заслонив нас толщей своих стен; увидеть и сказать в душе дереву-великану: «Ты видело их всех здесь на снегу, видело — они никому не хотели зла, мы так же стояли тут, как и ты, — расти и здравствуй». И, может быть, закрыв глаза, постоять минуту, другую и постараться воскресить в воображении, вырвать из небытия и толщи времени всех тех, кого сумела бы вызвать моя память сейчас.

Но когда все стало вдруг приобретать совсем другой характер и в ход пошли «трубы и литавры», то улегшееся было беспокойство — та ли эта Дамбровка? — возвратясь с новой силой, не давало быть самим собой и соответствовать теплу вокруг.

— Дорогой наш гость и герой! — радостно и громко сказал наш хозяин Здислав. — Я видел ваше неповторимое выступление по телевидению. Вы сражались на территории Быгдышского и Торуньского воеводств — вы наш освободитель! Все остальное не имеет никакого значения. Мы вас любим, благодарим и пьем за ваше здоровье. — Он обнял меня и троекратно по-русски поцеловал.

...До Дамбровки двадцать пять километров. Пожалуй, это самый странный отрезок нашего путешествия: болтаем, шутим, шумим, и что уж так развеселило нас безудержно, теперь сказать не могу. Успокоившись, смотрю на убегающий за спину пейзаж, надеясь вспомнить, узнать. Напрасный труд — не видел, не ходил я этими дорогами... Ничто не задерживает глаз узнаванием. Напротив, что-то вроде неловкости, что мы едем не в ту сторону, не покидало меня. Внутреннее чувство ориентации, прочно обосновавшееся с той давней поры двух лет жизни на фронте, когда изо дня в день, что бы ни делал, где бы ни находился — во сне, наяву, можешь, не можешь, но должен идти на Запад, на Запад и только на Запад и опять, и снова неуклонно и постоянно на Запад, — смутно и слабо дремавшее доселе, сейчас отказывалось принимать окружающее и мое положение в нем.

Машина с ходу переехала железнодорожный переезд, дорога щедро и широко уходила вправо, открыв с левой стороны небольшую пологую горушку с просторно расставленными на ней низкими амбарами...

Вскоре мы шли по улице деревни. Где-то справа промелькнули две темные круглые тумбы. «Мои знакомцы!» — пронеслось во мне, и так был взволнован тем, что предстоит увидеть минутой-двумя позже, что остановить себя был не в силах. Увидев треугольник конька крыши амбара, я заорал:

— Это он!

— Вам не терпится, мы понимаем... Точно такой же, но позже, — охладил меня Здислав.

...Вот он, этот двор! Седые виски в двадцать четыре года — след пережитого и здесь, у этих бурых стен. Две трети жизни были просто подарены здесь. Сорок лет... Что же ты такое, судьба?!

Мы на двадцать первом километре от того двора. Здесь холмисто. Само захоронение на высоком месте. Окраину городка рвали порывы холодного ветра. Вечер, и, хоть время еще не позднее, местных жителей не видно.

Цементно-серый обделенный стройностью обелиск, ряды vzdыбленных могильных плит. С указанием имени, фамилии — совсем немного. Ни одно имя не связывало памяти с прошлым. Грустно, тоскливо. В братской могиле того холма 1284 человека... Свозили, должно быть, с разных сторон и мест...

Воеет ветер. Холодно. Мы молчим, стоим прибитым, потерянными кружком, чтоб хоть как-то защититься от ветра. Передегивает озноб, у всех синие носы. На пьедестале обелиска, рядом с увядшими кем-то ранее принесенными и придавленными камнем гвоздиками, янтарем желтел одинокий огарок свечи. Хорошо бы зажечь его, но это невозможно, нас самих швыряет из стороны в сторону. На одном надгробии удается прикрепить несколько гвоздик, и они, вздрагивая красными головками, разбивают застывшую серую тоску плит.

Почему так мало имен и фамилий? Но сегодня здесь никого нет, кроме ветра, тоски и холода, и спросить не у кого. Пора возвращаться. Все устали. В Варшаву предстоит ехать в темноте.

Странные, ох, странные мысли владели тогда моим уже достаточно за те сутки измученным существом. Я гнал их, пытался уйти, но, нагло захватив, они

волокли меня по своему оголенному руслу, нимало не заботясь о совести, душе, человеку, управляясь со мной, как этот ветер с запуганными деревьями. Судьба! Что ты такое, СУДЬБА? То, что каждому раз и навсегда предопределено, — как, где, когда? В живых после той ночи осталось девять человек; незадетых, нераненых и того меньше — единицы. Я один из них. Однако я не делал ничего такого, чего не делали бы все остальные: здесь упасть, отползти, пригнуться, встать за укрытие, переждать секунду арналета, лежа на дне воронки, нырнуть в канаву от летящей сверху бомбы — в общем, я делал то, что делали все, каждый нормальный солдат, боец, человек. Других, поступающих иначе, не видел, не знаю. За два года непрерывной фронтовой жизни не встречал ни одного. Скажу больше: в силу юношеской бесшабашности, беспечности, не то легкомыслия или порою просто лени я и к этим обычным мерам предосторожности не прибегал, но вот ведь цел, тогда как порою справа, слева, близко, просто рядом бывало совсем другое.

Так что же это? Случайность? Везение? Иногда кажется: я специально (правда, это совсем не то слово) оставлялся какою-то силою или, если угодно, кем-то для того, чтобы в будущем создать моего Мышкина, Гамлета, Моисея Моисеевича (в «Степи» Чехова), Циолковского, царя Федора, Войницкого в «Дяде Ване» и еще два — два с половиной десятка неплохих работ... Конечно, я упрощаю, но, кто знает, может быть, для этого кто-то упорно и неуклонно ведет меня на этой земле по жизни, по работам, по людям. Оберегает, ограждает, бросает в омуты и круговерти, сводит с подлецами и монстрами, с ничтожествами, с грязными и низкими людишками, испытывает, ужесточает, черствит, но и подсовывает соломку, чтоб смягчить, облегчить падение, удары.

Я все-таки попытался зажечь свечу. Возражений не было, но и подбадривания прозвучали как-то сникше, вяло. Людей можно понять — нужно было ехать. При первых же попытках стало ясно, что ничего не выйдет, не получится. Злюсь, уговариваю себя: «Ну, хоть одну-единственную секунду пусть теплится живое... пусть». Снопиком из нескольких спичек безуспешно силюсь оставить сине-зеленое золото огня на фитиле. Спички кончались, когда маленький огонь затрепетал наперекор невозможному. Не веря этому чуду, не отрывая рук, я кричал: «Смотрите, горит, горит, видите!»

Забыв о холоде, все усталились на мои ладони, где, как крохотное живое существо, билось нервное маленькое пламя. Удивительно! Теперь-то уж этот, так трудно рожденный факел справится со стихией и без моей помощи. Но стоило отнять руки — огонь исчез. Нестройный вопль сожаления слился с мучимся воем ветвей и ветра. Стало грустно. Салют окончен, путешествие завершено. Этот маленький огонек послужил некой наградой за усталость, терпение и озноб. Постояв немного, посокрушались: как коротки бывают праздники, — и все наконец направились к машинам...

В этой книге нет вымысла, да он здесь и не нужен, вся история на самом деле пронизана невероятными событиями, мгновениями, и украшать их излишне. Все участники нашего путешествия живы и, надеюсь, здоровы, и они просто не позволят мне сочинять небылицы, поскольку и сами были поражены случившимся не меньше моего.

Не помню, кто оглашенно закричал: «Смотрите! Смотрите! Горит!» Развернувшись, мы онемели и какое-то время стояли, не веря глазам своим: едва заметный крохотный огонек метался над свечой... горел! Не сговариваясь, все ринулись к обелиску. Зачем? Почему? По природе своей человек, очевидно, склонен к вере в чудесное. Все, разумеется, понимали, что огонек просто-напросто не совсем затух. Взрослые, зрелые, пожившие люди, уже достаточно измотанные и уставшие, бежали и орали. Огонь еще бился, трепетал, когда с доисторическими, диковатыми возгласами мы обступили фитилек, но вновь налетевший вихрь вместе с взревшими деревьями погасил и эту упорно цепляющуюся жизнь.

*Подготовка текста и публикация
С. М. СМОКТУНОВСКОЙ и М. И. СМОКТУНОВСКОЙ*

Г. ПОМЕРАНЦ

До полной гибели всерьез

Лидия Яковлевна Гинзбург писала об особом мужестве стариков, знающих, что им недолго осталось жить. Я не сомневаюсь в ее искренности. Но сам я этого не чувствую. Мужества требует болезнь. Моя жена, Зинаида Миркина, столкнулась с этим в двадцать два года. И не смерть ее пугала, а необходимость жить, год за годом, под непрерывной пыткой. Болезнь создает духу препятствия, через которые очень трудно пробиться, и тут действительно нужны и мужество, и воля. А старость — это просто вечер. Если вечер ясный и солнце играет на листьях — мысленно танцуйешь вместе со светом, и все равно — семь тебе лет или семьдесят семь.

Мне кажется, что Лидия Яковлевна Гинзбург придавала слишком большое значение времени, бегущему из прошлого в будущее, почти не задерживаясь в настоящем. Молодость надеется на будущее. У старости эта игрушка отнята. Но реально и для старых, и для юных есть только настоящее. Реально то, что есть сейчас. Голова не болит, светит солнце, на письменном столе лист белой бумаги... Старость мне это дает. А в юности я не знал, что с собой делать, скучал. Безумства резвые гремушки меня не захватывали. Захватывали порывы творчества, но они приходили очень редко. Потом в мою жизнь вмешались война, лагерь, любовь, я отложил философию на двадцать лет и просто жил, вживался в плоть жизни... Но к юности, к школьным и студенческим годам мне даже не хотелось бы вернуться.

Догэн, проповедовавший в Японии XIII века, писал: неправильно говорить, что полено сгорело и осталась зола. Полностью есть только полено в его поленности, огонь в его огненности и зола в ее зольности. Движение времени уводит в сторону от того, что мы, европейцы, называем вечностью, а на Востоке зовут недвойственностью. Реально только вечное теперь. Настоящее ближе к вечности, чем прошлое и будущее. Мгновение ближе, чем день и час. Ум Лидии Яковлевны, сохранявший поразительную ясность до самого последнего года ее жизни, Догэн назвал бы помраченным. Этот ум был прикован к стреле времени и не достигал мгновения, проскальзывал через мгновение, не останавливаясь.

Впрочем, действительно ли никогда не достигал? Совсем не достигал? Разве поэты, которых Лидия Яковлевна любила, не давали ей в иные минуты сознания минутной силы,

Забвения печальной смерти?

Важны не знаки разных культур, а глубина погружения в поток, смывающий время. Смывал ли их Мандельштам у Лидии Яковлевны — не знаю, но у него в стихах **есть** вечный миг:

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с дерева...

Это такое же вслушивание в тишину, как у Басё:

Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

До того как я научился читать книгу гор и вод, моим молитвенником была поэзия, и подлинные отношения с людьми складывались при чтении стихов (Тютчев, Блок, Мандельштам, Цветаева, Рильке) — слушая ноктюрны Шопена и фуги Баха или стоя перед «Чайками над Темзой» Клода Моне.

Очень трудно сказать, где проходит грань между «забвением печальной смерти» и осознанным парением над страхом. Но и в свободном полете над страхом есть страх. Что-то самое страшное всегда есть. Я даже думаю, что без этого самого страшного, без вызова тьмы не было бы радости духовного взлета, радости творчества. Я иногда представляю себе образ Бога как вечное сжигание вечной тьмы. Для меня самое страшное — темная бездна, в которой тонет творчество, тонет, не оставляя следа. Это был кошмар моей юности — бездна пространства, времени и материи, в которую проваливаются все люди и все культуры. Об этом несколько раз было написано, начиная с Паскаля. Тут загадка, которую нельзя решить умом, и смена миросозерцания ничего не решает. Неверующие боятся (как Левин у Толстого) бессмыслицы, в которой обречена раствориться личность. Верующие боятся антихриста, дьявола, ада.

Евгению Трубецкому казалось, что невыносимая бессмыслица — это вечный круговорот, повторение одного и того же, как в муках Тантала или на каторжных работах. Он не заметил, что бессознательно подбирал примеры на одно правило: повторение конечного, внутренне пустого. Но вечное блаженство — тоже кружение, кружение в бесконечном, кружение в Боге, кружение, в котором есть невозмутимый внутренний покой, как в иконе Троицы, вдохновившей Флоренского на его удивительные слова: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог».

На повторах, на ритме основаны и музыка, и стих, и красота храмов. Нас утомляют хрущевские пятиэтажки, но там повторение стандартных спичечных коробок, навязывание мертвого стандарта, а повторение листьев, повторение еловых лап, повторение колонн и аркад захватывает.

Сад шумящий, лес огромный.
Шорох, шепот, птичий свист.
Нет, не хоры, нет, не сонмы...
Здесь любой листок — солист.

(З. Миркина)

Повторяется неповторимое, подтверждается индивидуальность каждого листа, дерева, волны. Этим ритм отличается от механического такта. Адское повторение отрицает индивидуальность, райское — увековечивает ее. Музыка Баха кажется однообразной тому, кто слушает, а не вслушивается (и слушает вполуха). То же с восходами и закатами, с волнами моря. Я видел по крайней мере тысячу закатов, и в каждом можно было открыть новое. Если не открывал — это моя вина, а не Создателя.

Повтор — испытание на внутреннюю наполненность. То, что внутренне бесконечно, бесконечно раскрывается, и никакие повторы не могут его исчерпать. Постоянная погоня за новым — проклятие Дон-Жуана; он ни разу не заглянул в глубь женской души и не был захвачен бесконечностью женственного. Трубецкой цитирует карамазовского черта, уставшего от повтора одной и той же человеческой комедии; но Богу не надоедают его повторы. Он кружится — вместе со всеми избранными, вокруг своей собственной бесконечной глубины, и там, где есть эта глубина, есть смысл. Бессмыслица нас настигает только на поверхности, оторванной от глубины, — там, где атом, называемый смыслом, окружен пустотой, и мы вечно теряем этот смысл и барахтаемся в пустоте.

Художник может тысячу раз рисовать морские волны, поэт — повторять, не повторяясь, одни и те же мотивы:

Я повторяю, повторяю
И облака, и лес, и скалы.
Просторы без конца и края,
Узор без края и начала...

(З. Миркина)

Святой Силуан не уставал повторять одну и ту же Иисусову молитву. Но заставьте это делать школьника — и молитва через пять минут будет ему в тягость. То же в мирской любви. Если любовь потерялась, выветрилась, инерция близости встает поперек горла. Половое чувство, оставшись в одиночестве, оттеснив назад все остальное, превращает мужчину и женщину в кобеля и суку, а потом приходит отвращение к себе самим. Но это вовсе не необходимость, не что-то вроде закона тяжести. Любящие ложатся спать вместе 365 раз в году и каждый раз с любовью. Музыка осязания и молитва осязания на старости лет другие, чем в юности, но они остаются музыкой и молитвой. И никакие годы здесь ничего не изменяют.

Страх смерти связан не с годами, а с мыслью о жизни как движении, которое обрывается в пропасть. Толстой испытал «арзамасский страх» сравнительно молодым; Паскаль — еще моложе; Бубер — в 14 лет. Страшно потерять полено в его полноты и себя как каплю, единую с океаном, потерять чувство целостной вечнос-

ти. Вечное кружение грешников в аду? Но это кружение душ, оторванных от Бога, вечность невечности. Ибо подлинная вечность — только в Боге. Если ты вытолкнут из священного танца, ты в смерти (хотя физически еще жив). А если вошел в ритм — ты снова ожил, как бы ни изношено тело, сколько бы ни оставалось жить.

Да, возражат мне, но мысль о скорой смерти печалит. Девушки не устают смеяться, старухи — ворчать. Ворчат, потому что котячься, щенячься радость кончилась, а до веселия духа не дошли, не сумели дойти. Для радостной старости надо много собрать, пока старость еще не пришла. Тогда все твои сокровища с тобой. Слабеют руки и ноги, выпадают зубы, падает способность видеть, но способность созерцания может расти и расти. Чем слабее чувственная радость жизни, тем больше простора для радости созерцания. Больной Мышкин это угадал, понял, и к нему пришел «главный ум».

Старость меньше обольщается, яснее видит зло, но может взглянуть поглубже, к источнику творчества, где зло сгорает. Творческая радость иная, чем радость футболиста, забившего гол. В творческой радости есть сопротивление зла, которое она сжигает, сопротивление болезни и смерти. И все это радость. Чистая радость весной. Радость сквозь грусть — осенью. Радость сквозь боль, сквозь муку... Характер радости зависит от вызова жизни. Но творчество всегда радость.

Здесь я подошел к порогу, через который трудно переступить. Я могу пройти сквозь свое личное горе, я должен по крайней мере попытаться топить его в Божьем творчестве. Я два месяца умирал вместе с моей первой женой Ирой, но не старался продлить это состояние, затянуть его на годы, до конца дней, или ускорить свой конец (меня тянуло к этому). Я воскрес из своей духовной смерти вместе с памятью об Ире. Но должен ли я топить в Божьем свете Освенцим? Колыму? Вправе ли я поставить эти провалы бытия в ряд с другими, древними, которые не пошатнули Божьего порядка?

Что значит личное горе? Разве оно не может стать знаком космической катастрофы? Разве не падало небо на землю, когда умирала Ира? Разве Гамлет не сказал своей матери: ты сделала белейшее чернейшим (все белейшее, весь строй космоса)? И разве для Бога есть разница — один человек или миллион?

Если горе Иова можно потопить в божественном творческом порыве, то и горе лагерей уничтожения. Перед бесконечностью все числа равны.

И что значит — потопить? Забыть? Но я никогда не забуду раскрытую могилу, в которую превратились поля к северо-западу от Сталинграда. Я не выключаю телевизор, когда показывают убитых детей. Я набираю это горе в свою душу — и топлю его в молитве, в созерцании. Не как чужое, а как свое горе.

XX век — не первый, когда совершалось неслыханное. Для Арджуны неслыханной была битва на поле Куру. Он и минуты не выдержал, когда Кришна дал ему взглянуть на побоище сразу, сжав сотни убийств в один поток трупов, низвергавшихся в бездну. А потом все потонуло в свете — «ярче тысячи солнц», — когда Кришна открыл ему свой божественный лик.

Мне кажется, что теоретики абсурда пережили Колыму, Освенцим и Хиросиму не больше моего. Я говорю не о Шаламове или Визеле, а о теоретиках, о философах постмодернизма. С таким теоретиком мы сидели на одном лагунке. То, что он описывает как кошмар, для меня потонуло в белых ночах. Абсурд всегда был и всегда будет, но он никогда не исчерпывал бытие. Это один из поворотов бытия, один из вечно повторяющихся взглядов на круговорот событий, где смысл и бессмыслица танцуют в обнимку. То, что произошло с Иовом, — такой же абсурд, как Освенцим. Бог пришел Иову на помощь, и праведник встал со своего гноища. Бог пришел на помощь Максимилиану Кольбе, и святой Максимилиан перешагнул через Освенцим. Это не обвинение великим страдальцам, не получившим благодати. Я бы, наверное, погиб на Кольбе и отношусь с искренним уважением к Шаламову, который сумел в аду сохранить творческую волну и, выйдя, передал свой опыт ада. Но мой опыт чистилища тоже подлинный, и он не зачеркивается никаким другим. Я и с войны пришел только с несколькими дырками — и смотрю на поле Куру целевшими глазами. Я признаю, что слепота ослепших — это тоже взгляд, но не думаю, что он во всем глубже моего взгляда.

Я тридцать пять лет живу рядом с человеком, который непосредственно, не в уме, а во всем теле несет бессмыслицу ничем не заслуженного страдания. И этот человек — Зинаида Миркина — каждую весну пишет стихи, кипящие радостью:

О чем же ангелы поют?
О том, что Бог ни там, ни тут.
О том, что в мире ничего
Не может удержать Его.
И тот, кто в Нем, и тот, кто с Ним,
Непобедим, неуловим,
И весел так, как вешний дух,
Как тополиный белый пух,

Как тот новорожденный лист,
 Как соловей, что так речист,
 Что даже ангелам самим
 Непросто состязаться с ним.

Христианство, ушедшее из природы в историю, возвращается у Миркиной в природу, прислушивается к шуму моря, к трепету деревьев, к пению птиц:

Право-славе... Право славить,
 Славить правильно Творца.
 Только кто промолвить вправе,
 Что навек и до конца
 Прав? Что, правду Божью зная,
 В самом деле служит ей?
 Разве иволга лесная,
 Разве только соловей?

Проще всего повторить: «И все это были подобья...» Но нет, это не подобья, это не отклики природы на человеческое чувство. Напротив, подобьем становится чувство поэта, откликнувшееся на ликование весны, на откровение Бога в свете, на взрыв божественных энергий.

Важен не год, а время года: весна складывается с весной, осень с осенью. Поэт отождествляет себя с «календарем природы» (как назвал это Пришвин) больше, чем с корчами истории и судорогами своего больного тела. Оно никуда не девается со своими «стягиваниями», но душа их мгновенно забывает, переполненная радостью «щеничьей» весенней зелени. Страдание и сострадание не решаются нарушить священного действия весны. Они ждут осени, скорбного праздника желтых и красных листьев, летящих на землю, и обнаженных веток, сквозь которые в сад врывается простор неба. Тогда «цветет торжественная боль» (Мандельштам), скорбная радость Чаконы, радость освобождения духа из плоти, радость Симеона: «ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка».

Весна будит в душе ликование, умирание года, и умирание дня раскрывает другой пласт души. Возраст в обоих случаях **ничего** не значит:

Час умиранья — это час,
 Когда душа в Господней длани.
 Не отводи недвижных глаз
 От медленного умиранья!

Не отворачивай лица
 И ни на что уже не сетуй.
 Пройди час смерти до конца
 Вослед за уходящим светом...

Это не тварная смерть с ее муками, а смерть мистическая, смерть тварного в твари, освобождение образа и подобия Бога.

В круговороте богоявления осень и закат не уступают восходу и весне, последняя любовь — первой. Прочное бытие лета и зимы, кажущиеся остановки кружения размыты. Лето — продолжение весны или накопление осени; зима — весна света. И весь этот хоровод духа — радость сквозь скорбь. Горе врывается в этот круг как история — священная история или грубая история нашего времени. Авраам, Исаак, Иов, Блудный Сын, Иисус уже несут в себе самих готовность потопить страдание в творческой радости Бога. Труднее, когда вся тяжесть духовной борьбы ложится на плечи, лишённые библейских доспехов:

Ну что же, раз пришло, то заходи,
 Огромное, косматое, лихое...
 Мне надо уместить тебя в груди
 Со всем твоим звериным диким воём.

Чудовищное горе. Время игр
 Давно прошло. Померкли небыллицы.
 В мой дом ворвался разъяренный тигр,
 И с этим тигром я должна ужиться.

Выталкивать нельзя, иначе съест
 И ближнего, и дальнего соседа —
 Всех, кто беспечно лепится окрест
 И ничего о нем не хочет ведать...

Не вытолкнуть, но и не продохнуть.
 О если бы судьба сняла излишки!
 Что значит все вмещающая грудь,
 Придется мне узнать не понаслышке.

Нельзя выталкивать, нельзя забывать то, что врывается с экрана телевизора (тогда это были Бендеры). В какой-то миг муза не поет, а кричит. Но эти прорывы не зачеркивают воли к внутренней тишине и творческой радости, рожденной в тишине. Неверно, что после Освенцима нельзя писать стихов. Можно и нужно. Стихи помогли Шаламову выжить на Колыме — он об этом писал Пастернаку. И после Колымы сам писал стихи, классически сдержанные стихи о Севере. Я не думаю, что вся правда о Колыме была в «Колымских рассказах». Правда была и в этих стихах. И одна правда уравновешивала другую.

У Гроссмана в «Жизни и судьбе» есть замечательный персонаж, Иконников, который сперва потерял веру в Бога, а потом снова ее нашел. Вторую веру ему принесла деревенская женщина, пожалевшая немца. Меня больше убеждает другое: тишина горных хребтов в час зари. Неужели могучий дух, создавший этот венец света над застывшим порывом вверх, этот поток красоты не способен смыть след грязи и крови? Встреча света с формой вызывает внутренний свет, и, встречаясь с внутренней формой, этот свет делает личность творческой. А там все равно, что творить. Можно и дрова колоть. Никогда не забуду Пан Юня:

Как это удивительно! Как это сверхъестественно и чудесно!
 Я таскаю воду, я подношу дрова!

Я до сорока лет не понимал, что можно вглядываться в обыкновенный древесный ствол, облитый вечерним светом, как в «Чаек над Темзой» или «Возвращение блудного сына». Я этому научился, глядя, как рядом со мной рождались стихи.

Все было так обыкновенно,
 И вдруг — ожог!
 Собрался свет со всей Вселенной
 В один пучок...

Школьником я чувствовал кругом пустоту и невыносимо скучал. Спасали только книги. Потом стали спасать картины. Я ходил к импрессионистам, как к обедне... Не буду перечислять всех ступеней. Я учился творческому состоянию десятки лет. И поэтому отвергаю возражение, которое у читателя, может быть, сложилось: я, дескать, не творец. Что значит — не творец?

Я очень поздно начал понимать созерцание, еще позже — смысл молитвы и сделал только несколько первых шагов в ее царстве. Мне бы надо еще 70 лет, чтобы дойти до своей полной меры, и я понимаю Хокусая, который на девятом десятке говорил, что едва только начал как следует рисовать. Надо учиться до последнего дня, даже зная, что этот день или завтрашний день — последний. Век живи, век учишься, дураком помрешь. Сознывая себя дураком. Мы все дураки перед непостижимым. Каждый день оно поворачивается по-разному, и каждый день надо учиться, как подходить к нему. Я думал, что Антоний Блум несколько прибедняется, называя себя начинающим в молитве, а потом передумал и понял, что он прав: в творчестве мы всегда начинаем. В творчестве любви, созерцания, молитвы. Вчерашнее знание может пригодиться, как годится язык, создававшийся веками, но что-то главное всегда сегодняшнее, и его всегда надо заново найти.

На старости, когда смолкают страсти, просто «упадает с глаз» повязка. «Тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта и что она не наша». Вылезает наружу абсурд, который всегда был. А если не было абсурда, если был смысл, то он никуда не денется. Подлинный смысл жизни — как солнце на небе. Его скрывают тучи, скрывает ночь, но наутро он снова светит, и наше дело — только восстановить напряженную тишину. В этой тишине как в зеркале проступает Смысл.

Наш смысл не отделен от мироздания,
 А скрыт в нем. И дерево само
 И есть то сокровенное посланье
 Творца к Душе, то тайное письмо,
 Которое к отправке не готово.
 Еще в нем не проставлен день и год.
 И в мире нет написанного Слова —
 Текст пишется, покуда ствол растет.

Текст растет сегодня, сейчас. В настоящем. Из настоящего мы углубляемся в прошлое, заглядываем в будущее. Чем дальше от настоящего, тем ближе к царству теней, к схемам и абстракциям. Только в настоящем осень — это «похороны-вос-

кресенье». Только в настоящем жизнь погружается в смерть, как заходящее солнце, и рождается с новой зарей. История — это наш рок, наше проклятье, такое же, как в поте лица добывать хлеб свой и в муках рожать детей. История постоянно рождает новое, и мы постоянно должны обуздывать новых чудовищ. От этого никуда не уйдешь. Историю нельзя остановить, как нельзя остановить движение Галактики. Мы вынуждены участвовать в процессе развития, движения от простого к сложному, со всеми лабиринтами запутанной сложности, со всеми муками потери цельности. Пути истории надо созерцать и пытаться понять, чтобы не попасть в тупики, подготовленные дьяволом, и не свернуть шею на крутом спуске. Но захваченность историей — это помрачение ума, потеря духовного света, погоня за болотными огоньками. Человек, захваченный историей, становится ее рабом, теряет нравственную вменяемость, теряет Бога. Демоны истории возносят его к призрачному величию, а потом низвергают. Живая жизнь, открытая смерти и шагающая через смерть, приносится в жертву историческому Делу. И Фауст, захваченный делом, слепнет. Он принимает стук лопат лемуров, роющих ему могилу, за бодрый труд болотных солдат.

Рабы истории не думают о смерти. История заменила им вечность, великое Дело — воскресение. Это черта всех строителей, в том числе коммунистических. Мой покойный тесть был убежден, что нормальный человек не думает о смерти, что духовное погружение в смерть — сапоги всмятку. За смертью — ничего. Мысли не за что уцепиться. Воображать себя трупом? Но труп — это уже не я, не он. Умершего просто нет. Страдают близкие, друзья: они его потеряли. А его, как шахматного короля, получившего мат, просто снимают с доски.

Есть только мир пространства, времени и материи. Он порождает свой высший цвет, мыслящий дух, в одном месте так же неизбежно, как уничтожает его в другом. Величие человека в том, чтобы принять реальность без всяких иллюзий, сорвать бумажные цветы, украшавшие окопы, и создать общество, в котором свободное развитие всех является условием свободного развития каждого.

Александр Аронович Миркин никогда этого мне связно не излагал, но так было в книгах, которые мы оба читали и которые лежали где-то на дне его сознания. Книги, впрочем, были прочитаны задним числом. Решающим аргументом в пользу реального гуманизма был очень короткий текст, подписанный генералом Нури-пашой (если я спутал имя, историки меня поправят). В октябре 1918 года в Баку вступили турецкие войска. Город на три дня отдавался солдатам. Кто после 12 часов того-то дня займется грабежами и убийствами, будет повешен...

Три дня трупы армян валялись на улицах, и над ними в ясные холодные октябрьские ночи выли собаки. Саню Миркина чуть не пристрелили: аскеры инсценировали расстрел, чтобы тетка, заменившая Саню мать, выдала якобы спрятанное золото. По счастью, во двор зашел турецкий офицер; увидев, что творилось, он стал хлестать стеклом по лицам курдов (у каждого погрома есть свои правила; убивать разрешалось только армян). Офицер говорил по-французски. Тетка умолила его остаться у них на квартире. Этим для одной семьи беда кончилась, но резня кругом продолжалась. За три дня и три ночи Саня чуть не сошел с ума. Общее число погибших армян он называл (по слухам) — 25 тысяч человек. Впоследствии я прочел у Галстяна, что вырезали десять тысяч. Десять тысяч — это тоже очень много. Среди погибших были два товарища Сани по гимназии. Раздобыл револьвер, они стреляли с чердака по погромщикам, а последними патронами покончили с собой.

Саня решил — подобно русскому философу Ильину, — что надо сопротивляться злу насильем и (в отличие от Ильина) сопротивляться по-революционному: низвергнуть до основания мир зла, а затем... затем строить светлое будущее. В 1919 году он вместе с другим гимназистом создал Союз учащихся коммунистов. В него вошло до 150 человек. Мальчики хотели мира без армяно-тюркской резни, без ненависти народов друг к другу. Конспираторы разок попались с листовками, но директор гимназии, старый русский интеллигент, поругав, не выдал их азербайджанской полиции. Подпольный комсомол дождал до вступления в город Красной Армии, и Киров назначил 16-летнего Саню действительным секретарем Бакинского уездного ревкома. Новый деятель смертельно обидел свою тетку, не предупредив ее спрятать серебряные ложки накануне реквизиции. Впоследствии он признавал эти реквизиции грабежом и вспоминал только одно доброе дело: поручился за директора, арестованного как отец белогвардейского офицера. Но такая перемена мнений пришла поздно.

Я застал Александра Ароновича развалиной государственного человека. Его волевая хватка угадывалась скорее по Зине, тянувшейся в юности за своим образцовым отцом (к 1937 году он был начальником НИСа, научно-исследовательского сектора Наркомтяжпрома, примерно говоря — Комитета по делам науки и техники). Железная воля была прологом и к ее болезни. Чувствуя нарастающую катастрофу, Зина сказала отцу, что вынуждена взять академический отпуск на год. Это было ее, возможно, спасло. Но отец ответил: ты уже на пятом курсе. Нужно только еще одно усилие... Зина в отличие от миссис Домби сделала усилие. Сдала сессию на пя-

терки — с язвами в ладонях от всаженных в них ногтей — и свалилась на пять лет; и до сих пор сражается с инерцией своей победы. Воля на моих глазах иногда помогала справиться с болезнью, а иногда обостряла ее переусилиями, и, хотя Зина понимает это, привычка побеждать себя была слишком сильна. Я поддразнивал ее сталинским лозунгом «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять». И однажды среди старых фотографий попалась мне одна, где молодой Александр Аронович был запечатлен в президиуме рядом с Кржижановским, а над ними всеми — транспарант со словами: «Нет таких крепостей...»

Надо отдать должное старым большевикам: это была партия потрясающего волевого напряжения. Читая о протестантской этике, я невольно сравнивал ее с мирской аскезой, с пафосом дела, пафосом достижений у большевистских строителей. И даже в мировоззрении, в идее исторической необходимости было что-то перекликавшееся с кальвинистской доктриной предопределения: одним суждено пасть жертвой исторической необходимости, другим — построить грядущее без нищих и калек...

В 1937 году Бог отказал Миркину (и большинству людей его склада) в своей благодати. Началось царство абсурда. В этом безумии задним числом просматривается система: уцелеть могли только те, кто топил своих товарищей или по крайней мере плясал каннибальскую пляску на трупах поверженных. Партия маленьких Фаустов, одержимых осушением болот, превращалась в партию стукачей и заплечных дел мастеров. В этом была историческая необходимость; началась она, если взглядеться, раньше 1937-го и продолжалась позже. Но для Александра Ароновича наступил чистый абсурд. Умер Серго, дела принял Лазарь Моисеевич Каганович и на партийном собрании заявил: «Если мои сведения верны, то между нами сидит английский шпион Миркин». К счастью, обвинение было открытым, комиссия из двух заместителей наркома, созданная для проверки, оправдала решение получить в Англии патент на советское изобретение. Или замнарком Серебровский собрал сотрудников и опять открыто, при стенографистках, сделал официальное заявление, что Миркин скрыл от партии провокаторскую деятельность своего отца, бакинско-го часовщика. Серебровский по невежеству поддерживал лжеизобретателя, а Миркин, лучше подготовленный, разглядел липу. Всякая ошибка тогда означала вредительство. Следовательно, надо не исправить ошибку, а обличить критика. Это Серебровский понял верно. Но он промахнулся, играя в открытую. Миркин в ярости бросился душить его. Завенягин (будущий начальник ГУЛАГа) оттащил его в сторону... В конце концов удалось доказать, что часовщик Арон Миркин жил и умер в Петербурге, а Саню маленьким взяла к себе в Баку бездетная тетка. Следовательно, Серебровский все врал. План по арестам был выполнен в другом персональном разрезе: арестовали члена ЦК Серебровского (в эти годы чем крупнее пост, тем опаснее).

Миркину в каком-то смысле везло. Но не сошло с рук то, что повторилось во всех анкетах: в 1928 году, будучи секретарем комсомольского комитета МВТУ, он голосовал и активно выступал за платформу Троцкого. Факт был известен Маленкову, составилелю картотеки уклонистов. В 1923 году Жора Маленков был секретарем партийного комитета того же МВТУ, непосредственным партнером Миркина в дискуссии.

Александр Аронович оказался в положении кальвиниста, который по всем обстоятельствам выходил проклятым, осужденным на муки и в этой, и в будущей жизни, но догматически обязан был сохранять уверенность в спасении. То есть по-прежнему верить в правоту исторической необходимости, ломавшей его собственные, а не чужие кости. С руководящей работы его сняли. За самоотверженную работу по монтажу промышленности на Востоке несколько раз представляли к орденам и ни разу не дали (была заметка в личном деле). Миркин упорно верил в правоту партии и совершенно искренне, в семейном кругу, осуждал себя за голосование 1923 года. Он с уважением говорил о Сталине. Впрочем, портрета не вешал. В 1923 году Киров приезжал в Москву, останавливался у Сталина и позвонил своему воспитаннику, пригласил в гости. Сталин был шокирован: к нему в дом — мальчишку, студента! Отвернулся и стоял спиной, глядя в окно, пока студент, сидевший, как на иголках, не выскочил. Партийная этика требовала не испытывать уколос самолюбия, и Миркин старался не испытывать их, но природу трудно перебороть, и в 1923 году, и позже она брала свое. В конце концов природа не выдержала. В 1952-м, низведенный до рядового прораба, Миркин был обвинен в краже белья из рабочего общежития. Обвинения в шпионаже и т. п. он выдерживал, но от такого подлого, прошлого навета физически разрывалось сердце. 4 апреля 1953 года Александр Аронович, все еще не в силах подняться после инфаркта, забился в истерике, когда радио заговорило о незаконных методах следствия.

Тяжелый сердечник, инвалид, он в 48 лет оказался заперт в клетку семьи. Подавленное чувство нелепости жизни прорывалось в депрессии, скрытая обида на партию — в мелочной ранимости. Достоинство руководителя удавалось поддерживать только в маленьком хрупком мирке, обсуждая ничтожные семейные дела, и за

скудным семейным столом. Меня он принял с мрачным недовольством: я окончательно отымал дочь. Однако вскоре переменялся. Почувствовал, что уважаю. Я его жалел и уважал его прошлое, по-своему безупречное. Когда исключили из партии друга, он — один голосовавший против — крикнул: «Вам будет стыдно за свое решение!» Совесть — она всегда совесть, коммунистическая или какая другая. Многие верующие вели себя хуже и утешали себя поговоркой: «Не согрешил — не покаешься; не покаешься — не спасешься». Многие и сегодня отбросили не только коммунистическую, а всякую совесть. Пока что к этому свелась вся моральная перестройка.

Я понимал ответ отца Зине после очередной попытки поколебать веру в Дело: «Доченька, если ты права, мне надо покончить с собой!» Быть самим собой для него значило две вещи: служить Делу, оправданному Исторической Необходимостью, и подыматься по лестнице Дела. Он был на пороге кабинета замминистра; дошел бы и до министра, как Ванников. То, что 1937 год сбросил его вниз, он вынес, они почти все это выносили. Я где-то уже писал, что Ванников из наркомата вооружений попал прямо в застенки, а из застенка с кровоподтеками, в штанах без пуговиц — в Кремль. «Видишь, как меня отделали твои опричники», — сказал бывший нарком. Они были с Кобой на «ты». «Я тоже сидел в тюрьме», — ответил Сталин. «Ты сидел при царе, а я при тебе!» Сталин с удовлетворением улыбнулся, потом взял лист бумаги, нарисовал два глаза, зачеркнул один и сказал: «Кто старое помянет, тому глаз вон!» Потом зачеркнул и второй, добавив: «А кто старое забудет, тому оба. Иди, тебя подлечат!» Реабилитированный Ванников опять получил министерство и продолжал верой и правдой служить Исторической Необходимости. Личное — это лишнее. Главное — Она, Историческая Необходимость, занявшая в сознании место Бога. «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей...»

Несчастье Александра Ароновича заключалось, может быть, в том, что он, несколько раз побывав на пороге Лубянки, так туда и не попал и реабилитирован тоже не был. Гвоздь, готовый быть вбитым в здание светлого будущего, надломился, но остался гвоздем. Надломленность его угадывалась в тяжелой мрачности, с которой встречался всякий Чужой. Кажется, в Чужом, то есть в наших с Зиной новых друзьях, подозревало неуважение к Главе Семьи, где помнилось его славное прошлое. Мы жили вместе только летом, на даче; каждый раз я приезжал с добрым чувством к инвалиду Истории и к середине лета уставал от его тяжелого характера. Потеряв практическое участие в Деле, он хранил верность ему как часть душевного комфорта и все больше заботился о всяческом комфорте, о каких-то маленьких удовольствиях. При виде вкусных вещей терял свою волю и каждый раз платил за это тяжелыми приступами холецистита.

В хорошие минуты я пытался расширить круг его эрудиции и однажды читал, кое-как разбирая по-французски, главы «Моей жизни» Троцкого; другой раз предположил прочесть «медальоны», то есть личные характеристики руководителей, в «Технологии власти» Авторханова. Александр Аронович неохотно взял в руки взятую антисоветчину, но любопытство победило. Прочитав, он честно подтвердил, что про Маленкова и Кагановича там все верно. «У него еще был сапожнический еврейский акцент», — добавил он не без яда про сталинского наркома. Чеченец Авторханов этого, видимо, не заметил или не считал важным.

Впрочем, решающую роль в политическом повороте моего тестя сыграли не мы с Зиной, а Ольга Григорьевна Шатуновская. До своей отставки она держалась несколько отчужденно (чувствовала, что коллеги ее ненавидят и следят за каждым шагом, и несколько избегала сомнительных старых связей). Но, уволенная из комиссии партийного контроля, она стала заходить в гости и была очень откровенна. «Что вы делаете, Гриша? — сказала она как-то мне. — Это бандиты, они вас убьют».

Ольга Григорьевна и ее подруга Мирра создали атмосферу, в которой разрыв с генеральной линией оказался неожиданно легким. Линия колебнулась назад, к реабилитации Сталина. Бакинское землечество в Москве встало в молчаливую оппозицию к ЦК. Во время чешской весны все глубоко сочувствовали Дубечку.

Однако в главном, которое глубже политики, ничего не изменилось. Человек Дела остался без Дела. В Деле для него было все: вера, надежда, любовь. Троцкий писал в «Моей жизни», что уровень нравственности определяется масштабами дела. Великое дело требует великих нравственных решений. То есть можно расстрелять одним махом несколько десятков тысяч Врагов Революции, но нельзя шпионить за своими товарищами, как Сталин (замечу кстати, что именно отсутствие всяких табу было великим преимуществом Сталина в борьбе с Троцким, Зиновьевым и т. п.). В Александре Ароновиче я видел постепенное разрушение человека, выброшенного из Дела, с которым он соразмерял себя. Так бушмены спиваются, загнанные в резервацию, где невозможно охотиться. Дело для Человека Дела — то же, что священная охота для бушмена. Без дела он без своей святости, без своего Бога.

Оставались мелкие радости отставника. В брежневские годы партия простила ветеранам 20-х годов то, в чем сама была перед ними виновата: дискриминацию за

голосование против Сталина (странным образом длившуюся и после выноса Сталина из мавзолея). Александр Аронович был причислен к пенсионерам союзного значения, получил некоторые льготы, и это его порадовало. Особенно утешило приглашение на какие-то бакинские торжества. Тут опять Ольга Григорьевна снимала с него стружку и популярно объяснила, кто такой Гейдар Алиев и чего стоит его показуха.

Не помню, когда я познакомился с Ольгой Григорьевной. Примерно в 1965-м. Было ей тогда 64, а мне 47, но она не показалась старухой или беспольным функционером партии, подчеркивающим в анкете букву «ж». Нет, очень яркий тип женщины, тот самый, о котором написал Некрасов. Кажется, не из русских селений — даже не из российских по нынешней географии; но мне вспоминались некрасовские слова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»... Высокая, несколько расплывшая после троих детей и многочасовой сидячей работы последних лет и все же статная, не то чтобы красивая, но как-то сразу было понятно, почему в нее когда-то был безответно влюблен Микоян. Думаю, не он один. Среди голых королей, путавшихся в своих призрачных одеждах, она резко выделялась своей «настоящостью». На этот облик легко ложилось то, что мне о ней говорили и что она потом сама урывками рассказывала, отдельными историями, прихорошившими к слову.

В 1937-м следственный начальник не решился ее пытаться. Держал открытыми двери других кабинетов — пусть слышит крики, но руки на нее не подымал. Потом придумал другую нравственную пытку: заставил заключенного умолять ее сознаться, иначе его расстреляют, и так расстрелял двоих, но ее опять не трогал. Наконец, дал подписать совершенное пустяковое признание: что она скрыла от партии троцкистскую деятельность такого-то. «Это нелепость! — воскликнула Ольга Григорьевна. — В двадцать четвертом году такой-то был секретарем нижегородского губкома комсомола, а секретарем губкома партии — Каганович». Начальник поморщился, велел выйти своим подчиненным и сказал ей: «Как вы не понимаете! С таким признанием дело пойдет на ОСО, и вы можете уцелеть. А если ни в чем не признаетесь — под трибунал как неразоружившийся троцкист. Тогда расстрел» (Особое Совещание расстрела не давало). Ольга Григорьевна взглянула чекисту в глаза и поверила. Хотя, может быть, он ее все-таки обманывал. Опытный инквизитор, он мог понять, что под пыткой она умрет, не дав никаких показаний (брак в его работе). Он искал нетривиальных решений и в конце концов добился своего: что-то (не Бог весть что) подписала. Дело было по всем правилам оформлено, и ОСО по всем правилам (исходя из ее положения в иерархии МК, не допускаявшего малого срока) оформило десять лет Колымы. Тогда уничтожали тех, кто слишком был уверен в своем человеческом и партийном достоинстве, при самых ничтожных формальностях.

После снятия Ежова Микоян попытался заступиться за свою старую любовь. Дело было подготовлено на реабилитацию, но Берия наложил на решение свою лапу. Что-то подозревал. И было что. В 1918-м она была секретарем Шаумяна и слышала его восклицание: «Коба мне не поможет!» — когда телеграф передал копию послания Ленина Сталину в Царицын — помочь бакинской коммун. На недоуменный вопрос Шаумян объяснил, что в 1908 году был арестован на квартире, о которой знал только Сталин, и считает Сталина провокатором (впоследствии Ольга Григорьевна подбирала материалы, показывавшие, что Сталин под угрозой повешения за кровавое ограбление банка действительно пошел на сотрудничество с охранкой и прекратил его только в 1912 году).

На Колыме Ольга Григорьевна уцелела: Гаранин не расстрелял, блатной не зарезал, и бревно пощадил: ударило как раз по пышной косе, дважды оплетавшей голову. А потом, после лагеря и ссылки, Хрущев поручил ей вместе с другой каторжницей проводить реабилитацию, попутно подбирая материалы для знаменитого доклада. Была возможность, что она же и прочтет доклад, она или ее напарница. Против этого восстали старики — Молотов, Каганович: не могли вынести, чтобы каторжане вышли на трибуну (совсем как тень Банко на пире Макбета). Текст, испорченный бесчисленными оговорками, озвучил в конце концов сам Хрущев. А Ольге Григорьевне поручили расследовать убийство Кирова. Она допросила тысячу человек и полностью восстановила картину, хотя Сталин сделал все, чтобы концы в воду. Запомнился один эпизод: после убийства он приезжает в Питер. Приводят Николаева. Увидев вождя, убийца говорит, что действовал по заданию партии. Сталин бьет его по лицу. Николаев падает на колени. Сталин снова ударил его, ногой в лицо, и все стали бить Николаева по голове — ногами, рукоятями наганов. Скоро Николаев уже ничего не мог сказать... Никто из свидетелей этой сцены не уцелел (Сталин всех запомнил). Но один (кажется, из секретарей обкома) под страшным секретом рассказал товарищу, и товарищ этот дал Шатуновской показания...

Ольга Григорьевна считала, что у Хрущева просто не хватило храбрости опубликовать дело, и его отставка — наказание за трусость. На что она рассчитывала? Видимо, на эффект, подобный фильму «Покаяние», но на невымысленном материале. На покаяние партии (как это случилось в Чехии), на пробуждение коммунисти-

ческой совести, на переход от коммунистической совести к просто совести, на попытку социализма с человеческим лицом. Дальше мог быть мягкий переход к «социальному рыночному хозяйству» (добавлю я от себя). Но нужны были другие люди, вроде Дубчека и Смирковского, а в России Сталин всех таких перестрелял. Нужны были политические деятели или по крайней мере политические преступники, способные покаяться. А коллегами Ольги Григорьевны были, как она сама их назвала, бандиты.

Вот еще одна из ее невымышленных историй. Пришла на прием в Парткомиссию женщина, которую оговорили, обвинили в получении взятки. Эта женщина, прокурор из города Сочи, рассказала, что причиной оговора была ее попытка раскрыть крупную аферу. Ольга Григорьевна пошла по указанному следу. У нее были огромные полномочия, она могла, например, наложить перлюстрацию на частную переписку даже высокопоставленных лиц. Оказалось, что в деле замешан один видный журналист, член ЦК, близкий к самому-самому верху. Он, по-видимому, нажал на педали. Сердюк, заместитель председателя, ворочавший всем за спиной дряхлого Пельше, потребовал прекратить дело. Ольга Григорьевна отказалась. Тогда он послал партследователей искать компромат на всех ее свидетелей. Кто Богу не грешен, царю не виноват! Один приобрел мебельный гарнитур за оптовую цену; другой напечатал диссертацию на казенной бумаге. Собрав все это, Сердюк подошел и нагло сказал: «Ну что, Ольга Григорьевна, чья взяла?!» Она тогда рванулась подать в отставку, но удержало дело, последнее Дело ее жизни.

После увольнения Ольги Григорьевны важнейшие документы были изъяты и уничтожены. Намек Хрущева на преступление 1 декабря 1934 года остался недоказанной болтовней. Вместо нравственного потрясения родилась циничная частушка:

Эх, огурчики, помидорчики!
Сталин Кирова убил в коридорчике...

Цинизм наверху слился с цинизмом внизу. Мне пришлось слышать доклад о роли совести в падении коммунизма. Я возразил, что гораздо большую роль сыграла бессовестность. Совесть действительно пробудилась у Григоренко, Костерина, Лерт. Их называли коммунистической фракцией демократического движения. Но таких коммунистов можно было пересчитать по пальцам. Господствовала бессовестность, и в какой-то миг она переменяла маску, коммунистическую на либеральную или православную. Если считать коммунизм абсолютным злом, то все равно — как бы ни хворала, лишь бы померла. Но коммунизм, как и все под луной, — зло относительное, распад его сегодня мало кого радует. Думаю, что путь правды и совести, за который боролась Ольга Григорьевна, был лучше. Но все это — сослагательное наклонение, которого в тексте истории нет.

Ольга Григорьевна осталась одна со своей памятью. Распускались слухи, что она одряхлела и все путает. Это ложь. Я разговаривал с ней по просьбе дочери Запорожца, присвией уточнить, действительно ли Запорожец сыграл роковую роль в организации убийства. Объяснил, что все уже рассказано, но требуется ее личное свидетельство. Лицо старухи (почти девяностолетней) мгновенно изменилось. За полминуты она собралась и четко, как на экзамене, повторила слово в слово то, что я слышал от нее десять и пятнадцать лет тому назад: как дважды (или трижды — за свою память не ручаюсь) охрана задерживала Николаева в коридорах Смольного и отымала портфель с оружием, а Запорожец приказывал отпустить задержанного и вернуть ему портфель, надрезанный, чтобы легче было достать пистолет...

Однако самой большой неожиданностью был разговор, не имевший никакого отношения к политике. Это случилось в первый мой визит к Ольге Григорьевне за каким-то лекарством из кремлевской аптеки. Роясь в ящиках с таблетками, она спросила меня: «Читали вы сегодня «Правду»? Там такой-то (допустим, Степанов) пишет, что Бога нет». Я спросил: откуда она сама знает, что Бог есть? В ответ Ольга Григорьевна пересказала свой опыт, пережитый в ссылке: как что-то огромное, неизмеримое подхватило ее и подняло над землей, надо всем пространством и временем... С друзьями она не могла об этом говорить. Они верили с твердостью Тертуллиана в свой абсурд: что такого не было, нет и не может быть. Большевики — не агностики; Бог для них не лишняя гипотеза, а ересь, оскорбление сознания, пятно грязи на священном партийном уме. Со мной Ольга Григорьевна разговорилась. Она читала стихи Зины. Ей одной из всего бакинское кружка эти стихи нравились. В чем-то она была очень одинока среди друзей. «Стихи Тагора, — говорила она мне в другой раз, — я готова была носить на груди». «Почему же вы не сохранили этот томик?» «Пришли ходоки из деревни, сказали, что нет книг, я отдала всю свою библиотеку». «Зачем в деревне Тагор?» «Что вы, разве я могла так рассуждать? Революция — значит все общее. Все мои друзья погибли на фронтах...»

Я в это время уже понимал, что чувство Бога надо в себе поддерживать, одной памяти о прошлом переживании мало, и принес «Школу молитвы» Антония Блума. Ольга Григорьевна вернула мне книжку, отрицательно качнув головой. Возможно,

ее отталкивал церковный язык. Есть люди, для которых Бог — только «поэт величайший» (Тагор), и единственный путь к Нему — стихи, искусство. Остальное ни к чему. Сейчас мне приходят в голову и другие возможные причины отталкивания от хорошей книги. Девушку захватил дух революции, дух восстания против старого зла, и сделал рабыней истории, приучил ее исполнять рабскую работу истории, внешнюю работу, так приучил, что к внутренней работе уже трудно было повернуться. В последние годы Ольга Григорьевна очень надеялась на НЛО, то есть опять на внешнюю силу: не пролетариат — так выходцы из других галактик. Но не молитва.

Еще одна причина — гордость. Именно по поэтичности своей Ольга не могла не быть захвачена идеей человекобога (или в терминах Энгельса — высшего цвета Вселенной). И религия, учившая смириться перед промыслом, была ей противна. Ольга Григорьевна вообще была очень горда. Не высокомерна, нет, но горда. Вернувшись из ссылки, жить с детьми не стала: у них за 17 лет сложилась своя семейная жизнь, не хотелось вмешиваться. Дети только приходили в гости, и так до смерти никому не кланялась. И Богу не поклонилась.

Был какой-то пласт в ее душе, о котором она говорила с нами, со мной и Зиной, когда мы изредка виделись. Но в остальном оставалась своей среди Рабов Истории. Чувство реальности Бога было ей в какой-то смутной форме дано и окрепло после черного облака в ссылке. Это чувство поддерживало ее в трудные полосы жизни. Но оно не было таким сильным, чтобы сделать совершенно независимой от Дела. Думаю, что она очень остро чувствовала свою делооставленность и страдала от нее, как от богооставленности (дело было для нее подобием второй ипостаси). Сильная духом, она легко несла свое проклятие, но молча сознала его. Как-то я спросил ее, почему она не пишет воспоминаний. Ольга Григорьевна ответила, что отдала жизнь ложному делу и не хочет его вспоминать. Не знаю, вся ли здесь была правда. Слова ее ко мне — «это бандиты, они вас убьют» — открывали и опасение за себя. Писать что бы то ни было ей было очень рискованно. Но какая-то правда была и в гордом нежелании рассказывать о своих ошибках.

Человек, который выходит на авансцену истории, становится рабом своей роли, своего ампула и платит за величие, которое сцена ему дает, частью сердца. Это касается почти всех. В иных случаях дело доходит до совершенно каменного сердца; в других сердце только несколько сжимается. Но историческое величие — всегда тяжелый груз, и даже на большое сердце оно давит. Среди маленьких людей, маленьких по историческому счету, легче найти большое сердце, чем среди больших, среди Деятелей. Это не только в русской литературе, очень расположенной к маленьким людям, бедным людям. Так и в жизни.

Чтобы пояснить свою мысль, вернусь к семье Миркиных, к тестю вместе с тещей. Александра Авелевна всегда была маленьким человеком рядом с большим, без какого бы то ни было замаха на роль в истории. Но в 1937-м она говорила Зине: будь особенно внимательна к детям, у которых посадили родителей. Приглашай их в гости, дружи с ними. Бывают ведь ошибки — и потом подумай, как страшно жить, зная, что твой отец — враг народа... Она отправляла подруге посылки в лагерь. Родная сестра заключенной боялась отметить; потихоньку передавая деньги, спросила: не боится ли Аня? Та ответила: если я не могу помочь другу, попавшему в беду, то моя жизнь не имеет смысла. К чести Александра Ароновича надо сказать, что он ей не препятствовал. Но это была не его инициатива. История, которой он отдался, сосредоточивала на Историческом, на большом, больше человеческих масштабов. Он поступал, как подсказывало сердце, на собрании, когда исключали друга, или при вызовах, когда два месяца подряд, угрожая расправой, от него требовали показаний против бывшего меньшевика. Но в малых человеческих делах ему сердца не хватало. Все, что старики Миркины сделали нам хорошего, было инициативой Александры Авелевны. Александр Аронович, подумав, шел следом. Правда, если уж решился, то был тверд в своем решении и не попрекал этим. Что-то от крупного человека в нем оставалось.

Александр Аронович никак не расставался с сознанием своей значительности и нашел новое основание для этого в значительности своей болезни. Он ухитрился не заметить, что Александра Авелевна, ухаживавшая за ним, сама смертельно больна. Едва держась на ногах, она вставала с постели ставить ему горчичники. Перед ее смертью легко было уговорить его, что ей лучше, и отправить его в санаторий. Она не хотела его видеть. «Ему нужны только положительные эмоции», — сказала она, — а у меня больше нет сил притворяться».

Неожиданная смерть жены потрясла его. Он вдруг понял, что потерял, и почувствовал трагизм обывденной жизни, далекой от подмостков истории. Ему вдруг оказалась нужна музыка Баха, в котором раньше он совершенно верно чувствовал чуждую его мировоззрению открытость к тайне смерти и воскресения. Теперь он не мог понять, почему раньше ворчал, когда мы включали органичные записи, почему это вызывало у него только одну ассоциацию — с похоронами. Сколько таких по-

трясений нужно, чтобы сердце, стиснутое Делом, заново раскрылось? И что Богу делать с такими недораскрывшимися? Сжечь в вечном огне, потому что не до конца раскрылись? Или пустить в рай, к которому они совершенно не готовы?

Как-то в полусне я увидел себя в раю Шивы (из сказок острова Бали). Я сидел в самом конце праздничного зала и радовался, что могу служить тем, кто лучше меня. Потом подумал, что есть ведь и похуже меня... Тотчас стены рая рухнули, и я увидел крутой спуск в ад. Александра Авелелна умирала с райской мыслью: в последние дни она садилась на кровати, опускала ноги на пол и говорила Зине, что не ляжет, пока та не уедет домой спать в своей постели.

В Писании сказано: лицемеры, говорите о любви к Богу, которого не видите, и не любите ближнего, которого видите... Если повернуть фразу, выходит, что любовь к ближнему — прикосновение к божественной любви. Кто любил много, тому простится многое. Если там есть суд, способный прощать. «Сострадая, сердце Бога остается твердым» (не помню кто это сказал. Все равно кто). И скорее всего Бог действует без внешнего суда. Душа, полная злобы, остается со своей злобой, полная суеты — с суетой, любящая — с заботами любви, пока живы предметы ее любви. А то, что стремится к вечному покою, тонет в вечном покое. Если Бог не решит использовать все, что в ней сложилось, для своей вечной работы.

Как умирает Раб Истории? Я пережил это 11 января 1943 года. Мне было около 25 лет, но на миг показалось, что смерть неизбежна. Оставалось только умереть с достоинством, с оружием в руках, и я взял на изготовку карабин. Потом раздался крик, переменявший обстановку, но примерно минуту я был уверен в своей скорой смерти, как Достоевский перед казнью на Семеновском плацу. Страха не было. Непобедимый страх был на несколько месяцев раньше, когда казалось, что есть возможность избежать смерти, и страшно было, что я этой возможностью не воспользуюсь. С тем страхом я боролся полчаса. А здесь страха просто не было. Была какая-то глухая тоска. Я много раз думал, в чем природа этой тоски, и понял это вдруг, стоя возле могилы Волошина на горе Кучук-Енишар, с видом на два залива, горы и холмы на все четыре стороны. Тоска утром 11 января 1943 года была от тесноты. Кругом, в мутной рассветной мгле, расстилалась заснеженная степь, но я чувствовал себя загнанным в тесную щель, почти что заживо похороненным, и даже не почти, а в последний миг перед тем, как ляжет, отрезая меня от жизни, могильная плита. Думаю, этот миг обличил мою закрытость от Бога. Тогда я этого не понял, принимаю сейчас.

Сейчас полон для меня только день, когда я мысленно прохожу сквозь смерть. Она входит в мою жизнь, как миг тоски между заходом солнца и воскресением зари. Я созерцаю эту смерть с радостью, с ожиданием воскресшего света, разлившегося по всему небу, перед тем как истаять. Созерцаю глазами — в природе и в иконе, созерцаю ушами — в музыке, созерцаю умом — размышляя. Бог открывается не через жизнь и не через смерть, а через жизнь-смерть, через жизнь в смерти и смерть в жизни. Ад — это загнанность в абстракцию тесноты без выхода в ширь или абстракцию пустого бесконечного пространства. То и другое не раз было метафорой ада. Я принимаю обе.

Бог не ведет судебного процесса с грешниками и не взвешивает их дел на весах. Но он дает или не дает благодать в жизни и в посмертии. Кому из Рабов Истории он даст благодать последнего мига? Кого оставит в темноте? Что он дал Сане Миркину? Это был хороший мальчик, порывистый, великодушный, но его съела история с ее расколом на партии и войной партий. А Оля — почти что гриновская Бегущая по волнам на своей лодке, посреди Каспийского моря, управлялась с парусом и компасом, чтобы доставить депеши из бакинского подполья в Красноводск. Неужели добродетели язычников — только скрытые пороки и высший суд утвердит приговор самой себе — умирать в добровольной одиночке на Кутузовском проспекте? Потеряв перед этим сына?

Там, где сама природа раскрывает тайну Бога, хочется думать, что у каждого будет своя заря. У одного — глухая, чуть промелькнет — и закрыли ее облака. У другого — на все небо. Но всегда — заря. И каждая заря, пока не догорит, пока не сольется с ночью, останется вот этой, неповторимой зарей. А там начинается царство Бога, который не слушается богословов и не укладывается в мой ум. Бога, в котором одни мистики видят вечный покой, другие — вечную работу.

Я не знаю, что после смерти,
Я не знаю, что там, за гранью,
Но лишь небо предел мне чертит,
И как небо — мое незнание.

Я не знаю, что раньше было,
Был ли мир до земли иль не был,
Но я знаю, что над могилой,
Над великою тьмою — небо.

Я не знаю иного света,
Мне не мыслилась жизнь иная,
Но бездонное небо это
Я всем сердцем бездонным знаю.

Вдруг ударившись лбом и грудью
О твердейший предел небесный,
Я забыла о том, что будет,
Но что ЕСТЬ, мне теперь известно.

Знаю я, что должна разбиться,
Подойдя к своему порогу,
Мне сверкнула моя граница,
Получившая имя Бога.

Бог есть там, где меня не стало,
Бог есть то, что меня убило,
Мой конец и мое начало,
Я — над собственной могилой.

* * *

Я вспоминаю вечер, когда над Женевским озером поднялся туман и Альпы на том берегу показались летящими в воздухе. На миг пришло чувство, что я сам лечу. Мысль о двойственности, о столкновениях противоположностей стала соблазном и весь мир — ложью, со всеми его правдами и догмами, со всей борьбой и страданияем. Подумать о них — упасть с неба на землю.

А как же земля? Я вернусь к ней, когда поток, поднявший меня, ослабеет. Долго парить никогда не удастся, даже когда очень хочется. А память о часе без земной тяжести — противовес всем идеям и страстям...

Следом пришла мысль: истинно только невысказанное, не имеющее очертаний, плавающее в тумане, недвойственное. Высказанное, имеющее очертания сразу раскалывается, и каждый принцип упирается в противоположность. Мысль изреченная есть ложь. Она может точно соответствовать факту, но духовно цельное в нее не влезает. Я верю в духовно цельное, верю в непостижимое. Верю, что мое переживание духовно целого не иллюзия, не призрак. Свет, вспыхнувший когда-то в моей груди, не лгал. Свет, в котором тонут все вопросы, есть. Откуда бы он ни взялся, этот свет: из радости, перехлестнувшей через все пределы, или из страха бездны. Поток света родится из самой тьмы, когда взглядишься в нее до совершенного падения в черную бесконечность и вдруг почувствуешь, что реально бесконечное недвойственно, что это не просто тьма, а тьма, из которой родится свет. И этот свет — последняя глубина меня самого. Вечен **только** свет, рождающийся из мрака, а предметы, озаренные светом или попавшие в тень, одинаково исчезают; люди, озаренные самым ярким светом, умирают и оставляют после себя тоску небытия, и снова надо вглядываться и «держат ум свой во аде», пока из тьмы не родится свет, заново в каждый миг.

Я верю, что свет, родившийся из тьмы, относится к миру, как творец к творению. Я созерцаю в творении Творца, загораюсь от его творчества и пытаюсь сам творить. За этими попытками усталость, помрачение, господство тьмы и новый порыв творческой силы. Я верю, что творческий дух, истощив свои силы в мире двойственного, возвращается в недвойственность и снова воскресает из нее. Вот вся моя вера. А писания... Я принимаю их как иконы. Как человеческое творчество, вдохновленное Творцом. Как текст, в котором крупницы исторически достоверного смешаны с достоверностью метафоры, образа, легенды, мифа.

Что-то Там есть. А что — зависит от нас самих. Каждый найдет свое. Как в еще одном стихотворении Зинаиды Миркиной:

О дух сжигающий! Когда наступит тишь,
Душа в твоих лучах заплещется, сгорая.
Неотвратим, как смерть, ты смерть испепелишь.
Одним ты адский огонь, другим ты солнце рая.

*Над Женевским озером — в Подмосковье —
над Коктебельским заливом. 1995. Июль — сентябрь.*



Марк АЛДАНОВ

Вековой заряд духовности

ДВЕ НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТАТЬИ
О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Продолжаем серию публикаций по материалам архивов Марка Алданова в Москве и Нью-Йорке. На этот раз по машинописным копиям, хранящимся в Бахметевском архиве Колумбийского университета, мы печатаем — с некоторыми сокращениями — две обзорные статьи Алданова, посвященные русской классической и советской литературе. В недавно вышедшем в издательстве «Новости» сборнике его публицистики «Ульмская ночь» помещены важные статьи об отдельных писателях: Тургеневе, Толстом, Чехове, Короленко. Новая публикация дает возможность увидеть, как понимал писатель общие закономерности и особенности литературного процесса в России в XIX и XX вв. Почти все оценки Алданова выдержали испытание временем.

У этих статей во многом сходная судьба. Первая из них предназначалась для задуманной в США в 1943 г. антологии на английском языке «Сто лет русской прозы», но издание не было осуществлено, статья осталась неопубликованной¹. Вторая, работа над ней шла почти одновременно с первой, по-видимому, предназначалась для одного из американских журналов, но осталась неоконченной². В случае, если бы Алданов довел ее до конца, получился бы единственный в своем роде в те годы параллельный анализ литературной жизни в СССР и русском зарубежье. Но и в незавершенном виде статья сохраняет интерес: автор отстаивает свой взгляд, что русская литература неделима, хотя между двумя ее ветвями есть принципиальное различие: «Мы пишем свободно, они нет».

Концептуальная статья Алданова о русской классической литературе представляет ценной в нескольких отношениях. Прежде всего, адресуясь к американскому читателю, автор сравнивает пути развития прозы в России и на Западе; далее, в ней бесспорное свидетельство того, что на чужбине, много лет прожив вдали от родины, писатели продолжали видеть в великой русской литературе главный источник вдохновения; наконец, Бунина и Набокова Алданов выделяет из круга современных писателей, по существу, относит их к классикам.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
профессор МГУ

Введение **в антологию «Сто лет русской художественной прозы»**

Лев Толстой говорит: «Одно из самых обычных и распространенных суеверий — то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если

¹ См. фрагменты переписки Алданова с В. В. Набоковым в № 1, с И. А. и В. Н. Буниными в № 3, с А. Ф. Керенским, В. А. Маклаковым и другими политиками русской эмиграции в № 6 нашего журнала за этот год.

² О работе над этой статьей Алданов сообщал В. В. Набокову 25 января 1943 г. (см. «Октябрь», 1996, № 1, с. 35).

³ Получив весной 1943 г. высокую литературную награду — его роман «Начало конца» стал лауреатом Клуба книги месяца, — Алданов принял решение полностью оставить публицистику и сосредоточиться на художественной прозе.

мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый».

Эти слова встают в моей памяти при мысли о тех предстоящих мне обобщениях, которые можно считать обязательными для вводной статьи к какой бы то ни было антологии какой бы то ни было литературы. Есть немало общих мест об общих свойствах русских писателей, и, во всяком случае, некоторые из них справедливы, однако всегда с той оговоркой, которую Толстой делает относительно человеческого характера.

Говорят, что русская литература «печальна» (dull). Может быть. Но Пушкин был одним из наиболее жизнерадостных людей, когда-либо посетивших землю. Можно ли назвать печальным творчество Толстого в его лучшее (в художественном отношении) время? «Казак», «Война и мир», даже еще «Анна Каренина» так и дышат радостью жизни. Если смерть в них играет огромную роль, то за нее чуть ли не всякий раз читателю дается моральная компенсация, как, например, радость рождения ребенка у Кити Левиной тотчас вслед за смертью Николая Левина. Больше того: сколь ни отрицательно Толстой относился к войне, как ни ненавидел ее, даже и война описывается в «Кзаках», в «Войне и мире» в романтических тонах, представляющих необычайный соблазн для молодежи: я боюсь, что за восемьдесят лет эти произведения создали среди юношей больше военных, чем пацифистов. В другой книге, тоже представляющей собой одну из вершин русской литературы, в «Мертвых душах» Гоголя, несмотря на их резко обличительный тон, несмотря на то, что в их первой и лучшей части нет ни одного порядочного человека, тоже дышит страстной любовью к жизни, ко всем ее радостям, вплоть до так называемых «мелких»: никто не описывал, например, еду с таким упоением, как этот мизантроп.

Говорят, что русская литература «революционна». Слово это имеет довольно неопределенный смысл (говорят же о «революциях» в физике или в ботанике). В известном смысле Толстого можно назвать революционером. Тем не менее его крайне отрицательное отношение к революции общеизвестно. Он дожил до первой русской революции 1905—1906 гг. и ни малейшего сочувствия ни ее идеям, ни ее делам не высказывал. Напротив, отзывался о революционерах резко, хотя и менее резко, чем о деятелях правительства того времени. О революционерах предшествовавшего поколения герой «Воскресения» Нехлюдов думает: «Это не были сплошные злодеи, как их представляли одни, и не были сплошные герои, какими их считали другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие и дурные, и средние люди». Достоевского многие его поклонники называли «революционером духа», но это фигуральное выражение означает немногим больше, чем революция в ботанике. Настоящей революции Достоевский не принимал, о чем достаточно свидетельствует его роман «Бесы». В тесном и прямом смысле к революционерам, настоящим, а не фигуральным, не принадлежал ни один классический русский писатель. Мне очень хотелось бы сказать, что *вся* русская литература всегда защищала идеи политической свободы, но, к сожалению, даже это не вполне верно (хотя и близко к истине с некоторыми оговорками). Гоголь, например, защищал крепостное право, писал о нем так, как если бы ему никогда не приходило в голову, что этот институт создан людьми и людьми же может быть уничтожен.

Говорят, наконец, что русскую литературу отличает от других литератур ее «реализм». Опять не вполне ясное слово и не вполне правильное обобщение. Великие реалисты появились во Франции и Англии раньше, чем в России, а в Соединенных Штатах почти одновременно с ней. Гоголь многим обязан Мольеру, Толстой — Стендалю, другие русские прозаики — Диккенсу. Я не уверен вдобавок, что Гоголя, Достоевского (не говоря уже о новых писателях, как Белый или Сологуб) можно назвать «реалистами».

Но кто же решится отрицать, что русская литература XIX века была огромным, необычайным и новым явлением? В 1866 г. в журнале «Русский вестник» стали печататься одновременно (и наряду с произведениями совершенно незначительными) «Война и мир» Толстого и «Преступление и наказание» Достоевского. Какой другой журнал в какой угодно из литератур мог бы похвастать тем, что в нем одновременно печатались два истинно бессмертных шедевра? Позволю себе утверждать, что ни одна другая литература в ту пору не имела ничего равного русскому роману. Стендаль умер в 1842 г., Бальзак — в 1850-м, Теккерей — в 1863-м, Готорн — в 1864-м, Диккенс — в 1870-м (а фактически кончился в 1865-м). Немецкий роман был представлен второстепенными писателями, как Шпилльгаген, Ауэрбах, Фрей-

таг. Во всем западном мире один Флобер мог тогда считаться соперником русским романистам. Это положение продолжалось несколько десятилетий. Потом первое место перешло к стране Марселя Пруста, а теперь, бесспорно, принадлежит англосаксонскому роману, я разделяю мнение, недавно высказанное Сомерсетом Моэмом: «The time has passed, when there was any point in speaking of English literature and American literature; I prefer now to speak of it as one, the literature of the English-speaking peoples»*.

Не только чисто художественными достоинствами русская литература завоевала мир. С вышеуказанной поправкой на всевозможные обобщения скажу, что в ней был огромный заряд «духовности», уходящий далеко в глубину веков. Задача настоящей антологии ограничивается последним столетием и одним только родом художественной прозы. Но, быть может, мне будет позволено в настоящей вводной статье привести несколько кратких цитат из сочинений старых русских писателей (сожалею, что сила и красота их старинного языка едва ли поддаются переводу).

Так, в XII веке Владимир Мономах, говоря о войнах, призывал русских воинов во время походов не «пакости деяти ни своим, ни чюжим, ни в селех, ни в житех, да не кляти вас начнут». Это было написано за восемь столетий до гитлеровского времени. Почти четыреста лет тому назад духовный писатель Нил Сорский учил: «Не токмо же злата и сребра и имений ощяются (избегать) подобает нам, но — и всяких вещей, кроме нужных потреби... Истинное же одоление сребролюбия и вещелюбия — не точию не имети имения, но не желати то стяжавати». И он же писал о жизни вообще: «Дым есть житие сие... Се бо зрим в гробы и видим нашу красоту безобразну и без славы... Зряще кости обнаженны, речем в себе: кто есть царь или нищ, славный или неславный? Где красота и наслаждение мира сего? Не все ли есть злообразие и смрад? И се вся честная и вожденная мира сего отнюдь в непотребстве быша и яко цвет увядше — отпадоша, и яко синь мимогрядет: тако разрушится все человеческое». В этих словах уже весь Толстой, вряд ли знавший писания своего далекого предшественника. А вот что писал в пору тяжелых религиозных гонений XVII века сожженный впоследствии протопоп Аввакум: «Огнем да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить. Которые то апостолы научили так? Не знаю... Волею зовет Христос, а не приказал апостолам непокоряющихся огнем жечь и на виселице вешать. И те учителя явно шиши антихристовы, которые, приводя в веру, губят и смерти предают». Он тоже тут несколько опередил свое время — и не только свое.

Анна Каренина читает в поезде какой-то английский роман. Толстой его не называет — все равно, какой английский роман. «Герой романа уж начал достигать своего английского счастья, баронетства и имения». Это говорится без раздражения, только с легкой насмешкой. Сам Толстой был знатен и богат; его и лично нельзя было соблазнить баронетством и именем. Но *тут* он мог говорить почти от всей русской литературы, дворянской и недворянской, богатой и бедной. Чуть ли не один Гоголь в «Мертвых душах» пытался в числе других идеалов поставить перед русскими читателями идеал благоприобретаемого богатства. Это была совершенная неудача во всех отношениях, в том числе и в художественном. Его наживающий много денег и проповедующий наживу (правда, в результате труда) помещик Костанжогло (Гоголь дал ему греческую фамилию, точно не решившись дать русскую) в художественном отношении самое слабое, что он когда-либо создал. А речи и «мудрость» этого помещика и при жизни, и после смерти Гоголя ничего, кроме насмешек и брани, у русских критиков не вызывали.

Оговариваюсь: разумеется, в России, как и везде, громадное большинство людей думало о личном материальном благосостоянии и к нему стремилось. Но это было вне вопроса об идеалах: материальное благополучие — одно, а идеалы — другое. Надеюсь, читатель не усмотрит в этом лицемерия, как не усмотрит его и в том, что многие русские писатели были состоятельными людьми. Это было бы все равно, как попрекать Вашингтона или Джефферсона тем, что они были рабовладельцами.

За этой из глубины времен идущей струей духовности вторым свойством, быть может, выделяющим русскую литературу, следовало бы считать ее простоту. Томас

* Прошло время, когда говорили отдельно об английской литературе и об американской. Сейчас я говорю о них как о единой литературе народов, говорящих на английском языке (англ.).

Гарди говорил, что «some of Chekhov's tales were not justifiable because they told nothing unusual: a tale must be unusual and the people interesting*». Действительно, русская литература за некоторыми исключениями (Достоевский) не слишком любила все unusual, особенно же все условное и театральное. Такой писатель, как Виктор Гюго, едва ли был бы возможен в России. И даже в ту пору, когда русская художественная литература находилась под сильным влиянием западных романтиков, она их романтизм упрощала и приближала к жизни. «Капитанская дочка» Пушкина написана отчасти под влиянием «Эдинбургской темницы» Вальтера Скотта, которого Пушкин чрезвычайно любил (Лермонтов предпочитал и ставил выше Фенимора Купера). Есть даже прямое сходство в фабулах этих двух произведений. Герой «Капитанской дочки» — вождь русского народного восстания в XVIII веке. Было бы легко придать ему вальтер-скоттовские романтические черты и вложить в его уста соответственные речи. Пушкин же сделал из него простого хитрого казака, не выдавливающего из себя ни одного афоризма на всем протяжении повести. Если говорить о правдивости в unusual, то в этом отношении ни одно из бесчисленных убийств в мировой литературе не может сравниться со сценой убийства в «Преступлении и наказании». <...> По сравнению с Достоевским в этой сцене даже Стендаль кажется Конан Дойлем.

Кстати, убийств у Достоевского множество: по одному, а то и по несколько в каждом из его больших произведений. Есть маленькая видимость правды в том, что говорит о нем злоеший герой бунинского рассказа «Петлистые уши» <...>, называющий Достоевского «злым автором, совавшим Христа во все свои бульварные романы!» Достоевский умышленно придавал некоторым своим произведениям форму уголовных романов (так, читатель далеко не сразу узнает тайну убийства Федора Карамазова). Но, разумеется, романы Достоевского не «бульварные» и не «уголовные», а религиозные, ставящие морально-философские проблемы. Однако, как почти все русские писатели до Чехова, Достоевский считал необходимой для романа напряженную, сложную, богатую событиями фабулу. По-видимому, он был прав. За исключением Пруста и Джойса, кажется, ни один из великих романистов без фабулы мира не завоевал, да и действительно ли Пруст и Джойс завоевали *читателя*? «В поисках потерянного времени» и «Улисс» не так уж много читаются и едва ли перечитываются. Фабула достаточно напряжена в самой жизни, и поэтому именно ее отсутствие было бы грехом против художественной правды романа. Напряженная фабула есть и в священных книгах человечества, и если бы ее не было, разумеется, в дополнение к тому, что составляет их силу и величие, то, быть может, и они не завоевали бы мира.

Но трактовка фабулы может быть разная, и у русских романистов, в частности, у величайшего из них, она особая. Толстой признавал фабулу и в частных беседах полусутоливо говорил, что каждый романист должен сердцем знать Дюма-отца. Однако его фабула совершенно свободна от эффектов. Опять один пример. В «Мартине Чеззлвите» (это, правда, не шедевр композиции Диккенса) вы с первых страниц, после первого появления старика и девицы в «Blue Dragon», после первого разговора Мартина с Пинчем, знаете все, что будет дальше; но автор с большого расстояния (так страниц в шестьсот) тщательно, в глубокой тайне готовит тяжелые батареи эффектов. Когда эти батареи начинают палить в конце книги, когда начинает появляться тщательно до поры до времени скрывавшееся «английское счастье», у читателя средней догадливости добрые старые эффекты Диккенса вызывают невольную улыбку (может быть, вызывали даже и в его доброе старое время). Теперь напомним сюжет «Воскресения» Толстого. <...> Фабула напряженная и «толстовская». В первой главе показана Маслова в тюрьме, откуда ее ведут в здание суда. Во второй главе кратко рассказывается ее прошлое — история того, как ее в юности соблазнил племянник ее хозяек (фамилии не названы). Думаю, что ни Диккенс, ни Бальзак, ни Золя не удержались бы от эффекта в третьей главе: присяжный князь Нехлюдов на заседании суда, когда вводят подсудимую, вдруг узнает в ней с ужасом ту женщину, которую он соблазнил много лет тому назад! Это был бы вполне законный и очень хороший эффект. Всякий романист понимает, что от него *трудно* отказаться. А вот как начинается третья глава у Толстого: «В то время, как Маслова, измученная длинным переходом, подошла с своими конвойными к зданию окружного суда, *тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий*

* Некоторые рассказы Чехова неудовлетворительны в том отношении, что в них не рассказывается ничего необычного: сюжет должен быть необычен, и герои интересны (англ.).

Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее, лежал еще на своей высокой, пружинной с пуховым тюфяком, смятой постели» и т. д. Толстой как бы говорит: «Здесь, конечно, был бы возможен отличный эффект, но я в литературе гран-сеньор, мне эффекты не нужны, я раскрываю свои карты с самого начала...»

Напомню кстати, что обвинение Катюши в убийстве совершенно ложно (в этом тоже с самого начала у читателя не оставляется ни малейшего сомнения, по той же нелюбви к дешевым эффектам). Роман «Воскресение» построен на судебной ошибке. Второй знаменитый русский роман с убийством и процессом, «Братья Карамазовы» Достоевского, также построен на судебной ошибке. Позволителю себя спросить: все-таки ведь не всегда же уголовный суд ошибается? Не бывает ли иногда и так, что к наказанию за убийство приговариваются именно те люди, которые его совершили? Но идея обыкновенной земной кары, кары за грехи и преступления, русской литературе чужда. Кажется, все русские писатели терпеть не могли судей, прокуроров, даже адвокатов, и ни в одной художественной литературе мира смертная казнь не описывалась с таким отвращением, как в русской. Тут вполне сходятся антиподы: Лев Толстой с Леонидом Андреевым, Тургенев с Достоевским. И если Достоевский говорил об очищении страданием, то в ином, никак не в государственном смысле. Его описание каторги в «Записках из мертвого дома» ужасно. Но сам он в конце жизни говорил, что именно на каторге он нашел Христа.

«Добра» ли русская литература? В ней нет того, что можно было бы назвать «фолкнеризмом». Но особой мягкости в отношении к человеку в ней тоже не было, особенно в литературе дочеховского периода. Достоевский мечтал о том, чтобы написать вполне хорошего человека, и как будто нашел этот идеал в персонаже, которого назвал «идиотом» (надо ли говорить, что в очень особом смысле), да и в нем еще нашел ли? Не слишком добра была русская литература, или по крайней мере ее часть, и к так называемым великим людям. Толстой был, кажется, первым *debunker*'ом* в литературе исторического романа, и по сравнению с его изображением Наполеона в «Войне и мире» знаменитые благодушно-иронические портреты Виктории и викторианцев могут рассматриваться как новое издание Плутарха. Между «величием» и правдой выбирается правда.

Еще одна характерная черта классической русской литературы: она наименее воинственная и наименее «империалистическая» из всех литератур. Киплинг в ней тоже невозможен или по крайней мере был невозможен. Может быть, нынешняя война это изменит. До сих пор русские писатели, за редчайшими исключениями, к войнам не призывали и завоеваний не воспевали. Не решаюсь этого утверждать, но, по общему правилу, в завоевательных войнах России симпатии больших русских писателей были как будто не на стороне русского оружия. Неизменным, хотя и второстепенным «историческим врагом» России считалась в XVIII и XIX веках Турция, с которой Россия воевала много чаще, чем с другими державами. Тем не менее во всей русской художественной литературе нет и следов ненависти, даже простой нелюбви к туркам, и мусульмане в ней обычно выводятся с большой симпатией. В XIX веке главной завоевательной войной России была длившаяся десятилетиями война с кавказскими горцами. Тем не менее эти горцы являются настоящими баловнями классической русской литературы. Пушкин, Лермонтов, Толстой были просто влюблены в них и в Кавказ — Толстой на старости лет даже вразрез со своими убеждениями. Если существовал человеческий образ, абсолютно, «на все 100 процентов» враждебный учению и идеалам Толстого, то это был Хаджи-Мурат, храбрый кавказский кондотьер, ни в малейшей степени не повинный в непротивлении злу насилем, очень часто противившийся насилем (и весьма основательным насилем) не только злу, но и добру. Тем не менее он описан в одном из последних произведений Толстого с худо скрываемым восторгом, даже почти с нежностью. В этом произведении отзыв Толстого о кавказских экспедициях России (направленный, конечно, не против русских солдат, а против высшего начальства, против русских министров и Николая I) составлен в истинно ужасных выражениях. И в почти столь же резких словах в рассказе «За что?» Толстой говорит о действиях русского правительства по подавлению польского восстания 1830 г. — о том, как «бессмысленно повинующиеся тысячи русских людей были пригнаны в Польшу и, сами не зная, зачем они это делают, пропитывали землю кровью своей и своих братьев поляков». С точки зрения, скажем, Киплинга, такое описание писателем войн, которые вела его страна, почти равнялось бы государственной измене. Добавлю, что после неудачных для русского оружия войны 1854—1855 гг. с Францией и Англией и войны 1904 г. с Япо-

* Разоблачителем обманов (англ.).

нией в России не было ни малейшего следа идеи реванша и ни малейшей ненависти к победителям. Скажу больше: в России и особенно в русской литературе не было и ненависти к немцам после первой мировой войны. Однако всему есть мера. Думаю, что теперь самому резкому германофобству обеспечено надолго большое и почетное место в русской литературе. И разве идиот сможет ее этим попрекнуть.

Очень верна старая французская формула требований, которые должны предъявляться к художественному произведению: «action, caractères, style»*. Лучшие произведения классической русской литературы удовлетворяют этой формуле. Быть может, всего важнее «характеры». В сравнение с той степенью *жизненности*, которую имеют действующие лица «Войны и мира», не идут даже самые прославленные образы Диккенса и Флобера. Как сказал один из русских критиков, персонажи Толстого ходят «с освещенными внутренностями». В такой мере это искусство освещения внутренностей до него не существовало, а после него им обладал только Марсель Пруст, многим Толстому обязанный**. И это относится не только к психологии. В «Войне и мире» вообще осуществлен тот идеал искусства, который мерещился древним грекам в мифе о художнике, рисовавшем плоды так, что птицы садились клевать их на полотно. Этой предельной вершины искусства не достиг даже Гоголь с его изумительной, но все-таки гротескной (и потому более легкой) правдивостью; Достоевский достиг ее только в самых изумительных своих сценах, как в <...> сцене убийства ростовщицы. Можно было бы сказать, что в изображении людей приблизился к русскому идеалу искусства Чехов в некоторых своих рассказах; но человеческий образ в небольшом рассказе, как понимает всякий писатель, создается иначе, чем в романе, и его жизненность достигается иными, гораздо более легкими способами. «Душечка» Чехова — маленький шедевр изобразительного искусства, но что же ее сравнивать с Наташей Ростовой или Анной Карениной? В новейшей русской литературе Бунин совершенно не «освещает внутренностей» и почти не пользуется методом внутреннего монолога. Тем не менее ему удастся создавать живых людей благодаря необычайной внешней изобразительной силе: читатель обратит, например, внимание, на проститутку из <...> бунинского рассказа («Петлистые уши». — А. Ч.): на всем его протяжении она произносит только одну, совершенно незначительную фразу из пяти слов. Но ее *наружность* описана так, что ее образ становится ясным читателю и остается в его памяти. В этом, как в изображении вещей, картин природы, внешней картины человеческих действий, Бунин — несравненный мастер.

О «стиле» долго говорить не приходится. Нет русского писателя, который не чувствовал бы с горечью, как он handicapped*** тем, что его языка почти никто не понимает за пределами его страны. Может быть, после этой войны русский язык станет одним из мировых: он имеет на это право по числу людей, для которых он родной. Теперь же, мы этого от себя не скрываем, всемирная слава Пушкина — просто принятый иностранцами на веру succès d'estime****. Повести Пушкина хороши, и «Пиковая дама» <...> замечательное произведение по *колориту*, по мастерству рассказа, по замыслу главного действующего лица. Тем не менее главное и бесмертное в Пушкине — его стихи — никому, кроме русских, не доступно. Я отношусь скептически к искренности людей, которые восхищаются Китсом, Шелли, Уитменом, не зная английского языка, или Верленом и Рембо, не зная французского. Проза — другое дело. Скажем, что если в переводе (и я имею в виду только очень хорошие переводы) стихи теряют 75 процентов своего достоинства, то проза теряет только 25 процентов. Тем не менее едва ли стоит подробно говорить о стиле русских прозаиков читателям, не знающим русского языка. Обычно лучшим русским стилистом признается Тургенев. Чехов выше всех ставил Лермонтова (и действительно, язык «Тамани» — верх совершенства). На наш взгляд, Аксаков и Гончаров по красоте языка не уступают Тургеневу, а по чистоте и правильности его превосходят. Лев Толстой писал по-русски (как и Гоголь) совершенно неправильно, бросая каждой фразой вызов грамматике: ни один гимназист не выдержал бы в России экзамена, если бы писал сочинения с такими «ошибками», как автор «Войны и

* «Действие, характеры, стиль» (франц.).

** Марсель Пруст охотно отмечал влияния, которые будто бы на него оказывали второстепенные писатели, вроде Джордж Эллиот. О том, насколько он обязан Толстому, он по простительной человеческой слабости не говорит ни слова. Чтобы увидеть разительное сходство, рекомендую прочесть сначала «Смерть Ивана Ильича», а затем знаменитую сцену прощания Свана с герцогом и герцогиней де Германт. (Прим. М. А. Алданова.)

*** Затрудняется (англ.).

**** Умеренный успех (франц.).

мира». И тем не менее я не променяю эту чудесную, неподражаемую по силе и изобразительности прозу на самые музыкальные фразы Тургенева (напомню, что Гете мечтал, как бы *забыть* немецкую грамматику!). Из нынешних писателей Алексей Толстой пишет необыкновенно ярким, чистым и простым языком. Яркий и красочен язык Пришвина. Следует большим стилистическим традициям Шолохов. *Свой* язык создал Зощенко.

О третьем члене французской формулы в этой статье уже говорилось. Чехов нанес «action» сильный удар и даже на некоторое время ее почти отменил в русской литературе — по тому влиянию, какое он имел в последние годы своей короткой жизни. Толстой, нежно его любивший и как писателя, и как человека, очень курьезно выбрал его пьесы, сказав, что они «еще хуже шекспировских»; у Шекспира по крайней мере есть действие! Говорят, что в пьесах Чехова «ничего не происходит». Это преувеличено: в «Дяде Ване» есть покушение на убийство, в «Трех сестрах» — пожар и дуэль и т. д. Но совершенно верно то, что Чехов и в пьесах, и в рассказах пренебрегал фабулой. До предела довел пренебрежение к ней Бунин, не раз говоривший автору этих строк, что «выдумывать» очень легко и что он «выдумку» ненавидит. <...> Ни Чехов, ни Бунин, впрочем, не писали романов в тесном смысле слова. В настоящее время права фабулы в русской литературе восстановлены. Она очень сложна и богата у Алексея Толстого, а также у одного из самых блестящих и талантливых писателей нового поколения — Набокова. Этот писатель, уже давший очень много и представляющийся нам одной из главных надежд русской литературы, придает большое значение и новизне композиции. Стремление к новой композиции характерно и для некоторых других русских писателей XX века (Леонов, Пильняк).

Во французской формуле нет слова «idées». Это неслучайное упущение, и оно, по-видимому, закономерно: это слово немедленно ввело бы вопрос о *качестве* идеи. Мосье де Лапалисс* сказал бы, что лучше в романе ничему не учить, чем учить дурному. Почти все русские писатели чему-то учили и видели в этом свое назначение; а если не видели, то их за это бранили, и многие из них, не чувствовавшие в себе особенного учительского призвания, сознательно или бессознательно подчинялись требованию критики и публики. Один русский философ сказал вдобавок, что для писателя стать учителем жизни есть повышение в чине. Я не знаю, существует ли связь между *качеством* художественной литературы данного народа и той степенью политической свободы, которой он в данное время обладает. Хотел бы, чтобы была и такая зависимость и даже прямая пропорциональность. Но их нет. В пору правления исторических деспотов жили и творили величайшие писатели. Сервантес жил при Филиппе II, Расин и Мольер при Людовике XIV, Пушкин, Лермонтов, Гоголь — при Николае I. Однако между указанными явлениями существует другая зависимость, проявляющаяся в том, что в тех странах, где чисто политическая, чисто социальная мысль не имеет выхода наружу, художественная литература (всегда несколько более свободная) приобретает огромное социально-политическое значение. Она становится отдушиной. Так было в России, где и почва была совершенно готова благодаря тому вековому заряду духовности, который был в душе у громадного большинства русских писателей. Разумеется, в «учительстве» не было и нет ничего дурного, и менее всего я хотел бы возвращения к принципу «искусства для искусства». Но иногда к писателям предъявлялись требования, с которыми их талант или их гениальность не имели ничего общего. Гоголь, великий художник, учить не мог, так как сам знал очень мало, а в областях для учения особенно важных не знал ровно ничего. Но его друзья, его поклонники, атмосфера эпохи требовали, чтобы он стал «учителем жизни». Может быть, он стал бы таковым и без этого. Это, однако, способствовало развитию его духовной трагедии — многие из тех же друзей страстно на него ополчились, когда его «учение», по крайней мере в социально-политической части, оказалось нехорошим вздором. В наше время дело осложнилось. Но я ограничусь сказанным выше о «духовности» русского искусства, а «идеологии» (модное в России слово) русских писателей, старых и новых, не коснусь. Разумеется, я не собираюсь во вступительной статье к антологии — да и нигде вообще — ставить вопрос: «Что есть истина?»

Теперь часто говорят о «конце романа» или о «конце реалистического романа». Об этом, впрочем, говорят чуть ли не с той самой поры, когда роман создан. Думаю, что реалистический роман «кончиться» не может. Его возможности не ограничены, так как проявления человеческой жизни бесконечно разнообразны.

* Французский военачальник XVI в., вошедший в историю банальными суждениями.

Можно также спросить, *что* создано в искусстве художественной прозы *вне* этого рода (включая в него, конечно, и рассказ, то есть короткий роман со своими особенностями и законами). Боюсь, что чрезвычайно мало (не говорю, естественно, о театре).

Но в области реалистического романа и рассказа ушло ли искусство вперед по сравнению с тем, что дали великие русские мастера в пору расцвета русской литературы? Да, ушло, но не так далеко. Марсель Пруст в своем гениальном произведении нашел еще какое-то *измерение* в человеческой психологии — скажем, пятое, так как четвертое уже есть у Толстого, у Достоевского по сравнению с тремя измерениями их знаменитых предшественников. Конечно, барон де Шарлюс или мадам Вердюрэн по своей жизненности могут выдержать сравнение с самыми изумительными персонажами «Войны и мира» и «Анны Карениной». Я не сказал бы того же о Джойсе. Отдавая должное тому новому, что он внес в литературу, и его необычайным дарованиям, я по совести не могу сказать, что *вижу* Леопольда Блума в «Улиссе» так, как я вижу Наташу или Пьера Болконского в «Войне и мире» — так, точно я знал их всю жизнь. Мастерство короткого рассказа Эрнест Хемингуэй довел до предельного совершенства. «The Killers»* в некоторых отношениях лучше самых лучших рассказов Чехова. Новое дал и Т. Вулф. Персонажи последнего шедевра (истинного шедевра) Джона Ф. Маркенда, Minot, Walter Newcombe или мастер Mindz — совершенно живые, навсегда запоминающиеся люди, и единственное, что можно было бы сказать: это все-таки люди более элементарные, их изображать сравнительно легче. Сложный персонаж «So Little Time» Джефффри Вильсон *такой* степенью жизненности не обладает.

Создались ли новые школы? У Пруста, у Джойса было в Европе немало подражателей. Но я не знаю ни одного подражателя Пруста, который по существу, не говоря уже о таланте, хотя бы отдаленно напоминал этого великого писателя. Чему подражали у автора «Улисса»? Нет ничего легче, чем писать без абзацев и без знаков препинания, как написаны последние сорок страниц этой книги. И если мы улыбаемся, читая, например, о «rear admiral the right honourable sir Hercules Hannibal, Nabeas Corpus Anderson, KG, KP, KT, PC, PC, KCB, MP, IP, MB, DSO, SOD, MFH, MKJA, BL, Mus. Doc., PLG, FTCD, FRUJ, FRCPI, and FRCSJ»**, то как же все-таки отрицать, что *этому* подражать очень легко, что теперь так пишут с большой легкостью десятки людей, да и во времена «Улисса» это было не так оригинально.

Революции, конечно, «локомотивы истории». Я не думаю, чтобы они были «локомотивами литературы». В литературе революции чрезвычайно редки. Искусство идет путем эволюционным, и его прогресс заключается в «подталкивании» большого и ценного, в освобождении от дурного и безвкусного. И в этом мировая роль русской классической литературы, как и ее мировая заслуга, была огромной и незабываемой.

1943.

Современная русская литература

Современную русскую литературу теперь обычно делят на две части — на советскую и зарубежную. Этого правила придерживаются, насколько мне известно, все — не очень многочисленные — работы о новейшей русской литературе, а также и вышедшие после большевистской революции энциклопедические словари. Так, например, несколько лет тому назад под руководством бывшего французского министра де Монзи в Париже стала выходить новая Французская энциклопедия. Ее редакторы решили, что в ней о русской литературе должны быть помещены *две* статьи. Так и было сделано: статью о советской литературе написал Эренбург, а о зарубежной — пишущий эти строки.

Мне такое деление всегда казалось недостаточно обоснованным. Герцен был эмигрантом, но историкам литературы в прежние времена не пришло бы в голову выделять его в какой-то особый разряд. Тургенев большую часть жизни провел за границей; многие шедевры Гоголя, Достоевского тоже написаны были вне пределов России — и никто серьезно не настаивал на том, что долгие годы пребывания этих писателей за рубежом отразились на характере их творчества.

* «Убийцы» (англ.).

** Контр-адмирал высокочтимый сэр Геркулес Ганнибал, Хабеас Корпус Андерсон (далее перевод сокращений), Кавалер ордена Подвязки, Кавалер ордена св. Патрика, Рыцарь ордена Храмовников, Тайный советник, Кавалер ордена Бани, Член парламента, Мировой судья, Бакалавр медицины, Кавалер ордена за Безупречную службу, Педераст, Мастер Лисей охоты, Ментор Братства ирландских журналистов (англ.).

На это можно, правда, возразить, что, за исключением Герцена, названные выше писатели эмигрантами не были и за границу уезжали надолго по разным соображениям, имевшим очень мало общего с политикой,— Достоевский, например, жил в Германии, Швейцарии, Италии только потому, что в России его посадили бы в тюрьму кредиторы: в его время несостоятельных должников еще можно было сажать в так называемое долговое отделение.

Боюсь, однако, что я выскажу мысль еретическую: разделение современных русских писателей на две группы — на оставшихся в России и на уехавших из нее — во многих случаях, особенно вначале, происходило по причинам, тоже лишь отдаленно связанным с политикой. Из тех, что уехали за границу, некоторые по своим политическим взглядам или чаще по отсутствию политических взглядов вполне могли остаться в СССР. И, наоборот, среди писателей, Россию не покинувших, есть люди, которых сама же советская печать называла «внутренними эмигрантами». Некоторые из них — и очень выдающиеся — как мне доподлинно известно, действительно хотели в свое время уехать за границу, но не могли этого сделать по разным практическим или личным причинам — разумеется, я их не назову. Другие «внутренние эмигранты» уезжать не хотели, но в остальном от внешних эмигрантов ничем не отличались.

Были, наконец, и такие случаи: человек ни за что не хотел эмигрировать, но его заставили это сделать. Так было, например, с одним моим другом, очень талантливым писателем: он несколько не желал покидать Россию, но его из нее выслали в 1922 г.; с той поры он двадцать лет живет в Западной Европе, тяготится этим, пишет только в эмигрантских изданиях и приходит в бешенство, когда его называют эмигрантом. Я несколько раз был свидетелем того, как он протестовал против такого наименования: «Я не эмигрант! Меня насильно выслали из СССР». Он даже не соглашался обменять свой советский паспорт на так называемый «нансеновский» (эмигрантский): «Буду жить и дальше по советскому паспорту».

Те русские писатели, которые стали эмигрантами, покинули Россию в 1919 — 1922 гг. Позднее уже почти никто не эмигрировал; это стало и фактически очень трудным делом.

<...> Еще чаще и возвращались люди из-за границы в СССР не по политическим, идейным мотивам (говорю о времени, предшествующем нынешней войне). «Идейных» возвращенцев среди писателей я почти не знаю, кроме князя Святополка-Мирского. Большинство других вернулось потому, что жилось им в эмиграции очень тяжело и с каждым годом все тяжелее, а в России, напротив, жизнь в бытовом и материальном отношении стала гораздо легче по сравнению с эпохой гражданской войны 1919—1921 гг. Стало ясно, что эмиграция затягивается надолго, очень надолго. Была, кроме того, вполне искренняя тоска по родине. На этом материально-психологически-бытовом базисе вырастала идейная надрейка. Человеческая изобретательность подсказывала доводы в пользу просьбы о помиловании в той или иной ее форме.

Думаю, что из писателей-беллетристов могли добиться разрешения вернуться на родину почти все. Советское правительство не особенно стремилось к тому, чтобы безобидные беллетристы вернулись, но и ничего против этого оно не имело и не могло иметь: возвращение в СССР, например, Куприна было даже сенсацией, выгодной в рекламном отношении, об этом возвращении писали все европейские газеты. Не вернулись те, которые и не желали ходатайствовать о помиловании. Не буду говорить здесь об «устойчивости» или «неустойчивости». Для писателей-неполитиков здесь был преимущественно вопрос о собственном достоинстве.

В вопросе же о том, нужно ли было вообще эмигрировать в 1919—1921 гг., или же это было тяжелой ошибкой, не может быть, по-моему, для писателей никакого общего решения; каждый должен решить этот вопрос сам для себя. В области небытовой и нешкурной для одних всего важнее свобода творчества и мысли; для других более важна тесная каждодневная связь с родной землей, с ее природой, с ее воздухом, с ее бытом. Лично я свою эмиграцию и по сей день несколько не считаю ошибкой и о ней не жалею, несмотря на все горькое, что с ней было связано. Не теряю и надежды на то, что вернусь в Россию, когда для этого не надо будет воспевать на все лады диктатора и посылать ему приветственные телеграммы по случаю расстрелов тех людей, которых так же обязательно было воспевать годом или двумя раньше. Я воспевай вообще не люблю, а по приказу начальства в особенности. Но, разумеется, мне никогда и в голову не приходило считать эмиграцию обязанностью и возмущаться теми писателями, которые к факту эмиграции относились крайне отрицательно. Подчеркнув тот чисто случайный элемент, который так часто был с этим фактом связан, я настаиваю на том, что русская литература есть одна и только одна: так называемая советская литература и так называемая литература зарубежная представляют собой лишь две ветви одного старого, очень старого, органически выросшего дерева — ветви, поставленные в разные условия жизни. В насто-

ящих очерках я буду говорить о них последовательно, но не отдельно: и советские, и зарубежные писатели воспитывались ведь на Пушкине, Гоголе, Тургеневе и Толстом. Мы пишем свободно, они нет. Вот и все.

Не буду спорить и о том, какая из этих двух ветвей «лучше». Французские историки Великой революции обычно признают, что лучшие четыре книги той эпохи были написаны французскими писателями, покинувшими Францию. Я не говорю этого относительно зарубежной русской литературы. По случайности вышло так, что в 1919—1922 гг. за границу уехало большинство наиболее известных русских прозаиков: Бунин (единственный русский писатель, получивший Нобелевскую премию), Мережковский, Зайцев, Шмелев, Ремизов, Куприн, Андрей Белый, Алексей Толстой. Но из писателей более молодых большинство осталось в СССР. А с возвращением А. Толстого, Куприна и Белого в Россию (последние двое там вскоре скончались) и «стариков» в России оказалось большинство. Вопрос о том, кто «лучше», имеет здесь не намного больше значения, чем вопрос о том, какие писатели «лучше»: те, что живут в Петербурге, или те, что живут в Москве?

<...> В следующих очерках я буду говорить об отдельных советских писателях и об их творчестве. Разумеется, буду преимущественно писать о том, что есть *лучшего* в советской литературе. Хлама в ней, как во всякой другой литературе, очень много. Но о хламе вообще говорить не хочется, а в нынешнее время тем более.

В царской России правительство *запрещало* писать многое, но оно ничего писателям *не навязывало*. Даже при Николае I цензор, выбрасывая из рукописи все, что ему было угодно (иногда самое важное и основное), порою зачеркивая всю рукопись, не имел права выдумывать для писателя «задание»: «Напишите то-то и то-то». Пушкин, Лермонтов, Тургенев подвергались преследованиям в порядке репрессии за неповиновение запрету, а не за нежелание следовать заданию. Царское правительство почти во все времена своего существования (бывали и исключения) вообще мало интересовалось литературой. Ему было более или менее безразлично, что пишут писатели в области нейтральной, — лишь бы они не вредили самодержавному строю и установленному порядку.

Советское правительство, напротив, всегда придавало и придает литературе, даже чисто художественной, огромное пропагандистское значение. Если книги писателя расходятся в сотнях тысяч или в миллионах экземпляров, то их пропагандное значение, конечно, не меньше, а больше, чем значение передовых статей «Известий» и «Правды», которые в одно ухо влетают, из другого вылетают и которые почти всеми почти неизменно забываются на следующий же день после их появления. Поэтому и была введена система «заданий». Она действует довольно исправно, но не совсем хорошо. Писатели глупые и бездарные так нехудожественно выполняют задание, что их «художественные» произведения ничего, кроме улыбки, не вызывают, хотя Ренан говорил: «Ничто не дает лучшего представления о бесконечности, чем человеческая глупость», все же глупость читателей переоценивать не надо. Писатели же умные и талантливые обычно (хотя и не всегда) находят способ обойти задание — или же в самом крайнем случае вообще перестают писать, как почти перестали писать со времени большевистской революции известный романист Сологуб (давно умерший) или не менее известная поэтесса Ахматова.

<...> Что же было делать талантливым писателям, которых в СССР насчитывается много?

Наиболее простым выходом был уход в область исторического романа. Тут, естественно, «заданий» в тесном смысле слова быть не может. На этот путь действительно и встали очень многие советские писатели. Они начали выбирать сюжеты из далекого прошлого. Тьяньнов занялся романами из жизни русских поэтов первой половины XIX в., Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина. Каверин отошел еще несколько дальше назад, Алексей Толстой написал роман о Петре Великом, Виктор Шкловский — о Минине и Пожарском (начало XVII столетия) и т. д.

Самый талантливый из них, без всякого сомнения, — Алексей Толстой. Мне о нем как о человеке говорить довольно трудно: мы с ним когда-то были связаны самой тесной дружбой, и я знаю его, можно сказать, наизусть. Он был несколько лет эмигрантом, затем, вернувшись в Россию, стал поливать грязью эмиграцию вообще и отдельных эмигрантов в частности, в том числе и тех, кому он многим обязан. <...> Ему в этом году исполняется шестьдесят лет. Пишет он лет сорок и пробовал свои силы во всех жанрах: Алексей Толстой писал исторические и современные романы, исторические и современные рассказы, исторические и современные театральные пьесы, писал трагедии, фарсы, авантюрные фельетоны, статьи, очерки, сказки, книги для детей, фантастические романы в жанре Жюль Верна или Уэллса и т. д.

Художественный талант у него громадный, но, к сожалению, он сам своего таланта не уважает и весьма часто пишет вещи самого низкого сорта, под которыми

постыдился бы поддаться и третьестепенный писатель. Иначе, как макулатурой, нельзя, например, назвать его последний роман «Хлеб» и его последнюю пьесу «Путь к победе». В обоих этих произведениях выведены Ленин и Сталин и разоблачаются в них Троцкий и разные другие «вредители», «предатели» и «белобандиты». Разоблачаются также английские и французские империалисты. Достается и «лорду Черчиллю» — так в пьесе обозначается нынешний глава британского правительства.

<...> Однако о каждом писателе нужно судить по лучшим, а не по худшим его произведениям. В современной русской литературе, как советской, так и зарубежной, можно насчитать чрезвычайно мало писателей, которые сравнились бы с Алексеем Толстым по художественному таланту, по изобразительной силе, по богатству фантазии, по красоте, яркости и чистоте языка. Некоторые из его небольших рассказов, автобиографическая повесть «Детство Никиты», многие главы его большого романа «Хождение по мукам» — настоящие шедевры. Эти вещи были написаны (или начаты) им в эмиграции и печатались в «Грядущей России», в «Современных записках» и в других русских изданиях, выходивших в Париже. «Хождение по мукам» — единственное произведение в русской литературе, которое начало печататься в густо-антибольшевистских журналах и кончилось в густо-большевистских. Направление романа несколько изменилось, но талант остался прежний. Я отнюдь не хочу сказать, что Алексей Толстой в эмиграции писал лучше, чем в России. Нет, он не писал ни лучше, ни хуже.

Самое значительное его произведение — роман о Петре Первом — было им написано по возвращении в Россию. Алексей Толстой способен писать и по заданию. Но как человек чрезвычайно талантливый он, конечно, сам понимает, что и его «Хлебу», и его «Пути к победе» в художественном отношении грош цена. Вероятно, он почувствовал потребность для большей художественной свободы уйти в далекое прошлое, в XVII век, где «заданий» нет — или почти нет. Ему это было сделать гораздо труднее, чем другим, потому что он истории совершенно не знает и вообще знает очень мало, отсюда и всякие «лорды Черчилли». Вероятно, какой-либо ученый человек помогал ему и при работе над «Петром». Дух же эпохи он уловил, разумеется, благодаря своему редкому таланту и чутью.

<...> Теперь считается общим местом, что он в Петре изобразил Сталина. Думаю, что в такой форме это неверно, а в известном смысле это было бы для Сталина и неприятно (с чем шутить в СССР не полагается): в своей личной, семейной, интимной жизни нынешний диктатор не известен ничем из того, что наполняет личную жизнь Петра. Идея Толстого была другая. Петр хотел покончить с московской Русью и создать новую Россию. Для достижения этой цели он с величайшей энергией, не останавливаясь ни перед чем в борьбе с врагами, проливал кровь потоками и, несмотря на это, перешел в историю с прозвищем Великого; или, может быть, именно *потому* и получил такое прозвище, что ни перед чем не останавливался и проливал кровь потоками.

Я совершенно не касаюсь этой идеи по существу, она меня и не очень интересует. XVII век одно, а XX век дело иное или по крайней мере должен быть делом иным. Но идея была кладом. Государственное сходство с Петром Великим, во-первых, было, конечно, очень лестно для Сталина. Автор «Петра» стал его любимцем. А во-вторых, и публике идея романа не могла не быть утешительной: советские граждане участвуют в государственном строительстве, и очень многим из них была приятна мысль, что они делают великое дело, что зверства и жестокости забываются, а преобразования остаются.

<...> Однако было бы ошибкой думать, что роман Толстого о Петре — просто явление казенной литературы, рассчитанной на снискание благоволения высшего начальства. Напротив, это истинно замечательное художественное произведение, может быть, самое лучшее в советской литературе за все двадцать пять лет ее существования. Все-таки в романе из эпохи Петра Алексей Толстой был связан неизмеримо меньше, чем в романах и драмах из жизни Ленина, Сталина, Ворошилова и Буденного. Его очень сильный и своеобразный талант мог развернуться на таком полотне как следует.

<...> Совершенно иные исторические романы пишет Юрий Тынянов. Это писатель более молодого поколения. Он родился в 1894 г. в маленьком еврейском городке Режица. Отец его был врачом. Тынянов учился в псковской гимназии, затем на историко-филологическом факультете и с 1921-го по 1930 г. читал лекции по истории русской поэзии, писал критические статьи и филологические исследования. Он был одним из главнейших «формалистов». Первый свой роман «Кюхля» (о поэте-декабристе Кюхельбекере) он написал в 1925 г., за ним последовали романы о Грибоедове и Пушкине. Они имели в СССР очень большой успех, хотя и меньший, чем романы Толстого и Шолохова.

Часть критики вначале тоже приняла Тынянова худо. Настоящие правоверные коммунисты чувствовали, что неспроста вдруг стало появляться столько *исторических* романов и что этот повальный уход в историю у некоторых авторов может свидетельствовать и о недостаточной любви к новому строю: отчего бы им в самом деле не писать о чем-нибудь современном, о строительстве, о тракторах, о пятилетке? Между тем Тынянов романов из современной жизни совершенно не пишет. В исторических его вещах нет ни пресмыкательства, ни желания угодить начальству. Кроме того, он ученый человек и добросовестный исследователь: он хорошо изучил ту эпоху и тех людей, о которых пишет.

Эти качества отличают его от Алексея Толстого очень выгодно. И если бы у Тынянова был такой большой художественный талант, каким обладает Алексей Толстой, то это был бы идеальный исторический романист. К сожалению, *такого* таланта у него нет. Его исторические персонажи выписаны чрезвычайно тщательно, точно, иногда очень тонко, но это все-таки не живые люди. <...> Со всем тем и он, бесспорно, даровитый человек, и вдобавок он идет вперед: его роман о Грибоедове (1927 г.) лучше, чем роман о Кюхельбекере (1925 г.), а роман о Пушкине (1936 г.) лучше, чем роман о Грибоедове. Вполне возможно, что из него выйдет большой писатель. Я очень этого желаю, но не очень в это верю.

<...> Совершенно исключительным по таланту писателем я считаю Михаила Михайловича Зощенко. Советская критика за редкими исключениями, вроде Виктора Шкловского, относится к нему пренебрежительно. Она говорит, что на произведениях Зощенко лежит «мелкобуржуазная обывательская печать», она усматривает в них «анекдотическую легковесность» и т. д. Насколько мне известно, советские читатели его обожают. Тем не менее его книги не имеют и небольшой доли тиражей главных советских писателей.

<...> Его маленькие рассказы — часто самые настоящие шедевры. Боюсь, что перевести их на какой бы то ни было иностранный язык чрезвычайно трудно: в переводе утратится почти вся их прелесть, основанная в значительной мере на языке. Зощенко создал свой собственный язык — язык полубразованного великорусского мещанина, желающего следовать за своей эпохой и читающего советские газеты. Его рассказы почти всегда ведутся от имени действующего лица, принадлежащего к этому социальному разряду. У него герои, например, говорят: «Я два года училась как таковая...», «Я нервный на женщин...», «Ты думал? Какая Спиноза нашлась, чтобы думать!...», «Я беспорядка не нарушаю...», «Собака системы пудель» (по забавной аналогии с револьвером *системы бульдог*) и т. д. Едва ли иностранцы могли бы оценить и присущее этому писателю знание России — немудреное при том множестве профессий, которыми он занимался на своем еще не очень длинном жизненном пути, — в этом отношении он перещеголял самого Максима Горького. И даже третье большое достоинство рассказов Зощенко, богатство фабулы и изобретательность, настолько связано с первыми двумя, что и их американец или англичанин не может оценить в полной мере.

<...> Из американских писателей Зощенко немного напоминает Марка Твена периода «Знаменитой скачущей лягушки из Калавераса». Есть кое-что общее и в их биографиях. Знаменитый американский юморист тоже переменял множество профессий, был водовозом, наборщиком, золотоискателем, лоцманом (ведь и самый псевдоним его «Mark Twain» — это есть восклицание американских лоцманов). Кстати, Марк Твен, как и Зощенко, при всем блеске своего юмора и остроумия, был человеком мрачного, пессимистического мировоззрения. <...> В этом отношении Зощенко тоже от него не отличается. Его маленькие печально-юмористические шедевры — украшение современной русской литературы. Но самого автора они не удовлетворяют: он все пытается написать большой роман, непременно с «глубокими» размышлениями. Из этого пока ничего не выходит. Может быть, выйдет в дальнейшем. Но и того, что Зощенко уже дал, достаточно для большого имени. Я прямо скажу, что некоторые маленькие его рассказы *лучше* маленьких рассказов молодого Чехова той эпохи, когда тот писал под псевдонимом Чехонте. <...>

Подготовка текстов и публикация
Андрея ЧЕРНЫШЕВА

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

Сон во сне

ТОЛСТЫЕ РОМАНЫ В «ТОЛСТЫХ» ЖУРНАЛАХ

Что мы понимаем под большой формой? Тексты большого объема, которые в былые времена населяли в превеликом множестве журнальные книжки, а сейчас практически повывелись. Лапидарное *продолжение следует* теперь все реже и реже радует глаз. А ведь для «рядового» (то есть самого что ни на есть главного) читателя нет слаще занятия, как, налюбовавшись вдоволь аккуратно сложенной в изголовье стопочкой журнальных книжек, открыть первую, перейти ко второй, застрять на некоторое время в третьей, чтобы искусственно оттянуть неизбежный финал. Некоторые подписчики читают ради чтения, то есть одного процесса ради. Это, кстати, и феноменальный успех телевизионных «мыльных опер» подтверждает. Когда на первое место выходит не качество, но количество, протяженность, обреченность на еженедельное *продолжение следует*. Странно, что литература (как общественный институт) как-то практически без сопротивления делегировала свои законные привилегии каким-то телевизионным проходимцам.

Традиционно именно большой, объемный роман является хребтом, скелетом журнального организма, формируя сопредельные жанры в некую законченную систему. К примеру, сила и слабость рассказа — в его обзримости. Он слишком короток, слишком быстро заканчивается, чтобы полностью захватить неискущенного читателя: формат превалирует над содержанием. Что оказывается важным лишь для самих писателей: лабораторная чистота, возможность бесконечной работы, etc. Отчего-то вдруг установилась мода на некие худосочные тексты, исчерпывающие себя на нескольких десятках (и то — доблесть) страничек. И чтобы обязательно в одном номере, выход за границы которого говорит уже об определенном статусе автора, об ожиданиях-притязаниях особого рода. Конечно, члену букеровского жюри, обозревателю ежедневной газеты проще прочесть шесть разбухших рассказов, чем три полноценных кирпичика!

Кто спорит — в большом текстуальном пространстве сложно сохранить первоначальный посыл, выдержать конструкцию на «одном дыхании», в едином и как бы не утратившем свежести порыве. Но что еще более существенно: если «модные стандарты» вызываются к жизни какими-то новомодными поветриями, то полнометражные эпопеи, складываясь постепенно, из кирпичиков каждодневных усилий, оказываются (системность и напряженность самого процесса письма тому порукой) формой *духовной деятельности*, подчиняя себе в конечном счете жизненный ритм писателя. Капля камень точит. Есть в этом что-то методологически близкое притче, рассказанной героем «Жертвоприношения» Андрея Тарковского. Который советовал систематически, каждый день, в одно и то же время, делать одно и то же, пусть ничтожно малое, но действие. Наливать стакан воды в ванной и выливать его в унитаз. Хотя бы. И тогда, мол, ты заметишь, что мир вокруг тебя начинает меняться. А роман именно тогда и будет иметь реальную ценность, мимо которой не сможет пройти и самый равнодушный читатель, когда окажется не только целью приложения суммы писательских усилий, но и средством «изменения мира вокруг». Он только тогда окажется реально существующим литературным текстом, не еще одним, сто тысяч первым, литературным симулякром (симулирующим все признаки литературы, таковой на самом деле не являясь), когда, вызванный к жизни некими имманентными причинами, и воплощается-то в первую очередь не на продажу (пер-

вый признак симулякра), но насыщения внутреннего, авторского «рынка» ради*. Когда он — единственное спасительное средство от экзистенциальной изжоги, единственный аргумент «за».

Писание большого текста — всегда выстраивание некоей параллельной реальности, этакого долгого, как зимняя ночь, сна**. Что может быть лучше, счастливее полностью управляемого, со всех сторон контролируемого сновидения! Вытягивая из себя серебряные нити сюжета, романист, как сомнамбула какая-нибудь, грезит наяву, перемещаясь по жизни в сиреновом облаке материализующихся замыслов. Сон всегда воплощенная самость, то, что совершенно невозможно в пересказе. И тем не менее стоит попробовать. Долгое пребывание в вымышленном пространстве не проходит для творца даром. Ситуация эта неизбежно проникает в текст, насыщая его всевозможными инфернальностями. Реальности оказывается слишком мало, слишком она кажется нашим повествователям бедной, прямолинейной и чуть ли не однобокой. Сны или видения становятся вдруг важнейшей составляющей фабулы, и оказывается невозможным написать панорамное полотно без этакой придури, чертовщинки, выходов за. Что поделать, если время действительно удручающе, невыносимо тяжелое. И нет большего облегчения, чем нырнуть с разбега (совсем как в знойный летний день) в холодное озеро Иного. Ничего особенного, самое что ни на есть общее место современной беллетристики.

В неторопливом семейном (подзаголовок автора) романе «Крепость» Владимира Кантора («Октябрь», 1996, №№ 6, 7) интеллеktуал отыщет для себя некие подводные течения, идеологические авторские концепты, выраженные в самых простых сюжетных ходах с нарочитой традиционностью. Уже эпиграфы из Пушкина и Овидия, тщательно подобранные к каждой главе, сами названия глав («Лина, или Безумие», «Рыцарь печального образа», «Русская рулетка») выдают искусственность, сочиненность композиции, выстроенной в угоду писательскому своеволию. А иначе зачем огород городить?!

Действие романа разворачивается вокруг семьи Востриковых, интеллигентов в каком-то там поколении, революционеров в прошлом и журналистов в настоящем. Настоящее (то есть время романного пространства) высчитать достаточно сложно. Сам Кантор нигде его не указывает. И лишь по косвенным свидетельствам, каким-то бытовым реалиям можно предположить, что происходит все в начале восьмидесятых, то есть в самый пик застоя. Это для «Крепости» очень важно, потому что один из основных несущих конфликтов разворачивается в плоскости противостояния общества и индивида. Когда с одной стороны — безразличие и нефункциональная жизнь социального организма, с другой — реальные, конкретные люди, никак не вписывающиеся в предлагаемые им трафареты и ниши. Проблема, что называется, из вечных. Но каждый раз подобные вопросы решаются в конкретно-исторических условиях, и потому фон очень важен. От тебя ждут чего-то совершенно тебе несвойственного, навязывают чуждые представления и взгляды, определяют по степени общественной пользы. Странно, что можно ценить человека просто так, за то, что он является «...самим собой. Тем, что он человек и существует на Земле, при этом добрый и никого не обидел». В редакциях — тошнотворная текучка. На кухнях — обсуждение вечного и сиюминутного (говорят много, все больше бестолково и банально, быстро пьянея и охотно сворачивая на похотливые прикюоче-

* Я бы вообще поостерегся говорить о постмодернизме применительно к литературным текстам. Ибо, по моему глубококому убеждению, ничто так противоположно ПМ, как литература. И потому он, по определению, не может возникнуть в литературно-ориентированном обществе. Литература и есть первое средство против этого иммунодефицита. В случае с многочисленными ПМ-подделками мы имеем дело с симуляциями литературы, с симулякрами, которые созданы на продажу, и потому не способны сохранить дух первоисточника. ПМ — это отчужденное от первооснов сознание, питающееся продукцией посредников. ПМ — это клипы, это мода, модные веяния, все то, что хорошо продается. Но это никак не форма, пусть невротического, но самопознания. Это никогда не литература, не музыка (особенно популярная: здесь наиболее ярко проявляется коварство симулякров), не какие-то другие формы деятельности, замешанные на «крови и почве».

** «28. Воля в состоянии бодрствования во многом скрывает-выпрямляет то-что-мы-есть. Она действует примитивно, пытается реальность направить по узкоколейке причины и следствия. Во сне эта воля пропадает, и мы как бы становимся равны себе по отдельности: отдельно равны своей тьме и отдельно равны своему свету. Таким образом, мы поляризованы без разрыва, что, конечно, маловероятно. Но маловероятность во сне ничуть не уступает по значимости многовероятности. Сон не тотализатор, не игра.

29. Сон и бодрствование не альтернативы. Просто некто нас вдыхает в сон и выдыхает в явь» (В. Кальпиди «Правила поведения во сне»).

ния): «*А русская литература, как вы сами знаете, вполне выразила данную ей кем-то весть о судьбе своего народа. Поэтому она и способна составить из себя новый Ветхий Завет, с его проречиями, национализмом, чувством избранности, самообвинениями и проклятиями самим себе*». Всем есть дело до русской литературы, потому что только она оказывается на всеобщем фоне хоть чем-то живым, жизнестойким. Всеобщий развал и запустение (которые в конечном счете оказываются развернутой метафорой эпохи застоя или, если взять еще шире, экзистенциальной — по Хайдеггеру — заброшенности, отчужденности) Кантор подчеркивает через неуют отечественного быта, через некую условность «коммунально-бытового хозяйства», совершенно не приспособленного для жизни: загаженные подъезды, обваливающаяся штукатурка (не до ремонта, только бы ночь простоять), обилие помоек, мимо которых вынуждены постоянно проходить герои «Крепости». «*У нас обычный дом, жэкровский. Представьте себе улицу перед домом: грязь, мусор, на огромный восьмизатный дом только два мусорных бака, вечно переполненных, которые к тому же редко вывозятся, кучи мусора вырастают рядом с баками в их вышину, и потому во дворе вечный сладковатый запах помойки, запах чего-то тошнотворного, гниющего. Иногда мальчишки поджигают мусор в баках, тогда примешивается еще запах дыма и гари. А подъезд!.. Про него и рассказывать неохота. Бумаги, окурки, скомканные сигаретные пачки, на пол плюют и сморкаются, а то и попросту мочатся. Мы пытались с этим бороться, но не очень-то успешно. Лифт столь же заплыван. Уборщицы нет...*» И так далее, чтоб жизнь сказкой не казалась. Нарочитого сгущения красок здесь нет. Страсти житейские очень точно уравновешены какой-то совершенно надмирной жизнью основных героев романа. Они пьют, гуляют, выпадают из окон, путешествуют по своему прошлому или вообще по миру загробному. Реальность сама по себе, а они как-то отдельно, в стороне-сторонушке.

Не случайно наиболее динамичной «Крепость» оказывается в главах, рассказывающих о житье-бытье старшекласника Пети и потому выдержанных в ключе классического романа воспитания. Сознание Пети, его взаимоотношения с миром еще не обросли комплексом социальных штампов, освоение и знание продолжают. Петя скрывает от одноклассников, что его бабушка, старая партийка, — еврейка. Обстоятельства складываются так, что хулиганское нападение деклассированных одноклассников на учителя литературы, Герца Ушеровича (Григория Александровича), приписывают Петинуму дурному влиянию. Начинается разбирательство, всплывает тайна происхождения. Ситуация усугубляется отсутствием родителей (находящихся в длительной командировке в Чехословакии), смертью бабушки, суицидальными наклонностями неврастеничной родственницы-приживалки с несложившейся личной жизнью. Которая, прежде чем попытаться наложить на себя руки, соблазняет мальчонку. Уж какие тут девочки, какая школа, когда мир вне стен родного дома агрессивен и полон неприятных неожиданностей. Конфликт с реальностью наиболее болезнен именно здесь, именно сейчас: не до конца сформировавшийся человек менее всего защищен от страшного несоответствия двух миров — вымышленного и настоящего. Прибавьте еще сугубо книжное воспитание — идеалы, знаете ли, представления, красота спасет, рыцарь печального образа. Обернувшись он окрест, и душа его особым образом уязвлена стала. «*Такое уж у меня воспитание — на идеях русской литературы. Я, извините, реалист. Вы относитесь к литературе как к школьному предмету, материалу для занудного заучивания, а ведь это школа жизни. Вы думаете, ваша жизнь впереди, что она еще наступит, а пока вы к жизни только готовитесь, учитесь. Это ошибка. Вы уже живете. И в вашей школьной жизни есть все проблемы взрослого мира...*» Все так и есть, нельзя отказать Григорию Александровичу в справедливости. Тем серьезнее столкновение с тем, что принято называть «правдой жизни». Тем сложнее брошенному-обреченному разобраться в себе, своих реакциях, склонностях. И еще ведь постоянно кому-то и что-то нужно доказывать, вести какие-то глупые разговоры. И быть зажатому между разрушающимся (более не спасающим от мира) домом и агрессивным равнодушным улицей, играть по чужим правилам. «*Все бедные,— тихо сказала Лиза.— Каждый на свой лад*».

Все бедные, все несчастные. Все недостаточно, особенно обычная, обыкновенная жизнь. Поэтому-то и начинают проявляться в детерминистски выстроенном «семейном романе» всяческие разнообразные миры. Например, загробный. «*Вдруг она поняла, что видит себя со стороны, точнее, сверху. Она (во всяком случае, ее тело) лежала на постели в ночной рубашке, с отброшенным на пол одеялом, рот ее был приоткрыт, а глаза недвижно устремлены в потолок. Она вскрикнула. Но никто ее не слышал. Она и сама себя не слышала, только знала, что вскрикнула*».

Но она даже обрадовалась этому беззвучию, потому что впервые в жизни испытала чувство абсолютной свободы». А обрадовавшись, услышала разговор души и тела, уносящихся друг от друга все дальше и дальше, растянувших дискуссию вокруг собственной смерти на несколько страниц. Глава так и называется «После смерти» и, кстати, никакой особой сюжетной нагрузки не несет. Показательно! Психология! Даже самое традиционно настроенное повествование не может обойтись без приправы бытовой инфернальности: сон, сны...

Первоначально название прочитывается в достаточно традиционном ключе, мол, дом как крепость, дано и не отыметься. Но чем дальше в текст, тем более становится явным — взросление как вырастание, как преодоление детских одежек, как ревизия радостного восприятия мира идет параллельно с размытием оберегающей силы «семейного очага». Что больше не спасает и в случае чего не защитит, надейся лишь на свою собственную крепость. Крепость как крепость. Убеждений, первоначального посыла, силы натуры, несгибаемости, самодостаточности. Которая внутри, которая пока еще не взята. Но нет препятствий для жизненных обстоятельств, и, значит, все — лишь вопрос времени.

«Книга теней» Е. Ключева («Постскрипtum», 1996, №№ 1, 2) — странный, фантазмагорический роман в модном ироническом ключе. Между тем фантазмагория, если ею заниматься осмысленно, — вещь сугубо серьезная. Одно дело — морок скомканного ночного кошмара. Который, не спросив, накрывает с головой, а потом, так же стихийно, откатывается-отпускает. Иное дело — литература. Все потустороннее здесь должно иметь четкое обоснование, подкрепленное строгостью сюжетной конструкции. Идеальный прообраз беллетристики такого рода — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова — обнаруживает виртуозности композиционного решения, сбалансированность всех частей и уровней текста поистине завораживающую. Нам, однако, не только композиционное родство важно. Булгаковская дьяволиада уже давно оказывается официальным лекалом, по которому кроют многие нынешние журнальные бенефицианты. Когда слова в простоте не сказано. Когда в наличии несколько разноплановых, пересекающихся уже, как правило, за текстом пластов. Ну, и обязательные мистические переживания, бездны и прозрения, парафилософская многозначительность.

Ошибка построений такого рода заключается в том, что «метафизика» оказывается лишь вспомогательным средством, подкладкой сюжета. Не концепт движет действие, но сам уныло плетется ему вслед, дежурно (искусственно) создавая дополнительный объем, объемность. Тем самым расслаивая роман, разбавляя его, как молоко в магазине. Либо семантика диктует форму, либо беллетристика с потугами на интеллектуальность.

Чего вроде бы счастливо избегает роман Е. Ключева. Давая тем не менее на первых страницах повод заподозрить его в вопиющей вторичности, подражательности. Некие иррациональные события в зачине происходят на московских бульварах. Правда, не в час небывало яркого заката, но, напротив, самым что ни на есть светлым днем шестнадцатого месяца января. Точно по Фрейду, автор уже на второй страничке оговаривается: «*Воланды на дороге не валяются*» (оставляя просто в полном недоумении по поводу критериев работы редколлегии). Но, чу! Первое впечатление оказывается обманным, умышленно сбивающим с толку. «*Спешу уведомить читателя, что продолжения у этого эпизода не будет и что он никогда не узнает, кем были старушеница и карлик с бульвара. Это ружье не выстрелит*». Если что и останется здесь от булгаковского романа, помимо потусторонних (впрочем, весьма безвредных) сил, так это приятная (не легкомысленность, но) легкость письма, масса остроумных деталей и фабульных каламбуров. И, конечно, образ Москвы, не гротесковый, а весьма романтический, ностальгический даже, теплый, уютный. Приподнятое (едва ли не восторженное) настроение, точность попаданий, отбор деталей и свежесть описаний выдают в авторе простодушного чужака. Да, теперь уже так, с чувством неподдельным, с толком и расстановкой, не пишут (роман помечен началом восьмидесятых). «*Если бы мы жили не так быстро, мы бы могли заметить кое-что... интересное. Но мы действуем как бы наизусть, то есть пробегаем нашу жизнь, проборматываем, не вдаваясь, что называется, в частности, в подробности каждой ситуации, которую посылает нам судьба. Так дети читают стихи — зная уже наперед, что там дальше, и галопом скача к финалу: буря-мглою-небо-кроет-приутолкла-у-окна-своего-веретена...*» Короче, хорошо, когда опаздываешь, немного замедлить шаг. Автор и его персонажи замедляют пленку своего кино и обнаруживают такие вибрации, что дух захватывает. Все становится исполненным-наполненным глубокого смысла, дает возможность качест-

венного прорыва в иную реальность. К самой что ни на есть сути вещей. «*Знаки, подлинны́е знаки — вот чего мы напрочь не умеем воспринимать*».

И выясняется, что существует Элизиум, параллельный мир теней, которые способны влиять на ход человеческой истории, *щадяще* контактировать с людьми. Роман так и развивается — медленным, но неизбежным сближением двух параллельных «сценических площадок». Главный герой «теневого кабинета», диссидент от теневой науки Тень Ученого совершает невидимую теньевую революцию. «*Щадящие контакты... Тысячу, предположим, лет назад щадящих контактов было достаточно, чтобы поколебать уверенность человека в однократности бытия: он видел нечто сверхъестественное и немедленно делал вывод о присутствии в мире п-о-т-у-с-т-о-р-о-н-н-е-г-о. Душа его была открыта для восприятия чуда — расчудок обширен, чтобы вместить в себя идею абсолюта... Теперь не хватает щадящих контактов: знаки, посылаемые из мира иного, следовало сделать уже более явными, чтобы каждый знал: не один только раз живем на свете, а жили и будем жить еще. Чтобы каждый верил в реальность встречи потом*». Вот, собственно, зерно замысла: проникновение инобытия в нашу жизнь, про-явление Предначертанного, имеющий уши да услышит.

Объяснимо нашествие всяческой инфернальности на современную прозу. Когда мир не имеет четких очертаний и почва под ногами оборачивается трясиной, спасение может прийти из самых неожиданных, не поддающихся фиксации сфер. Еще более понятна тяга к «альтист-даниловским» интенциям прозы развитого стабилизма: происходившее вокруг было обыденно невероятным, кафкианским; ножницы между рациональными объяснениями и эмпирикой повседневного были столь вопиющими, что в эту образовавшуюся щель не могла не налезть всяческая нечисть. Шизофреническая, знаете ли, раздвоенность, разорванность и все, что из нее проистекает. «*Безумие есть чистая форма проявления духа, когда дух прозревает первоосновы бытия и вспоминает, так сказать, пред-жизни и даже после-жизни... Дух приближается к... к универсуму*». Клаустрофобия, на которую обрекал застой, ограничения во всех сферах жизни мирволили поискам в отпущенных тебе пределах-наделах не вширь, но вглубь. Бурить скважины. Сторожить чужие огороды. Так и находились в глуши, во мраке заточения всяческие потусторонние образования типа Элизиума. Текст, возникий-вдохновленный, может быть, всего одной тютчевской строкой, являет правильное распределение авторских усилий. Когда все тени точно на одно лицо, когда весь (несмотря на объемность описаний государственного устройства и, собственно, теневой «физики») Элизиум сливается в единое серое, смазанное душеное пятно. Тени заседают, принимают законы, ограничивающие перемещение и контакты, живут по этим теньевым невыразительным законам. И, только пробираясь с того света в этот, начинают дышать полной грудью. Самое интересное, что подавляющему большинству теневого народа это вовсе не нужно. И Тень диссидентствующего Ученого, настаивающего на естественном даже для теней праве пользоваться всеми доступными благами жизни, наталкивается на полное непонимание. Как говорил один мультипликационный персонаж, а «нас и тут неплохо кормят». Аллегория очевидна, хотя скорее всего никакой особой политической крамолы Е. Клюев не подкладывал. Если автор и впадает в легкую меланхолию, то это мало касается конкретного политического устройства, но несовершенства мироустройства вообще. Но — что есть, то есть. И, по всей видимости, Москва 1983 года все-таки единственное место российского Элизиума, куда долетали более-менее живые веяния. Не в силу особого витального потенциала, но скорее всего из-за особого центрального месторасположения, обрекающего столицу на роль Розы Ветров. Чем не сюжет — московский роман в петербургском журнале! «— *Ах, вы опя-я-ять о Москве... И чего вы туда постоянно летаете!* — *Хороший город,*— *вдохнула Тень Ученого,*— *один из последних, в котором отдельные люди пока интересуются вопросами о душе*». Значит, как и сто лет назад: в Москву! В Москву!

Существенно в романе отсутствие претензии на какую бы то ни было претензию — человек пишет не для того, чтобы «ученость свою показать», но из-за необходимости от реальности отгородиться, еще один ров вырыть. Сидит себе где-нибудь на кухоньке ночью, курит и в тетрадочке сочиняет Элизиум, Москву, Вечность. Написал и за себя порадовался — молодец, значит. А печатать... Можно и не. Недаром рукопись больше десяти лет где-то в письменном столе пылилась. Мало привязанная к общественной погоде, она (рукопись) могла существовать как бы совершенно автономно. Опыт, полученный при написании, оказался полностью усвоен, сон сотворен и пережит. Чего ж еще ждать от жизни? От литературы?!

Другое дело — роман Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» («Знамя», 1996, №№ 4, 5), написанный хотя и в нарочито дзенбуддистской, «надмирной» манере, но тем не менее являющийся откликом на «жгучие проблемы современности». Не с какой-то там фактической стороны, а как некое виртуальное впечатление от реального состояния, слепок или кардиограмма смятенных наших душ. Не случайно поэтому в основу романной композиции положено строгое чередование глав, где в нечетных главный герой, Петр Пустота, оказывается в 1918 году, а в четных — в самое что ни на есть «нашенское» времечко. Постепенно выясняется, что два эти времени, попеременно возникающие в сознании Пустоты, не что иное, как два сообщающихся сосуда, точной рифмовкой композиции прикрученные друг к другу. Сопоставление беспокойных, революционных по сути времен стало в нашей перенасыщенной пафосом (хоть выжимай) либеральной публицистике («что же будет с Родinou и с нами?!») общим, обкатанным местом. *«Портвейн оказался таким же точно на вкус, как и прежде, и это было лишним доказательством того, что реформы не затронули глубинных основ русской жизни, пройдясь шумным ураганчиком только по самой ее поверхности».* Поэтому метафора, заложенная в основу романа, оказалась бы весьма банальной, если бы Пелевин не догадался совместить два совершенно различных времени (любые аналогии, на которых, как правило, основывают свои выкладки «наши плюралисты», всегда хромают хотя бы потому, что там-то, пусть и в недавнем прошлом, жили и осуществлялись совершенно другие люди!) на территории одного сознания, одного персонажа. Который оказывается соратником Чапая, из-за контузии в бою под Лозовой получившим возможность путешествовать по закоулкам нашего времени. Или, напротив, это наш сосед во времени, страдающий *«раздвоением ложного сознания»*, в своих снах с Чапаевым и Котовским пытается интегрироваться в новую (после революционных преобразований) реальность: самыми яркими оказываются именно те страницы книги, где Пелевин живописует быт красноармейской ставки. Точно это дворянское общество, «английский клуб» или нечто очень близкое к тому. Пустота из 18-го года — классический для «серебряного века» декадент, волей случая оказавшийся в самом эпицентре общественно-политического катаклизма. Его начальники и собеседники — денди из высшего света (и пулеметчица здесь не Анка, но только Анна в длинном черном декольтированном платье), перековывающие себя в свете эстетики победившего «кухаркизма», в духе коллективного подсознательного широких трудовых масс. Отречемся от старого мира внутри себя, будем как все. В том и дело, что нечто подобное переживается и нашими многочисленными современниками, мной и вами тоже. Враз, в один миг, шкала ценностей поворачивается на 180 градусов, социализм, идеи всеобщего равенства приобретают негативные коннотации. И, напротив, капитализм, частнособственнические интересы провозглашаются истинными, вечными, etc. Психологические процессы эти очень легко накладываются друг на друга, поэтому-то так логично их соединение в сознании одного человека. Хотя что такое «сознание» и что такое «время» — никому не известно.

Как раз об этом и ведутся многочисленные споры по обе стороны романа, именно здесь и разворачивается основное «поле сражения» за неокрепшие и слабые умы. Спасение которых — в буддистском признании всего иллюзий, фантазмами возбужденного организма. Для того и нужны две равноправные реальности — сам Пелевин так ни разу и не признается, какое из времен он считает приоритетным, какая из ипостасей главного героя оказывается более важной. Выбор отдается на откуп читателю. Важнее, что все — лишь сон, dreams, точнее даже, сон во сне, компьютерное царство неопределенности и отсутствия. Предлагается еще одна методика излечения от болезни эпохи, от патологической привязанности к социуму, от превратностей периода перехода привычного к неструктурированному. Нужно сделать себя непроницаемым для «социального времени», отгородившись от всего уродливого и чужого, неприятного и непонятного прозрачной стеной сновидений, именно их утвердить в качестве реальности более реальной, чем собственно реальность. В этом смысле роман Пелевина — терапевтическое руководство для уставших от сражений с неуправляемостью перемен, с обреченностью стать перегноем для очередного гипотетического будущего. А где и когда и с кем все это происходит, в сущности, не важно. Тише, Чапай говорить будет: *«А почему все происходящее со мной — это сон? — Да потому, Петька, что ничего другого просто не бывает».*

Пелевин строит традиционную для себя (что дает возможность некоторым критикам обвинять его в «компьютерной бесцветности» или «нарочитой искусственности»), равнодушии и беспристрастности, якобы несвойственных русскому литератору) строго симметричную композицию. Где очень важен момент перехода из одного состояния (времени) в другое, построенного на кинематографическом приеме «монтажной рифмы». Когда сквозь неплотно закрытые границы разных пери-

одов проникают-таки ветерки или ручейки общих тенденций. Пелевин, и здесь он близок к методу Владимира Сорокина, работает при некотором смещении семиотического поля: «крыша» не съехала, но рискованно наклонилась, давая обзор окрестностей под странным, непривычным углом зрения. Закладывая внутри самого письма бомбу абсурда замедленного действия, он, как и Сорокин, все время на голубом глазу делает вид, что ничего особенного не происходит. Что поезд текста движется сообразно расписанию и фабула разворачивается именно так, как ей должно. И никак иначе. Абсурдность, введенная в условия задачи, не вычленяемая в отдельный компонент. Да, странно, но не странней всего того, что происходит здесь и сейчас (или тогда и там)*. Поэтому появление эмблематических персон типа Чапаева и Котовского (Шварценеггера или Просто Марии) не выглядит особенно надуманным, нарочитым. Эмблематичность персонажей важна, что более доходчиво довести до читателя постулаты романиста-идеолога**. Самый верхний, необязательный слой айсберга романной конструкции. Ведь на месте былинных персонажей советского фольклора запросто можно представить какие-то совершенно иные фигуры. Они несомненно достаточны, необходимы, хотя при первом прочтении наиболее сильно бросаются в глаза: слишком уж велик зазор между поведением героя (Чапай в жизни или в романе) и более привычной репутацией трикстера (Чапаев или Просто Мария как герои анекдота). Странно, что критическое обсуждение романа Пелевина свелось к обсуждению фигуры Чапаева, с которым все как бы ясно. Установка на занимательность (Пелевин явно стремился написать интеллектуальный, но бестселлер) зиждется на узнавании, на соотношении с внутренним читательским опытом, в котором, несомненно, Чапаев и Анка-пулеметчица занимают весьма почетное место.

Здесь на «как бы» пародийном, чапаевском уровне куда более важной видится проблема Розенкранца и Гильденстерна. То есть возможность апокрифа, трактуемого известного, навязший в памяти сюжет совершенно по-новому. И потому открывающего практически бесконечные возможности для интерпретаций и прочтений. Степень условности, придуманности возрастает на порядок. Значит, человеку, который все это затеял, действительно удалось «синтезировать пустоту», выполнив заветы легендарного комдива, максимально используя галлюциногенные возможности, которые дает художественное творчество. Особенно при написании большого романа.

Самым значительным (по объему) текстом последнего времени, опубликованным в литературной прессе, оказывается роман Валерия Исхакова «Екатеринбург» («Урал», 1995, №№ 1, 3, 4, 9, 10/11; 1996, №№ 1—4), печатание которого еще не завершено. Тем не менее первые две книги эпопеи дают повод для критического осмысления. Читать «Екатеринбург» сложно хотя бы потому, что «Урал» выходит с переборами, крайне нерегулярно. Да и тираж его минимален. Между тем перед нами действительно эпическое (если и есть в моих словах ирония, то весьма незначительная) полотно, призванное синтезировать некий отсутствующий в большом городе метатекст. Екатеринбург эмансипировался, значит, до такой степени, мясо культурного слоя narosло до такого состояния, когда можно все-все-все собрать под одну обложку, провозгласив начало нового, осмысленного существования. Отдельные обрывочные попытки не в счет***, здесь важна именно текстуральная масса, не мытьем, так катаньем способствующая разветвленному мифопостроительному усилию. Все, что было до, не считается, но все, что здесь, в тексте, как и положено в

* Разница между приемами В. Сорокина и В. Пелевина незначительна и, условно говоря, может напомнить расхождение в поэтиках двух королей западного театра абсурда, Э. Ионеско и С. Беккета. Если первый использует противоречия внутри самого письма (и абсурд достигается за счет нагнетания языковых несостыковок), то второй доводит до абсурда странную, необъяснимую логику развития самой ситуации, экзистенциальной или бытовой. То есть разница здесь — между использованием «внутренних» или «внешних» ресурсов абсурда.

** Представим, что Пустота попал в Заколдованный Лес к Винни Пуху или в компанию героев какой-нибудь «Молодой гвардии», что по большому счету изменится?

*** В новом уральском «процесс-журнале» «Несовременные записки» уже была предпринята попытка описать эйдосы некоторых уральских городов. За Екатеринбург ответственвал В. Курицын: «Мегаполис — это не просто размер, не диаметр карты и не количество высотных зданий на душу населения, мегаполис — это особого рода самоощущение. А именно: ощущение себя как города, больше ориентирующегося на свою логику и ритмику развития, нежели на соотношенность с текущей географической идеологией. Город, существующий прежде всего сам по себе, а не на фоне и не в связи с извечной российской оппозицией «столица — провинция». Город, в котором есть все — свои столичные районы и своя провинция, инфраструктура достаточно подробная, чтобы всякий чужак со странной профессиональной ориентацией мог найти в ней свое место, и достаточно большая, чтобы в нее влезли не только все, но и всё...»

случаях с основополагающими книгами, обречено на многочисленные перетолкования и апокрифы.

Кстати, о снах. Их в качестве исходного строительного материала Исхаков обнаруживает уже в первой главке, подробно описывая идею будущего романа. *«Вот уже более 270 лет длится этот сон, похожий на сон, непохожий на сон, и уже никто не в силах отличить сон от реальности, и реальность кажется порой фантастичнее сна, сон же — проще и будничней реальности. И жители никогда не существовавшего Екатеринбурга настолько утвердились, уверились в реальности своего существования, что так и продолжают жить, плодиться, размножаться самостоятельно, независимо от воли породившего их некогда сновидца...»* Вообще текстам В. Исхакова свойственна повышенная саморефлексивность, когда посреди бела дня буквально сразу выбалтываются и фабульные «воп нот», и авторская сверхзадача. Сам себя не похвалишь — значит, ходить до финала (а он ох как еще далеко) оплеванным. Поэтому автор развивает устами уже другого героя тему города-сна дальше. *«Я так и вижу эти черно-белые, как бы просвечивающие насквозь кварталы... а потом, в конце фильма, все вдруг проявляется, появляется цвет — и мы видим Екатеринбург, но только не нынешний, не такой, каким он стал за семьдесят лет Советской власти, а настоящий, бесследно исчезнувший, провалившийся сквозь землю с приходом большевиков. Вроде подводного — или, если хотите, подземного — града Китежа... Богатая идея, поздравляю».* Роман В. Исхакова как бы и должен проявить истинное лицо города, реконструировать душу, отмыть ее от случайных наслоений, накипи лет...

Первая сцена, где творческая интеллигенция города (основной поставщик разнокалиберных персонажей: это и есть метафора города?!), в полупьяном бреду обсуждает возможность такого замысла, вдруг резко сменяется описанием некоей библиотеки, в которой служит некий горбун (зачин исхаковского романа таков: *«— Если внимательно, но не слишком придирчиво посмотреть на план города, то при некоторой доле воображения можно разглядеть в очертаниях городских кварталов фигуру горбуна...»*).

Сначала писатели и кинокритики, затем гигантская библиотека со своим особым климатом и персонажами. Все полно значения, все (неужели название романа задает такую инерцию ожидания?) тянет на полноценные символы и метафоры, впрочем, когда начинается сама «история», истончающиеся. Никакой особенной топографии, контекстуального ландшафта, только люди, люди, лица. Оно и правильно: главное наше богатство — это мы сами. И Екатеринбург здесь не исключение. Гигантское количество действующих лиц, чья идентификация, должно быть, доставляет свердловчанам (пardon, екатеринбуржцам) много веселья, за пределами города не прочитывается. А народу становится все больше и больше, каждая глава (есть в этом что-то полузабытое: «глава 22, 23, 24...») норовит расширить круг знакомств, что тянут за собой все новые и новые обстоятельства. Как круги по воде — «Екатеринбург» не по аналогии с «Петербургом» А. Белого, где все идет как бы вглубь, но скорее с гирляндой «Санта-Барбары», в которой увеличение парка рабочих персонажей обозначает экстенсивную возгонку сюжетных вооружений. Ну и в соответствии с законами жанра «мыльной оперы» всевозможные тайны, наследства, спасительная вакцина, незаконнорожденные найденьши и прочий к ним примкнувший антураж. *«Старичок с крестиком обернулся не призраком, не двойником деда Михаила, а его родным братом Иваном Владимировичем, и вслед за ним тотчас протянулась бесконечная цепочка родственных связей, опутавшая Кира по рукам и ногам, и начало биографии, так удачно сведенное к нескольким ничего не значащим строчкам, стало на глазах чудовищно разрастаться и расплываться во времени и пространстве, отводя ему, Киру, очень скромное, едва заметное местечко на одной из второстепенных ветвей генеалогического древа».* Короче, мистика без тайн, все чудесное имеет самое тривиальное объяснение. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым. И тогда к концу текста все станет на свои места.

«Екатеринбург» явно балансирует на границе с пародией. И если откровенно в нее не скатывается, то лишь потому, что сам романист толком еще не решил — нужна ли ему эта дополнительная краска. А все дело в том, что роман существует, как говорят компьютерщики, в «режиме реального времени»: публикация его продолжается по мере написания очередных кусков. То есть Исхаков живописует самую что ни на есть реальную реальность. К которой нет и не может быть отстраненного, дистанцированного отношения, окрашенного теми или иными коннотациями. Буквализм программно заявлен в названии: что нам стоит дом построить? Нарисуем — будем жить.

Это только спокойная, стабильная жизнь располагает к чтению толстых книг. Жизнь становится все более и более динамичной. Если начало перестройки совпало с гигантским ростом тиражей литературных ежемесячников, то затем, немного погодя, приоритет формирования актуального контекста постепенно перешел к газетам. Что признают, кажется, почти все.

Установление нового романного «стандарта», который лишь изредка нарушают тексты-переростки вроде рассмотренных в этой статье, становится возможным еще и потому, что все более или менее существенное, достойное внимания очень скоро выходит отдельными изданиями. Книготорговля успешно освоила формы «пocket-бука» и всевозможных экспресс-публикаций, хоть и не дешево, но действительно сердито. Технологический процесс появления таких книжечек значительно проще и оперативнее аналогичного цикла в литературных журналах. Монополия традиционных «толстяков», безотказно действовавшая многие годы, постепенно уходит в прошлое. Хотя, с другой стороны, именно публикация в толстом ежемесячнике позволяет роману адекватно участвовать в общекультурном процессе. Можно сколько угодно ворчать на традиционные доблести, обвинять «толстяков» в устарелости или ненужности. Но именно кровеносная система живого журнального организма, регулярность, с которой он выдает новые и новые тексты, обеспечивает нашей литературе *единое информационное пространство*. Наиболее трудно сейчас на самом деле не критикам и тем более не читателям — основная тяжесть лежит на скромных редакционных сотрудниках, выковыривающих из груды словесной руды полноценные тексты. Понятен дефицит «больших форм» — их много никогда ведь и не было. А сейчас тем более. Истончение истончением, но вдвойне важно не идти на поводу у всеобщей энтропии, как только можно противостоять ей, противопоставляя полноценные прозаические публикации. Не пытаться соответствовать раз и навсегда заведенной сетке жанров, но мобильно подстраиваться под нужды процесса. И тогда наверняка вдруг заплывут облака над литературным Олимпом. И придет новый Пушкин, и явится Гоголь со своей натуральной школой, а за ними и Достоевский с Толстым, чьи романы, ей-ей, запечатать в один номер целиком никто не сумел бы. И навеют они тогда на все подуставшее человечество новый-новый сон, золотой-золотой.

Верю, ждет нас удача.



Вячеслав КУРИЦЫН

О классовых интересах

Один мой знакомый написал дамский роман. Думал: деньги получит, думал еще: хорошая шутка — быть автором розового романа, еще думал: интересно в конце концов испытать свои профессиональные умения, сделать чистый жанр (как говорят в редакциях, куда приходят бедные писатели с желанием сочинить что-нибудь коммерческое за деньги. «Только, — говорят, — пожалуйста, без постмодернизма»). Все эти удовольствия он получил, как и предполагал. Но одно удовольствие получил сверх плана. Обнаружил, что запросто передал героям свои самые интимные чувства и описал самые-самые тайные случаи из своей жизни, о которых ни разу не заикался и даже думать себе запрещал. И, конечно, сочиняя, ничего такого в виду не имел — просто гнал листаж и сюжет. А оно в текст пролезло. Само. «Вот, — говорит, — теперь я буду знать, чего стоят слова писателей о том, что того-то и того-то в виду не имели».

Опыт — штука мало того что великая, но еще и структурообразующая: от опыта деться некуда, как фрейдовому пациенту от детского воспоминания о том, как две кошки в огороде ловили рыбу — в ржавой бочке, наполненной квакающей дождевой водой.

Не бывает, как теперь уж всякому понятно, непротиворечивых теорий. Что-то вроде правды можно сказать на уровне факта (Тургенев умер в 1889 году), но любое следующее высказывание категорически сомнительно. От чего именно умер — можно спорить до бесконечности. Уж тем более — о трактовке романа «Отцы и дети». Высказывание корректным никогда не бывает.

Но интересно думать о способах — нет, не уменьшения некорректности (тут плохо с количественностью: уменьшение, увеличение, непонятно...), а ее концептуализации. Делает филолог Мышкинц сообщение в ИМЛИ о том, что тяга Базарова к Аркаше имеет характер, во-первых, противуестественный, а во-вторых, таким-то и таким-то именно образом противуестественный. Ясно, что любое спокойное научное сообщество (если оно только не лаборатория постклассических исследований института философии) признало бы эту концепцию некорректной, хотя и не особо странной: филологи много бог знает чего пишут. Но может быть форма, в которой такая версия прозвучит адекватно: исследователь должен описать себя как субъекта, которому было естественно породить такую теорию. Много попадалось в последнее время текстов на эту тему: встретился со студенческим другом, решил попробовать написать что-то в новой методике, а эта методика как-то располагает...

Чуть ниже будет приведен полностью текст, который я не решился публиковать без предъявления контекста. Сначала о контексте.

Во-первых, у меня давно пылилась идея написать о жанре «писатель о критике». Писатели периодически выражают недовольство критиками. А журналы и газеты, в которых работают чаще именно критики, почему-то позволяют писателям это обнародовать, что совершенно неправильно и с онтологической, и с классовой точки зрения. Пусть писатели создают специальный журнал для ругать критиков, если им мало для этого буфета ЦДЛ. Но я долго не мог найти формального повода для такого текста — недосуг писать «вообще». Поэтому статья Татьяна Рассказова в газете «Сегодня», где поднималась тема неуважительного отношения интервьюируемых к интервьюирующим, оказалась для меня желанным поводом, тем более еще и таким, что позволял расширить литературную тему до общекультурной — до отношения интеллектуалов с так называемыми мейкерами вообще.

Во-вторых, сама актуализация классового подхода была спровоцирована, помню, июлем месяцем текущего года и именно российской ситуацией. Выборами.

Избирательная кампания напомнила, что политика — вещь интересная, я стал вспоминать, что именно думал о политике в последний, скажем, год и вспомнил, что собирался стать адептом классового подхода. Коли уж выяснилось, что всеобщего счастья не будет, следует, дескать, думать о судьбе своей референтной группы, а не о шахтерах, например, рассматривая необходимость давать им права не из общечеловеческой перспективы, а из практических польз: чтобы на улицы не выходили, стекло не били. Потому я и решил сообщить миру, что критики «главнее» писателей из классовых, групповых соображений (хотя и так ясно, что главнее; мне в моем нижепоследующем тексте нравится формула «какое превосходство не только глупо доказывать, но и смешно отрицать»).

В-третьих, я люблю писать добрые слова про всяких разных людей и давно хотел написать что-нибудь доброе про Татьяну Рассказову и Валерия Панюшкина (про Шеповала я только слышал, что он хороший, но мало читал: решил сблефовать, что знаю). Писать доброе выгодно: и для души, и для дальнейших отношений с объектами.

В-четвертых, сама мысль об интеллектуалах — то есть об интерпретаторах — есть мысль очень длинная. Это мысль о рефлексии, а механизм рефлексии — если его серьезно запустить — можно остановить только специальным усилием. И текст об этом механизме, в общем, должен быть бесконечным. Тем более что в данном случае имела место некоторая катализация механизма, о природе какой катализации здесь рассуждать просто нет возможности. Благодаря именно «в-четвертых» ваш покорный слуга откинулся от киборда, обнаружив, что написал уже больше трех страниц (если считать в машинописных), а до сих пор идет одно предложение. Следует также оговориться, что у меня никогда не было *специально осознанной* (см. о неловкости таких высказываний первый абзац) потребности написать статью из одного предложения. Она получилась сама. А второе предложение добавил в конце уже я.

Разумеется, я только в самых первых и случайных чертах наметил, какое изъяснение контекста должно бы окружать всякий претендующий на адекватность текст. Конечно, оно могло быть существенно больше, занимать десять страниц или том, или пятьдесят томов, но есть как минимум ограничения на объем сочинений этой рубрики: пятьдесят томов не напечатали бы. Потому я прекращаю изъяснение, надеясь, что смог хотя бы намекнуть на важность поднятой здесь проблемы.

Нижеследующий текст не дается курсивом, чтобы не затруднять и без того несладкое его чтение. Некоторые сложности я испытал с заключением его в кавычки. Кавычки значили бы просто цитату из самого себя: гляньте, что я сочинил. Цитировать же себя как-то не всегда хорошо.

Появление в газете «Сегодня» заметки Татьяны Рассказовой «Нубуковский Карлсон» представляется примечательным не только по той причине, что перед нами едва ли не первый «рассказ-о-своей-работе», опубликованный человеком, о ком многие журналистские люди говорят как о лучшем российском интервьюере «про культуру», — эту версию мне подтвердить сложно, поскольку наличествуют реальные проблемы со словоупотреблением типа «лучший» и потому еще, что я не окончательно хорошо знаком с предметом: могу лишь признать, что Рассказова — один из любимых моих интервьюеров наряду с Сергеем Шеповалом и Валерием Панюшкиным и что мне всегда было любопытно заглянуть, как это правильно говорилось при прошлых коммунистах, в ее творческую лабораторию, и заметка с по-«сегодняшней» слишком художественным заголовком и по-«сегодняшней» слишком неточным подзаголовком («Актерское агентство «Макс» осуществляет монополию на опекаемых им артистов»), что не является критикой такого средства означивания, но подчеркиванием его особенностей, а если и критикой, то не в части метода, а в части сугубейшей эмпирики, дает, пусть и не слишком щедро полагаю поле применимости этого библейского глагола, такую возможность, в результате не вполне удовлетворяющую в части разрешения проблемы упоминавшегося выше любопытства, но удовлетворяющую другому, уже по ходу рассуждения внедряющемуся любопытству: станет ли будущая к середине следующего столетия мемуарная книга Т. Рассказовой делать упор на любопытство читателя к метакритическим сообщениям интервьюера, а стало быть, на культурологические и методологические экзерсисы, или же она предпочтет стилистику интересного рассказа, цитаты и аллюзии в котором проявляются как символизация, а не культурологизация сюжета, тем более что опыт такого рода в качестве описываемой заметки нам уже дан — не то чтобы мы считаем такого рода опыт решающим, а скорее подозреваем сознание в том, что оно склонно полагать решающим опытом лишь тот, что кажется первым (если первичность тут не является простым синонимом актуальности), а потому статуйрование себя в качестве субъекта, способного логически разрешить вопрос о подходящести для Т. Рассказовой одного из двух стилей мемуарного письма, является операцией сугубо мистической: под логикой здесь имеется в виду умение остано-

вить нагнетание степеней рефлексии, — но и тем, что там актуализируется в качестве осознанной внутрипрофессиональной проблемы проблема сугубо, казалось бы, этическая — взаимоотношения между разными подклассами внутри класса интеллектуалов, что может быть мыслимо как приходящее в некоторое противоречие с тем историческим фактом, что в результате горбачевской перестройки и постмодернистской агитации в известной среде прямое суждение, выполненное в этическом дискурсе, стало интуитивно полагаться менее желательным, чем непрямым суждение (хорошо, если еще само в себе не описывающее собственную противоречивость: пошлая фигура, от которой оказалось удивительно тяжело избавляться, в том числе и мне), а, стало быть, автор, убедительно позволяющий себе ненарочито не обращать внимания на недавнюю моду, ведет диалог с одной не слишком еще тривиальной и, во всяком случае, не до конца ведомой мне степенью свободы, что традиционно или так уверенно, что позволяет быть определяемым через «традиционность», вызывает некоторую цеховую ревность и побуждает несколько расширить спектр обсуждения интересной тебе темы — но вовсе не из-за того, что она тебе интересна, а из желания не уступить коллеге, — так сказать, не уступить в общем, в целом, но всякое конкретное уступание ревнуя и готовя ответ в расширенном или измененном просто контексте: например, уточняя тему разговора как имеющую касательство к той линии гуманитарных дискуссий, что не отвергают следующий тезис: дескать, отношения между интервьюерами и интервьюируемыми могут быть сопоставлены с отношениями критика с писателем (режиссером, художником) и определены как отношения больше-собеседника-интерпретирующего с меньше-собеседником-интерпретирующим, — сам по себе этот тезис не вызывает ментального дискомфорта — потому, что прикидывается как раз откровенно ментальным, — но способен вызывать некоторую метеорологию негодований после того, как будет эксплицирована его классовая (оставляем истории право метафоризировать даже такие научные слова, как «класс») природа: таким образом класс интеллектуалов пытается отделить себя от класса творцов — такие попытки предпринимались всегда, но читались как маргинализация их субъектов (чистых гениев, художников-авангардистов), в то время как сейчас отделение интерпретаторов от интерпретируемых может происходить с гордыми победительными знаменами, даже и с чувством исторической победы (понятие, в котором всегда изрядный объем значения занимает реванш), — но это отделение происходит и с другими, даже более существенными эффектами: когда начинается классовое самоосознание, начинается дробление братьев по классу по степени вовлеченности в классовую саморефлексию, а потому те свои, что — вследствие, конечно, нескольких объективизаций, в том числе и оголтелых — полагаются наносящими вред хотя бы и через отсутствие поддержки (желательно активной), подвергаются излишней и иногда нервно высказываемой нелюбви: так (если брать пример обратный рассказовскому, а некоторая обратность может быть обеспечена не только дурной склонностью заигрывать с симметрией, но и простой невозможностью предпочесть одно из двух, а потому все равно предпочитающего одно), следует порицать газеты и журналы, предоставляющие свои страницы прозаикам, поэтам, драматургам (то есть всем и всяческим некритикам) с целью выражения негативного или агрессивного отношения к критикам, ибо такого рода жанр вызывает неумеренное омерзение по двум, во всяком случае, причинам: из полагаемой в качестве прогрессивной (скорее в качестве лукаво актуальной) уверенности в интеллектуальном превосходстве критиков над писателями, каковое превосходство не только глупо доказывать, но и смешно отрицать, а также и потому, что средства массовой информации принадлежат интерпретаторам, а не творцам, и нужно каждый раз вставать горой, когда творец пытается быть неуважительным к интерпретатору так же, как пресса как целое встает горой всякий раз, когда государство пытается не уважать прессу, а не давать очередному гению или ворчуну, настоящему или прошлому (или, пошутим, будущему) начальнику, несущему бог весть что по поводу мировой души, права выражать сомнения не только в преимуществе (на меня, например, постоянно ругаются где ни попадя люди, о которых я ровным счетом ничего не знаю, вызывая у меня глубокое недовольство тем, что тираж моих сочинений всегда вынужденно велик и не ограничивается теми, кому почти лично они адресованы, а такое неудовольство есть чувство элитарное и потому противное), но иногда и в самом дискурсе тем, кто предпочитает интерпретацию «творению», взятому здесь в кавычки не как в средство обиронивания, а как елочная игрушка берется в вату.

В конце концов существуют же классовые интересы.

Виталий ПУХАНОВ. ДЕРЕВЯННЫЙ САД. «Новая юность», М., 1995.

Как возникает в поэзии новое имя? Мы этого не знаем; нам известно лишь, что всегда было и есть понятие, явление Традиции, и Традиция эта питается в сгустках пронизывающих поэзию мнений, исходящих от самих поэтов, словно получивших право «апостольской преемственности». Это рукоположение таинственно, происходит как бы по воздуху: поэт случайно обнаруживает в своих же собственных стихах некоторое движение к Традиции, с удивлением замечая, что его творческое, почти всегда болезненное переживание есть всего лишь одна из теней «образа будущего века» поэзии.

Конечно, рядом с подлинной поэзией встречается явление более простого порядка, художественное младостарчество — поэты, сами «рукополагающие» себя, добровольные аскеты в отношении поэтического вкуса. Такие быстро проникают в литературу, хорошо понимая, что именно мешает этому — только исключительная самобытность затрудняет художнику путь. Все те раны, которые мог бы нанести им административно-редакционный аппарат, формирующий поэтические вкусы так же неожиданно, как создается мода в одежде, они заранее добровольно и сознательно нанесли сами себе. Такой отказ от самобытности — «преемственность» на их языке. Считая себя истинными последователями Давида Самойлова, они оставляют без внимания его весьма примечательные строки («Рукоположения в поэты // Мы не ждали. И старик Державин // Нас не заметил, не благословил...»).

Определение творческой, самобытной традиционности в поэзии, кажется, и кроется в книге Виталия Пуханова «Деревянный сад» — название настолько характерное для наших дней, что, открывая книгу, мы сразу же встречаем его отголосок: первая часть названа «Мертвое-живое». Здесь с первых строк начинаешь понимать, что Традиция — это не следование поэтическому духу времени, не игра с негласными законодателями литературных мод. Истинная Традиция — это послушание:

Чем больше в полях высохало колодцев,
Тем меньше боялся я жажды и зноя.
Тем больше любил я безумных уродцев,
Прозвавших поэзию влагой земною.

Чем меньше я плакал, боялся, молился,
Тем больше терял дар обиденной речи.
Я видел поэтов продрогшие лица,
Прекрасные лица, но не человечьи.

Они открывались случайно, однажды,
Мне стало не важно, что будет со мною.
Чем больше они умирали от жажды,
Тем меньше боялся я жажды и зноя.

В послушании монашеском воля человека умирает. Умирает, собственно, и он сам. Не будет открытием сказать, что в поэзии вдохновение и мастерство — часто взаимоисключающие явления. Я могу ошибаться в своем предположении, но мне кажется, что Пуханов сам часто указывает на эту тему, иногда делая ее главной, в своем «Мертвом-живом» своеобразно связывая ее с Традицией:

Лес отшумел, как поколенье,
И поминать его не станут.
Но по реке плывут деревья
И за собою корни тянут.

Они уже срослись в деревни:
Кто стал колодцем, кто избою,
Но все плывут, плывут деревья
И корни тянут за собою.

То, что наша жизнь бывает лишена светлых сторон, конечно, тоже не открытие: чаще всего «эзопов язык» в поэзии указывает именно на это, постоянно обновляя и освежая болезненные краски, словно работая над воссозданием некой «иконы мира». Действительно, видя развитие поэзии от ее классических форм к Серебряному веку и постмодернизму, мы наблюдаем переходы от вдохновенной творческой печали, лирики к астении, от астении к каким-то «художественным расстройствам личности». Тематика все более отрывается от реальности, в то время как само творчество приближается к ней вплотную на подсознательном уровне. И если искусство всегда почти оперирует вымышленными понятиями, то в заявленном выше парадоксе мы можем проследить эволюцию от романтического поиска того, чего нет в

жизни, до постмодернистского «того, что есть», где жизнь сама понимается как вымысел.

Вседозволенность, декларируемая поэтами начала века, и произвол в конструировании своих супермиров в поставангарде нашего времени тождественны. Некоторые отблески этой «вседозволенности» можно наблюдать и в «Деревянном саде». Среди этих странных декораций, «идолов народов — дерева, серебра и золота, дел рук человеческих», Пуханов выглядит каким-то режиссером поневоле («Ты гуляешь, как мертвый // В деревянном саду // В девяносто четвертом // Не последнем году»), потому и пишет «со властью», свойственной «гражданину Серебряного века», потерявшему вдруг надежду на апокалипсический исход, но невнимательно прочитавшему сам «Апокалипсис св. Иоанна Богослова». Отсюда и художественные диспропорции, крайности: эгофутуристическая надменность, маршевый строй некоторых стихов (например, «Мы жили в суетном дому...» сплошь состоит из железных ямбов и мужских рифм); почти прямое нарицание себя «истинным арийцем», а следовательно, жестокое обращение с живой художественной материей, словно в поэзии существует естественный отбор... Это можно видеть еще у Гумилева, но последний действовал именно в живом, а не декоративном мире, отчего и был к нему более милосерден. Гумилевская стрела, пущенная в Солнце «в пьяном счастье, в тоске безотчетной», и тяжелые, безапелляционные глаголы Пуханова, совершенно сознательно пытающегося погасить и разрушить тягостную декоративность, почти несопоставимы. Претензии на некоторую смысловую власть, нарочитая небрежность в стихосложении — конечно же, явные недостатки «Деревянного сада». Но ведь современная Традиция не просто попытка вернуться к классике. Поэтом и объектом творчества Виталия Пуханова становится не искание идеальных классических форм, не создание собственных «новых миров», а поиск выхода из художественных галлюцинаций в ясную природу реального мира, где не возбраняется никакое болезненное переживание. Оно исходит от мира *сущего*, и сам поэт помещается в этот мир.

Меня отстреляли — и я понимаю траву:
Ни боли, ни раны.
Но, кровь проливая, зачем я так странно живу,
Зачем я так странно...

Но, кровь проливая, зачем я так странно живу —
Свой цвет обретает.
Уже различаю, как кровь покидает траву
И жук отлетает.

И жук отлетает, и кровь покидает траву,
Едва умирая.
И ты понимаешь, зачем я так странно живу.
И я понимаю.

Искаженность мира — явление объективное, а никак не плод художественного воображения. «Мир во зле лежит», и его театральная изнанка — авангардные мистерии и перфомансы; но существует же и его собственное лицо, часто не внушающее доверия. Если выше говорилось о Традиции как о послушании, то теперь можно добавить, что послушание имеет свои вериги, и здесь это — терпение, мучительное переживание поэтом иной реальности искаженного мира. Он может ранить человека смертельно. И трагическая жажда самоутешения поэта («...Но мертвое и мертвое-живое // Заступятся за мертвого меня...») преобразуется из классического желания выразить прекрасное в желание Традиции утешить и примирить.

Не балансирование на грани бытия и небытия, а именно совмещение их в себе, постоянное ношение в своей душе этого тяжелого сплава (если под «небытием» понимать также всякую ложь, маску) и вяжутся, по существу, *веригами послушания*. В некотором роде это творческий подвиг, это путь достаточно узкий и небезопасный, чтобы выражать в нем только свои амбиции и художественные вкусы.

Все, что я писал, не является мыслями отвлеченными — это мысли о Виталии Пуханове как человеке, устроенном особым образом. «Рукоположение в поэт» наступает действительно неожиданно, как об этом и написано у Самойлова, и отчасти — против воли. Это всегда компромисс между чистотой творческого переживания и подмененностью того явления, с которого пишется стих, между мастерством и вдохновением. И если художнику труднее запечатлеть яблочную ветвь, нежели обычное гипсовое яблоко, то поэту труднее описать розу, плывущую в грязном потоке де Сада, чем ее благоухающий аналог...

Между тем в восприятии поэзии акцент переносится с поэта как явления на *явленность* его стихов. Современное чтение поэзии похоже на гадание: непредсказуемость образа не очень приветствуется, но завораживает... Традиция оказывается внутренне противоречивой и, уйдя от «метаметафорических» построений, сама становится явлением не до конца осозанным и ясным, почти что метафорой.

Денис ВИНОГРАДОВ

Содержание журнала «Октябрь» за 1996 год

ПРОЗА

<hr/>	
АНАНЬЕВ Анатолий. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Версии, основанные на исторических свидетельствах, фактах и документах. Книга вторая.	
IX	3
X	49
БУЙДА Юрий. Рассказы	
VII	3
БЫЛИНСКИЙ Валерий. Июльское утро. Повесть.	
XI	46
ГОРЕНШТЕЙН Фридрих. Куча. Повесть.	
I	70
ГОРЕНШТЕЙН Фридрих. Летит себе аэроплан. Свободная фантазия по мотивам жизни и творчества Марка Шагала.	
VIII	3
IX	89
ДЫШЕВ Сергей. До встречи в раю. Роман.	
II	3
III	13
ЕВДОКИМОВ Николай. Ольга Александровна. Рассказ.	
IV	112
КАНТОР Владимир. Крепость. Роман.	
VI	3
VII	18
КРАКОВСКИЙ Владимир. Татьямба. Рассказ.	
X	145
ЛЕВИТИН Михаил. Чушь собачья. Повесть.	
XII	81
МЕЛИХОВ Александр. Торжество Правды. Повесть.	
XII	62
МОРДУКОВА Нонна. Записки актрисы.	
II	126
НАЙМАН Анатолий. Славный конец бесславных поколений. Главы из книги.	
XI	3
Новые имена. БОГДАНОВА Светлана, КАЗАРИНОВ Василий, СЕРГЕЕВ Слава, ХАФИЗОВ Олег, ШАРАПОВА Маргарита	
XII	3
Облачение теней. Хорхе Луис БОРХЕС, Октавио ПАС, Хулио КОРТАСАР. Вступление и перевод с испанского Павла Грушко.	
II	73

ОЛЬШАНСКИЙ Иосиф. Человек в черном смокинге. Рассказ.	
VIII	118
ПАВЛОВ Олег. Конец века. Соборный рассказ.	
III	3
ПЕРЕМЫШЛЕВ Евгений. Сентиментальное путешествие.	
VIII	43
ПЕТРОВ Григорий. Мать Кирсана-плотника. Повесть.	
V	20
ПЕТРУШЕВСКАЯ Людмила. Маленькая волшебница. Кукольный роман.	
I	3
ПЕТРУШЕВСКАЯ Людмила. Простые и волшебные сказки.	
IV	3
ПЕТРУШЕВСКАЯ Людмила. Непогибшая жизнь. Рассказы.	
IX	68
САНАЕВ Павел. Похороните меня за плитусом. Повесть.	
VII	54
САПГИР Генрих. Два рассказа.	
XI	103
СИДУР Юлия. Пастораль на грязной воде. Повесть.	
V	41
IV	96
СМОКТУНОВСКИЙ Иннокентий. Меня оставили жить. Повесть. Подготовка текста и публикация С. М. Смоктуновской и М. И. Смоктуновской.	
X	3
СМОКТУНОВСКИЙ Иннокентий. Быть! Главы из книги. Подготовка текста и публикация С. М. Смоктуновской и М. И. Смоктуновской.	
XII	119
СЭЛИНДЖЕР Д. Д. Рассказы. Вступление Алексея Зверева. <i>Перевод с английского М. Макаровой.</i>	
IV	132
ТАРАСЕВИЧ Игорь. Один вечер в Сан-Диего. Пьесы для чтения.	
I	104
ТОКАРЕВА Виктория. Система собак. Рассказ.	
III	58
УРУСОВА Марина. Рождественская сказка.	
VI	88
ФАЙБИСОВИЧ Семен. Рассказы.	
VI	99

ФАЛЬКОВ Борис. Два рассказа.	
VII	129
ХАЗАНОВ Борис. Рассказы.	
V	70
ЭДЛИС Юлиу. Записки неоттепы.	
III	74
ЮРСКИЙ Сергей. Теорема Ферма. Рассказ.	
II	115

ПОЭЗИЯ

<hr/>	
АРЕФЬЕВА Ольга. И после смерти петь...	
XI	100
БЕШЕНКОВСКАЯ Ольга. По ту и эту сторону.	
IX	86
ВАНШЕНКИН Константин. В былое спуск всегда отлогий.	
VII	14
ВИНОГРАДОВ Денис. Сквозь вербную лестницу...	
IV	109
ВИТУХНОВСКАЯ Алина. Не вовремя и назло.	
VI	96
ВОЛЬТСКАЯ Татьяна. Друг в друге заблудясь...	
II	124
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир. Страницы быта.	
IV	38
КРУТИЛИНА Вера. Бисерная буква.	
XII	117
КУБРИК Алексей. Зеркало звука.	
VIII	115
КУЧКИНА Ольга. Из дыма и света...	
III	55
ЛЕОНТЬЕВ Александр. Пять стихотворений.	
II	70
МАКСИМОВА Светлана. Пять стихотворений.	
VII	50
МОРЕЙНО Сергей. Берег памяти.	
I	101
МОРИЦ Юнна. Бу и Гря.	
V	3
НАЙМАН Анатолий. Змейка чернил.	
I	63
Новые имена. Стихи уральских поэтов: Нина ЯГОДИНЦЕВА, Андрей САННИКОВ, Юрий КАЗАРИН, Роман ТЯГУНОВ, Владислав ДРОЖА-	

ЩИХ, Антон КОЛОБЯНИН, Виталина ТХОРЖЕВСКАЯ, Николай БОЛДЫРЕВ. Вступление Виталия Кальпида.

XII 56
ПЕРЕЛЬМУТЕР Вадим. **Новые стихи.**

VIII 38
ПОЛИЩУК Дмитрий. **Четыре песенки.**

III 9
ПОМЕРАНЦЕВ Игорь. **Свобода цвета.**

VI 86
ПУРИН Алексей. **Пять стихотворений.**

XI 43
ПУЧКОВ Владимир. **Морозный узор языка.**

XII 79
ТКАЧЕНКО Александр. **Меж двух начал...**

X 47
ЧЕРЕШНЯ Валерий. **Пять стихотворений.**

IX 132

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

БАТКИН Л. М. **Время в России отстало от Сахарова.** К 75-летию со дня рождения А. Д. Сахарова.

V 150
ВОЛКОГОНОВ Дмитрий. **Маршал Ворошилов.** Вступление Анатолия Ананьева.

IV 158
ГОРЧАКОВ Марк. **Дачные забавы.**

IX 166
ДЗАРАСОВ С. С. **Что же с нами происходит?** Экономико-философские раздумья.

VIII 153
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Евгений. **Хирургия повседневных катастроф.**

VII 156
КАНТОР Владимир. **Лишенные наследства.** К проблеме смены поколений в России.

X 161
КАРА-МУРЗА А. А., ПАННАРИН А. С., ПАНТИН И. К. **Духовный кризис в России: есть ли выход?**

V 155
КАРДИН В. **Тень забывает свое место.**

VI 154
КОШКИН Владимир. **Инстинкт веры, или Чего жаждут боги.**

VII 139
МАРЧЕНКО Григорий. **От кризиса к стабилизации: дальнейшая судьба реформ в России.**

II 160
МАРЧЕНКО Григорий. **Политический ландшафт России.**

IV 148

МОЖАЕВ Борис. **Земля и поля.** Нижегородские заметки. Вступление Людмилы Сараскиной.

V 166
НИКОЛЬСКИЙ С. А., доктор философских наук. **Россия, год 2000: конец крестьянства?**

I 147
Г. ПОМЕРАНЦ. **До полной гибели всерьез.**

XII 151
СКВОРЦОВ Алексей. **Достоевский и Ницше о Боге и безбожии.**

XI 142
СКВОРЦОВ Л. В., доктор философских наук. **Возвращение эзотеризма?**

III 157
ТИХОНОВ В. А., академик. **«...Я давний и убежденный рыночник».** Предисловие Николая Шмелева. Публикация Ю. Е. Тихоновой.

XI 130
ШЕРДАКОВ В., доктор философских наук. **По законам нравственности.**

VI 141
ЭПШТЕЙН Михаил. **Постатеизм, или Бедная религия.**

IX 158

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ГОФФ Инна. **Из записных книжек.** Вступление и публикация Константина Ваншенкина.

V 124

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АЛДАНОВ Марк. **Вековой заряд духовности.** Две неопубликованные статьи о русской литературе. Вступление, подготовка текстов и публикация Андрея Чернышева.

XII 164
Возвращение к Вордсворту. Вступление Дмитрия Бака. *Перевод с английского Игоря Меламеда.*

XI 127
КРЖИЖАНОВСКИЙ Сигизмунд. **Время действия — всегда.** Новеллы. Вступление и публикация Вадима Перельмутера.

IV 122
Под созвездием Близнецов. Анна ПРИСМАНОВА и Александр ГИНГЕР. Стихи. Вступительная статья и публикация Вадима Перельмутера.

XI 117

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

АЗАРОВА Н. И. **Два голоса.** Из переписки Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. Вступление Б. М. Шумовой.

IX 134
Из «Записок» И. М. Ивакина. Вступление, публикация и примечания Т. Г. Никифоровой.

X 148
«Как редко теперь пишу по-русски...» Из переписки В. В. НАБОКОВА и М. А. АЛДАНОВА. Вступление, публикация, подготовка текста и примечания Андрея Чернышева.

I 121
«Они служили своим идеям, и служили им с честью...» Из политической переписки М. АЛДАНОВА. Вступление, подготовка текстов, примечания и публикация А. Чернышева.

VI 115
«Этому человеку я верю больше всех на земле». Из переписки И. А. БУНИНА и М. А. АЛДАНОВА. Вступление, публикация, подготовка текста и примечания Андрея Чернышева.

III 115

III 115

III 115

III 115

III 115

III 115

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БАВИЛЬСКИЙ Дмитрий. **Человек без свойств.**

VII 172
БАВИЛЬСКИЙ Дмитрий. **Сон во сне.** Толстые романы в «толстых» журналах.

XII 176
БАТКИН Леонид. **Вещь и пустота.** Заметки читателя на полях стихов Бродского.

I 161
БАТКИН Леонид. **О постмодернизме и «постмодернизме».**

X 176
ВОЛГИН Игорь. **Homo substitutus: человек подмененный.** Достоевский и языческий миф.

III 172
КОБРИН Кирилл. **Неизбежность театра.**

IV 176
КУРИЦЫН Вячеслав. **Великие мифы и скромные деконструкции.**

VII 171
НАЙМАН Анатолий. **Памяти Иосифа Бродского.** 28 января 1996 года.

II 191
ПЕРЕМЫШЛЕВ Евгений. **Очень приличный человек.** Размышления об одном писателе и его жизни, возникшие при перечитывании его книг и

воспоминаний о нем в преддверии его юбилея.

V 174
ТИХОМИРОВА Елена. «Звук
слова я укрошаю эти сти-
хи...»

IV 168
ЭТКИНД Александр. Хлы-
сты, декаденты, большевики.
Начало века в архиве Михаи-
ла Пришвина.

XI 155

Записки литературного человека

КУРИЦЫН Вячеслав.

Событие Бахтина.

II 182

Заветный вензель — «К» на
«Е».

III 182

Новые песни о главном.

IV 181

Моя маленькая трепанация
череп.

V 184

Поэт-Милицанер.

VI 183

Свинина могла бы быть бо-
лее выразительной.

VII 181

Жды два равно.

IX 180

Экс-курсия.

X 189

Любите сохранять добро.

XI 187

О классовых интересах.

XII 185

«Бывают странные сближения...»

НАЙМАН Анатолий. Рус-
ская поэма: четыре опыта.

VIII 128

«Это светлое имя — Пушкин»

Геннадий РОССОШ. Пушкин
и свобода: превратности и от-
кровения. Кирилл КОБРИН.
Англичанин.

II 168

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР. По-
таенная полемика. Кирилл
КОБРИН. Дом сумасшедших.*
Подарки Пушкину (Г.СВЕТ-
ЛОВА. Дар И. А. и А. А. По-
лонских; А. Я. НЕВСКИЙ.
Дар Н. В. Вырубова). Вступ-
ление Н. И. Михайловой.

VI 165

Панорама

ПЕРЕМЫШЛЕВ Евгений.
Бесконечная цитата: Мигаю-

щий синема. Ранние годы рус-
ской кинематографии; Евге-
ний Габрилович. Последняя
книга; Звезды Голливуда; Ней
Зоркая. Фольклор. Лубок. Эк-
ран.

XI 177

ОТКЛИК

на книгу Дмитрия БЫКОВА
«Военный переворот» (Елена
Иваницкая).

XI 190

на книгу Виталия ПУХАНО-
ВА «Деревянный сад» (Денис
Виноградов).

XII 188

Вавилонская библиотека

Д. БАВИЛЬСКИЙ. Зеленый
год (Бруно Шульц. Коричные
лавки. Санатория под Клепси-
дрой). Феликс ИКШИН. О
том, как все-таки сделан
«Дон-Кихот», или Перестояв-
шие щи (Александр Каба-
ков. Последний герой). Дмит-
рий БАК. Символизм или ис-
терия? (И. П. Смирнов. Пси-
холохронологика). Евгений
ПЕРЕМЫШЛЕВ. Портрет
кобры (В. И. Курдов. Памят-
ные дни и годы). Алексей
ЮДИН. Единорог, или Книги
для своих (издательство «Ин-
дрик»).

I 183

Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. Еще
раз к вопросу о Ляпсе (Г. К.
Честертон. Избранные произ-
ведения в 4 томах). Леонид
КОСТЮКОВ. Одиссея (Свет-
лана Максимова. Рожденные
сфинксами).

II 188

Иван ОСИПОВ. О фраерах,
что размазывают белую кашу
по чистому столу, и о коро-
лях, что говорят мало и смач-
но (Кто такой Мишка Япон-
чик?). Настасья ПОДЪЯБ-
ЛОНСКАЯ. Святое дело по-
эзии (Николай Старшинов.
Лица, лики и личины). Г. И.
АБЕЛЕВ. Впечатление (Вик-
тор Кротов. Словарь парадок-
сальных определений).

III 185

Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ.
Цитата начерно (Борис Слуц-
кий. Зарубки памяти. Из кни-
ги «Записки о войне»). Б. ФИ-
ЛЕВСКИЙ. ...и другие (Игорь
Холин. Лирика без лирики).
А. РАДОМЫШЛЕНСКИЙ.

Не жалея Бальзака и его чи-
тателей (О двух переводах
«Физиологии брака» Бальза-
ка). Марина КРАСНОВА. Бо-
жественный свет (Жорж Дю-
би. Европа в средние века).

IV 185

Б. ФИЛЕВСКИЙ. Благие
мечты с постскриптумом
(Журнал «Простокваша»).
Феликс ИКШИН. Большая
жратва (Леонид Леонид. Ну
кто не любит похрустеть заса-
харенной килькой?). Евгений
ПЕРЕМЫШЛЕВ. Смерть, о
которой можно сказать «по-
том» (Редьярд Киплинг. Ваш
покорный слуга Пес Бутс).

V 188

За гробом шел один Салье-
ри... (А. С. Пушкин. Дневни-
ки. Записки); В красной ру-
башке и с предлинными ног-
тями... (А. С. Пушкин. Тай-
ные записки... Публикатор
М. Армалинский); О возвра-
щении блудного сына. (Леген-
ды и мифы о Пушкине). Ав-
тор и составитель Евгений
ПЕРЕМЫШЛЕВ.

VI 187

Бенедикт САРНОВ. «Ты то-
же усмехнулся ей в ответ...»
(Борис Заходер. Почти по-
смертное). Кирилл КОБРИН.
Попытка рецензии (Алексей
Пурин. Евразия. Другие сти-
хотворения). Сергей КА-
МЕНСКИЙ. «Прорвется стих
в расхлебанном стихке» (Ле-
онид Григорьян. Терпкое бла-
го).

VII 185

Валерий ВОЛКОВ. Победи-
тели и побежденные (Григорий
Бакланов. И тогда прихо-
дят мародеры). Б. ФИЛЕВ-
СКИЙ. Сказка, прерванная
дробным топотом ног (Ролан
Быков. Эпиграммы и мини-
атюры).

VIII 188

Олег ПАВЛОВ. Бессмертная
исповедь (Юрий Нагибин.
Дневник). Дмитрий БАК. За-
коны жанра (Сергей Гандлев-
ский. Праздник). Егор
СТРЕШНЕВ. Тысячи спосо-
бов портить книги (Вальтер
Беньямин. Произведение ис-
кусства в эпоху его техниче-
ской воспроизводимости).
Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. Исто-
рия из подполья (Ева Титус.
Великий мышиный детектив с
Бейкер-стрит). Валерий ВОЛ-
КОВ. Незабывтое старое
(Александр Яковлев. По мо-
шам и елей). О. СОКОЛОВА.
Премник славы (Издательст-
во Сабашниковых).

IX 184

*Уважаемые читатели,
жители Москвы и Подмосковья!*

Если Вы почему-либо не успели оформить подписку на «Октябрь» на 1997 год, то можете это сделать до 20 января 1997 года непосредственно в редакции (ул. «Правды», 11/13) с 12 до 18 часов в любой день, кроме субботы и воскресенья. К тому же по льготной цене — 12 500 рублей за номер. В редакции также можно заказать очередной номер журнала. Получать журналы Вы будете у нас.

Телефон для справок: 214-31-23

*В ближайших номерах 1997 года
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Юрий БУЙДА. Рассказы.

Ролан БЫКОВ. Дочь болотного царя. Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. Ковчег. Роман.

Григорий КАНОВИЧ. Парк забытых евреев. Роман.

Юнна МОРИЦ. Рассказы.

Олег ПАВЛОВ. Дело Матюшина. Роман.

Михаил ПРИШВИН. Дневник 1938 года.

Михаил РОЩИН. Рассказы.
